

ЗАРУБЕЖНЫЕ  
ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

Книга пятая

(I - 2006)

Verlag "Partner"

2006



Редколлегия:

**Даниил Чкония** – *главный редактор*  
**Лариса Щиголь** – *зам. главного редактора*  
**Ольга Бешенковская**  
**Борис Вайнблат**  
**Сергей Викман**

Все тексты этого и других выпусков журнала  
представлены на интернет-портале

**[www.zapiski.de](http://www.zapiski.de)**

# ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

## КНИГА ПЯТАЯ

### СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

<b>Лариса Щиголь.</b> Ретроспектива. <i>Стихи</i> .....	<b>2</b>
<b>Андрей Столяров.</b> <i>Три рассказа</i> .....	<b>10</b>
Мы, народ...	
Пора сенокоса	
Дым отечества	
<b>Григорий Канович.</b> Менахем-цыган. <i>Рассказ</i> .....	<b>42</b>
<b>Илья Фаликов.</b> Требуется музыкант. <i>Стихи</i> .....	<b>53</b>
<b>Леонид Гиршович.</b> Необыкновенный день, или Ишаягу. <i>Рассказ</i> .....	<b>61</b>
<b>Алексей Козлачков.</b> Моя любовь из досексуального периода. <i>Повесть</i> .....	<b>77</b>
<b>Даниил Чкония.</b> Летят перелётные числа... <i>Стихи</i> .....	<b>114</b>
<b>Виктор Серебряный.</b> Ледовый маршрут. <i>Рассказ</i> .....	<b>121</b>
<b>Анатолий Головков.</b> Записки Щукина. <i>Рассказ</i> .....	<b>142</b>
<b>Марина и Сергей Дяченко.</b> Лунный пейзаж. <i>Рассказ</i> .....	<b>149</b>
<b>Юрий Цаплин.</b> Уверенная Ника. <i>Рассказ</i> .....	<b>152</b>

Новые переводы

<b>Из немецких поэтов.</b> Фридрих Гёльдерлин. Стефан Георге. Готфрид Бенн. Георг Тракль. Эрих Мария Ремарк. Ханс Тилль. <i>Перевод Алексея Пурина</i> .....	<b>158</b>
--	------------

Эссеистика, критика, публицистика

<b>Биробиджанская сказка.</b> <i>Беседа писателя Александра Мелихова с критиком Галиной Ребель</i> .....	<b>164</b>
<b>Александр Радашкевич.</b> Перевод непереводаемого .....	<b>170</b>
<b>Самуил Лурье.</b> Флаг над Кунсткамерой .....	<b>175</b>
<b>Ефим Гофман.</b> Пырнуть пером .....	<b>178</b>
<b>Алексей Макушинский.</b> Отвергнутый жених, или основной миф русской литературы XIX века .....	<b>187</b>

Иные жанры...

<b>Аполлинарий Поликарпов.</b> Лорелея, или где собака зарыта .....	<b>195</b>
<b>Коротко об авторах</b> .....	<b>199</b>

Март, 2006

## РЕТРОСПЕКТИВА

\*\*\*

С чего бы мне хотеть туда?  
Там слишком близко поезда  
Проходят — и земля трясется,  
Там у столба коза пасется  
И очень может забода...

Там дворик сорною травой  
Зарос, там бабка жучит деда  
И, заклана в виду обеда,  
Крылами бьет моя Победа  
С отрубленную головой...

### ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ

А в саду городском, а в саду городском,  
Там дорожки посыпаны белым песком,  
Небеса источают полуденный зной  
И деревья качает дунайской волной,

Золотые тромбоны на солнце блестят,  
И мальчишки вдогонку влюблённым свистят,  
А сумевшие скрыться под сень колоннад  
Из бумажных стаканчиков пьют лимонад.

И пока там обеты дают на века,  
И пока там конфеты жуют из кулька,  
Их уносит не видимой ими судьбой  
За не виденный ими Дунай голубой,

И пока там сгущаются тени, в саду,  
Их заносит забвеньем, как тинной в пруду,  
И хоронят, хоронят, хоронят живых  
Под далёкое эхо музык полковых...

\*\*\*

Римляне-бритты стрижены-бриты,  
Персы и русские о бородах:

Пенятся вёсла, мелькают копыта,  
Мчатся упряжки в полуночных льдах.

Дерзкие лоцманы цивилизаций,  
На многотрудном и долгом пути  
В скольких смертях вам пришлось подвизаться,  
Чтобы доплыть, дошагать, доползти!

Вот этот град, от забвенья спасённый, —  
Тауэр, Форум, Европа в окне,  
Вот Победитель, над ним вознесённый, —  
Грозная бронза на гордом коне,

Он указывает рукой отведённой:  
Почта, Макдональдс, стоянка такси —  
То ли Калигула, то ли Будённый,  
То ли вся Самодержец Руси...

\* \* \*

Я теперь живу — или что-то вроде  
В благодатной Германии — и твержу *телёнок в подклети*:  
Странные овощи появились в их огороде —  
Видно, сильно заблудшие в прошлом тысячелетье  
Окаянные души они спасают.

Я теперь *европейка нежная* — или что-то вроде  
(Ничего, перемелется — будем вполне едины):  
Тоже, знаете, чуден Рейн при тихой погоде,  
И редкая палка долетит до его середины,  
Потому что их туда не бросают.

\* \* \*

По пыльной дороге, едва ли прямой,  
Плетётся на ослике путник домой,  
Пусты его брюхо, сума и мехи,  
Но он по пути сочиняет стихи.

У дома он вырастил розовый куст,  
Но дом его тоже, как прочее, пуст,  
Вернее, и дома-то, в сущности, нет,  
Но может быть, есть — или будет — сонет.

Нет, он не Шекспир, не Петрарка, не Дант,  
Но важно призвание, а не талант,  
И чем его жизнь тяжелей и бедней,  
Тем выше и царственней небо над ней.

Любимая лжёт или терпит едва? —  
Ну что ж, тем прекраснее будут слова.  
Да пусть уж судьба приберёт и осла —  
Ведь беды — фундамент его ремесла.

*Александрю Мелихову*

Потому что позёмка бежит, как песок,  
 Человек, оперевшись ладонью в висок,  
 Различает средь белого праха,  
 Как, пинаема в спину настырной пургой, —  
 Или, может, субстанцией близкой другой —  
 Напряжённо ползёт черепаха.

Человек, оперевшись глазами в окно,  
 Видит — если и в поезде — или темно —  
 Или чьё-то дыхание рядом:  
 Черепаха ползёт в направлении воды,  
 А за нею ползут черепашины следы,  
 Различимые внутренним взглядом.

Потому что глаза черепахи узки,  
 В них не вдруг обнажается столь же тоски,  
 Сколь и мужества — или бесстрашья.  
 И крутится песок — или, может, пурга,  
 И ложатся барханы — а может, снега,  
 Заметая следы черепашины.

#### ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

*(Исполняется на мотив  
 «Ехал на ярмарку ухарь-купец»)*

Как по ухабистой горной тропе  
 Едет проезжий по имени П.,  
 Едет проезжий, встречает арбу —  
 Г. проезжает в закрытом гробу.

Как от версты к полосатой версте  
 Едет проезжий по имени Т.,  
 Едет-спешит, довершает судьбу —  
 П. уезжает в закрытом гробу.

Спит мелколесье, телега не спит,  
 Осью немазаной песню скрипит:  
 «Едет проезжий, встречает арбу...».  
 Ворон скучает на каждом дубу.

Медленно, медленно мокрой дорожкой знакомой  
 К цели своей неизвестной ползёт насекомый  
 (Впрочем, ему эта цель, может быть, и ясна),  
 Медленно, медленно — осень, поди, не весна.

В мокрую гору, по астрам, распластанным в лёжке,  
 Переплетаясь, ползут насекомые ножки,

Счастье ещё, что вороны не видно пока —  
Может, судьба и, того, пощадит старика.

Где твоё небе, бескрылая божья коровка?  
Медленно близится неодолимая бровка,  
Медленно близится, медленно — дело к зиме,  
Медленно, медленно, медленно, медленно, ме...

#### ВАРИАНТ СЮЖЕТА

*А. М.*

Я поймала золотую рыбку,  
Ничего у неё не попросила,  
Только бросила взгляд высокомерный:  
Мол, не стану я до просьб унижаться —  
И пустила в синее море.  
Это было, видно, рыбке обидно,  
Что могуществом её погнушались  
И пытались превзойти высокомерьем,  
Но сперва она не подала виду.

То есть стала, как ни в чём не бывало,  
Приносить мне из моря подарки:  
То жемчужину с картошку отыщет,  
То монисто из красных кораллов,  
То, глядишь, лежит дублон на песочке  
И сияет, как маленькое солнце.

Я никак её не благодарила,  
Ну, не кланялась, челом ей не била,  
Только старое разбитое корыто  
Заменяла балией новой,  
Оцинкованной и очень обширной,  
И стирала в ней, по-прежнему прилежно,  
Стариковские порты и портянки  
И другие мелкие вещи.

Прясть же пряжу я сроду не умела.

Ну, подумала рыбка, поглядела  
И не сразу, но тактику сменила:  
То заезжий знаменитый профессор  
Мне нечаянно в любви объяснится,  
То в столичном публикуют журнале,  
То привидится сон несказанный,  
Что гуляю я по райскому саду,  
Ем без счёту райские гранаты  
И выплёвываю косточки на землю.  
А однажды заявила с бутылкой  
(Банку шпрот от сердца оторвала)  
И рыдала о доле златорыбьей,  
Вопрошала на предмет уваженья  
И пыталась прыгнуть с балкона.

Я и тут её не благодарила,  
 Ничего у неё не попросила —  
 Даже пряник какой-нибудь печатный:  
 Ничего, обойдусь, мол, непечатным —  
 Знай, сидела на пороге землянки,  
 Любовалась балией новой  
 И стирала в ней усердно портянки  
 И другие мелкие вещи.

И тогда рассердилась рыбка,  
 Окончательно, совсем рассвирепела  
 И обиду таить уже не стала.

Раз взглянула я на синее море,  
 А на нём не волны — цунами,  
 И не то что ходят и воют,  
 А пол-острова запросто сносят.  
 Отвернулась я от этакого вида  
 И пошла домой и заснула.

А когда наутро проснулась,  
 Больше не было не то что цунами —  
 Даже не было самого моря,  
 И не то что, там, балии новой —  
 Даже не было старого корыта.

... А ещё оказалось очевидно,  
 Что на всём бескрайнем белом свете  
 (Даже, может, немножечко за краем)  
 Больше некому стирать портянки  
 И другие мелкие вещи.

#### БАЛЛАДА О ЗАПРЕЩЁННОЙ ЛЮБВИ

*Мумуну Радашкевичу, коту и эсквайру*

... Но, конечно же, я не был бы поэтом,  
 Если б мысль моя закончилась на этом.  
*Илья Сельвинский*

С утра в окне стоял туман —  
 Октябрь брал своё.  
 Едва начавшийся роман  
 Переходил в вытьё,

В тот скорбный мьяв, что облака  
 Пронзает испокон,  
 Когда поднимется рука,  
 Чтобы закрыть балкон.

Итак, в туманном октябре,  
 В предвестии зимы:  
 Кот в доме, кошка во дворе,  
 А остальные — мы.



О, бедный, бедный кот чужой  
В окошке в полный рост,  
Шальной любовью, как вожжой,  
Ужаленный под хвост!

О, как он плакал, бедный кот,  
Как рвался вон и на,  
Когда судьба рукой господ  
Сняла его с окна!

И как металась та, внизу,  
В кустах, траву измяв,  
Без права даже на слезу,  
Не говоря — на мяв!

А он бы мог (не вру ничуть:  
Случись — и я б смогла),  
Шагнув с балкона, развернуть  
Два белые крыла,

Он мог, усат и полосат,  
Но слаб, зависим, бос,  
Спорхнуть с балкона в дивный сад  
Любовных грёз — и роз.

Не плачь, не сетуй, не зови,  
Не провоцируй мглу:  
Глотай таблетку от любви  
И спи в своём углу,

Без грёз, без сновидений, без  
«Услышь» или «прости»,  
Пока не прозвучит с небес  
Вердикт: «Конец пути»,

Пока домчит тебя авто  
В какой-то там Париж,  
Где и душой в *пространство то*  
Вовек не воспаришь.

*Молчи, скрывайся*, не ропщи,  
Смирись и не грусти,  
Несолоно хлебая щи  
На том конце пути,

Не буйствуй, не ходи на ны —  
Любовь не *обрести*,  
И щи равно несолоны  
В любом конце пути.

Вот так и нас... Вот так и мы  
(Не к слову говоря)...  
В преддверьи тьмы, в канун зимы,  
К исходу октября...

Олеография. Лубок.  
 Тоскует сизый голубок,  
 А ниже, ближе к чайной розе,  
 Есть изречение — ближе к прозе:  
 «Кого люблю, тому дарю».  
 Смягчившись в кроткую зарю  
 Вечернюю, *закат печальный,*  
*Блеснувший,* тихой розе чайной  
 И стонущему голубку  
 Кивает из окна: «ку-ку!»,  
 Как равный равным — но ответа  
 От них не ждёт: в природе лето.

И некий простенький мотив,  
 Всю нежность мира воплотив,  
 Рождается, насупотив  
 И в пику внутренней цензуре,  
 И вот уже летит в лазури  
 В твой сон. Да будет он глубок.  
 Олеография. Лубок.

#### ПРОГУЛКА СОЧИНИТЕЛЕЙ В НИМФЕНБУРГСКОМ ПАРКЕ

Мимо зимних гробов для статуй, поставленных на попа,  
 Мы вчетвером гуляем — то есть почти толпа —  
 В Нимфенбургском парке — местном эрзац-Версале.  
 Всё остальное, видимо, давно уже написали.

Из каковых писаний известно: любовь слепа,  
 Почему поразить способна то мальчика, то старуху.  
 И лебедь садится на воду, сделав такое па,  
 Как будто бы собирается идти по ней, как по суху.

Последние бурые листья ветер несёт с вершин  
 Древесных, и воздух сыр, и солнце уже садится.  
 И, окунувший голову, лебедь выглядит как кувшин,  
 Погружаемый ручкой кверху, чтобы набрать водицы.

Впрочем, также известно, что, хотя она и слепа,  
 Но, преследуя жертву, бывает куда как зрячей.  
 И, роняя редкие реплики, неспешно бредёт толпа,  
 По временам отражаясь в стылой воде стоячей.

Охотники за словами! Жертвователи богам  
 В деревянных мундирах, а по сезону — голым!  
 И ветер ныряет в чашу и приносит к ногам  
 Зайчика, куропатку и пару-тройку глаголов.

Небо — как сизый жемчуг, и вода — как слюда,  
 И холоднее вечности мраморные перила,  
 И каждый из них по-своему говорит: никогда —  
 Впрочем, я то же самое сама себе говорила.

Каждый — сам себе жертва. Сам себе и палач.  
Но не каждый умеет выбрать лучшую из каденций.  
И тихий звон водопада напоминает плач  
Уже совсем засыпающего обиженного младенца.

## РАССКАЗЫ

### МЫ, НАРОД...

— Манайская? — спросил майор, прищурившись на желтую этикетку.

— Манайская, — слабым, как у чумного, голосом подтвердил Пиля. Он примирительно улыбнулся. — Где другую возьмешь? Автолавка у нас когда в последний раз приезжала?..

— А говорят, что если манайскую водку пить, сам превратишься в манайца, — сказал студент. Ему мешал камешек, впивающийся в отставленный локоть. Студент нашарил его пальцами, выковырял из дерна и лениво отбросил. Теперь под локтем ощущалась слабая пустота, уходящая, как казалось, в земные недра. Оттуда даже тянуло холодом.

Он передвинулся.

Пиля вроде бы обрадовался передышке.

— Чего-чего? — спросил он, как клоун, скривив тряпочную половину лица. — Чтобы от водки — в манайца? Сроду такого не было! Ты хоть на меня посмотри... Вот если колбасу их синюю жрать, огурцы, картошку манайскую, кашу их — тьфу, пакость, — как твоя Федосья, три раза в день трескаться...

— И что тогда?

— Тогда еще — неизвестно...

Он отдышался, поплотнее прижал бутылку к груди, скривил вторую половину лица, так что оно приобрело зверское выражение, свободной рукой обхватил пробку, залитую желтой фольгой, и крутанул — раз, другой, третий, с шумом выдыхая накопленный в груди воздух.

Ничего не помогало. Пальцы лишь скользнули по укупорке, как будто она была намазана маслом.

— Дай сюда, — грубовато сказал майор.

Это был крепкий, точно из железного мяса, мужик, лет сорока, судя по пятнистому комбинезону, так внутренне и не расставшийся с армией, совершенно лысый, не бритый, а именно лысый — гладкая кожа на черепе блестела, как лакированная, лишь щепоть жестких усов под носом, которую он иногда, забываясь, пощипывал, непреложно доказывала, что волос у него расти все-таки может. Чувствовалось также, что делает он все основательно. Вот и теперь, он, не говоря лишнего слова, забрал у Пили бутылку, без малейших усилий свинтил тремя пальцами тускло-лимонную жестяную пробку, поставил перед каждым толстый стакан — твердо, уверенно, как будто врезал на сантиметр в травянистый дерн, взвесил бутылку в руках и, прищурясь, видимо, чтобы взгляд не обманывал, разлил в каждый ровно по семьдесят грамм.

Его можно было не проверять.

— Вот так.

Все уважительно помолчали. И только студент, если, конечно, правильно называть студентом кандидата наук, человека двадцати восьми лет от роду, четыре года уже старшего научного сотрудника отделения реставрации Института истории, полусутоливо-полусерьезно сказал:

— Сопьюсь я тут с вами...

Майор будто ждал этого высказывания. Он повернулся к студенту — всем корпусом, с места тем не менее не вставая, и вытянул, будто собираясь стрелять, твердый, как штырь, указательный палец.

— А потому что меру надо во всем знать, товарищ старший лейтенант запаса!.. У нас в училище подполковник Дроздов так говорил. Построит нас на плацу, после праздников и выходных, сам — начищенный, морда — во, фуражку подходящую для него не найти, и говорит так, что полгорода слышит: Тов-варищи будущие офицеры!.. Есть сведения, что некоторые из вас злоупотребляют. Тов-варищи будущие офицеры!.. Ну — не будем, как дети! Все пьют, конечно. Ну — я пью. Ну — вы пьете... Но, тов-варищи будущие офицеры! Выпил свои пол-литра, ну — оглянись!..

Он обвел всех ясным немигающим взглядом. Выдернул из земли стакан, и остальные тоже, точно по команде, подняли.

— Ну, за то, чтобы вовремя оглянуться!.. За единство и равенство всех социальных сословий!.. Крестьянства, — он поглядел на Пилю, который немедленно приосанился. — Рабочего класса, — Кабан одобрительно хрюкнул. — Нашей российской интеллигенции, — взгляд в сторону терпеливо ожидающего студента. — И российской армии, которая была и будет советской!.. Чтобы никакой дряни на нашей родной земле!..

С этими словами майор, видимо, еще раньше высмотрев то, что ему мешало, двумя пальцами выщипнул из горячего дерна кривоватую маленькую «желтуху» — не распустившуюся пока, всего с четырьмя яркими листиками, взбирающимися по стеблю, и, брезгливо покачав ею две-три секунды, отбросил росточек в сторону.

Все посмотрели, как он упал среди трав.

— Прирастет, — жизнерадостно сказал Пиля.

И действительно, «желтуха» лишь мгновение лежала поверх елочек кукушкина льна, а потом, как червяк, изогнулась и просунула тоненький корешок вниз, к влаге, к земле.

Тогда майор, побагровев всем лицом, снова нагнулся, взял «желтуху» за усик, точно какое-то насекомое, и перебросил ее на каменную тропу, которая спускалась к дороге.

— Не прирастет теперь!..

Попав на каменное изложье, «желтуха» вновь судорожно изогнулась, повела нитчатым корешком вправо-влево, ища, за что закрепиться, не нашла и, вероятно, исчерпав силы, замерла под утренним солнцем. Листья ее вдруг обмякли, стебель прильнул к вытопанной земле. Миг — и она расплылась в мутную узкую лужицу, которая, на глазах высыхая, неразличимой лимонной корочкой прильнула к песку и кремню.

Студент, хоть уже не раз видел такое, замотал головой.

Пиля — поежился.

Даже Кабан как-то негромко хрюкнул.

— 3-зараза, — сказал майор с чувством. — Ну, ничего. Праздника они нам не испортят...

Первая прошла как всегда. Студенту она легла внутрь едкой пахучей тяжестью, готовой от любого движения вскиннуться и выплеснуться через горло наружу. Пилю вообще передернуло: выбросило вперед руку и ногу, как будто они сорвались со стопора. Он так и повалился на землю. Даже майор не выдержал — сморщился, сдавленно жмекнул, осторожно втянул воздух ноздрями. Сощурился так, что глаза его превратились в темные прорези. Стакан он, впрочем, вернул точно на место. И только Кабан был словно из дерева: запрокинул голову, спокойно вылил свои

семьдесят грамм в жаркий рот, пожевал язык, кивнул несоразмерно большой, в твердых выступах головой и выдохнул одно слово:

— Нормально...

Ничего другого от него никто никогда не слышал.

С пригорка, где они расположились, была хорошо видна вся деревня: десятка полтора изб, окруженных покосившимися заборами; причем выломанные пролеты их кое-где уже повалились, и перейти с одного двора на другой не составляло труда. Не лучше, впрочем, выглядели и избы — тоже перекосившиеся, вросшие хотя бы одним углом в бугристую землю; походили они на корни сгнивших зубов, в беспорядке торчащие из омертвевающих десен. Впечатление усиливали сизые от дождей струпья на бревнах и провалы крыш, кое-как залатанные жестью или фанерой. Толку от такого ремонта было немного. В Федосьином доме, скажем, где студент обитал, сполз целый угол, защищающий дальнюю комнату, при дожде на вытертых половицах образовывались настоящие лужи, а потом они просачивались в подвал и превращали земляной пол его в жидкую грязь. Хотя в подвал Федосья уже давно не заглядывала. — И что мне тама, милый, хранить?.. Нечего мне тама хранить... — В доме из-за этого чувствовалась неприятная сырость.

Тем сильнее выделялись среди запустения фазенды манайцев. Несмотря на обилие травяного пространства, манайцы предпочитали строиться поближе друг к другу. Сказывалась ли в том боязнь перед непредсказуемостью местного населения или, действительно, как рассказывали, в самом Манае свободной земли уже почти не осталось, с чего бы иначе манайцы тронулись с места, но только игрушечные, всего в одно окно домики, больше похожие на собачьи будки, тесно-тесно лепились друг к другу, образуя посередине деревни единый массив. Набраны они были из тоненьких планочек, связанных между собой ветками ивы, и потому издали казались сделанными из бамбука. Непонятно было, как там манайцы помещались внутри. Хотя — что манайцу? Ни жены, ни детей у него не имеется. Бросил на пол циновку, сплетенную из травы, и ложись. Неизвестно, впрочем, есть ли там даже циновки. К себе, внутрь поселка, манайцы никого из местных не звали. А просто так, без приглашения, тоже не попадешь: по всей границе поселка, как изгородь, отделяющая свое от чужого, тянула вверх листья багровая манайская «лебеда». И хоть выглядела она, на первый взгляд, вполне безобидно: те же зубчатые, гладкие листья, только почему-то темно-вишневого цвета, однако даже прикасаться к ней было опасно. Студента предупредили об этом в первый же день. Уже через минуту почувствуешь на коже сильное жжение, а через час вся ладонь будет обметана громадными волдырями. Кожа потом слезет с нее, как перчатка. Самим же манайцам, видимо, никакого вреда. Шастают туда и сюда, не обращая внимания. Жаль, конечно. Студенту очень хотелось бы рассмотреть поближе манайские огороды: диковинные, хрупкие на вид конусы, сквозь плетенку которых свешиваются громадные ярко-синие вытянутые плоды. Местные жители называют их «огурцами». Там же — крепкие «тыковки», размерами не больше детского кулака, и совсем уже ни на что не похожие мягкие сиреневые «метелки», осыпанные продолговатыми семенами. Внутри каждого семени — сладкая мякоть; говорят, съешь такую — взрослому человеку хватает на весь день.

И вот что самое удивительное. Речка от манайского поселения довольно-таки далеко, здесь она как раз делает изгиб в сторону леса, землю, когда манайцев селили, выделили тоже, конечно, не самую лучшую, прямо скажем — песок, глина, россыпи валунов, высывающихся из почвы каменными залысинами, ничего на такой земле, казалось бы, расти не должно, а вот, пожалуйста, полюбуйте, чуть ли не настоящие джунгли. На участке у Пили, который всего лишь через дорогу, три-четыре квелых грядки картофеля, расплзшиеся до корней, непонятно, что Пили соберет с них на зиму, а тут — буйство зелени, красок, изобилие рвущейся к жизни растительности. Правда, манайцы и относятся к этому иначе, чем Пили:

где-то уже с пяти утра носят воду с реки в маленьких серебристых ведерках, непрерывно что-то окучивают внутри огородов, постригают, подвешивают, одни ветки направляют сюда, другие вытаскивают наружу, чтобы впитали летнее солнце. Острые соломенные панамки то и дело высовываются из листьев.

А где Пиля? Пиля — вот, вытянулся на пригорке, хрукает водянистой зеленью огурца. И ведь рожа — довольная, расплывающаяся, ничего больше Пиле не надо.

— Пиля, — прикладывая от света ладонь к бровям, поинтересовался студент.  
— А что это манайцы с твоего огорода колесо покатали?

Все повернули головы в ту сторону.

Пилин участок отличался от всех других тем, что прямо посередине его, загораживая проход к избе, склеванный угол которой был, по традиции, подперт двумя колыями, возвышалось громадное, вкопанное примерно на треть железное колесо, выпирающее изнутри ржавыми ребрами. Откуда оно там появилось, известно никому не было. Говорили, что дед Пили прикатил его еще в конце гражданской войны, чуть ли не отвинтив с паровоза самого товарища Троцкого, и вместе с сыновьями водрузил на подворье — вроде как знак того, что теперь начнется новая жизнь.

А может быть, все было совершенно иначе.

Только представить себе Пилин участок без колеса было нельзя.

Такая местная достопримечательность.

И вот теперь пять или шесть манайцев, отсюда не разглядеть, копошились вокруг него, сгибаясь и подкапывая что-то маленькими лопаточками — вдруг облепили, как ушлые муравьи, все враз, и медленно, явно опасаясь железной тяжести, покатали куда-то в сторону речки.

Утопить, что ли, задумали.

— Действительно, покатали... — сказал майор.

Теперь все посмотрели на Пилю. Под этими взглядами Пиля первоначально смутился, но все-таки дожевал огурец, проглотил его, так что длинно прошел по хрящеватому горлу вниз-вверх острый кадык, а затем безнадежно махнул рукой:

— А... пропадай теперь все...

Тогда майор сел на колени и отчетливо, точно вбил, прихлопнул по ним широкими растопыренными ладонями.

— Так... — невыразительным голосом сказал он. — А я все думаю, откуда это у Пили бутылка взялась? Вроде бы неоткуда взять Пиле бутылку... Так ты что это, гад, выходит, Родину за бутылку продал?..

Наступила неприятная тишина. Слышен был только треск кузнечиков, вылетающий из травы, да еще снизу, от притихшей деревни, тоненькими прозрачными паутинками допархивали мяукающие голоса манайцев.

Словно попискивали котята.

— Судить тебя будем народным судом, — сказал, наконец, майор. Не отводя глаз от Пили, который, казалось, забыл дышать, он протянул руку вбок, пошарил ею под стелющимися по земле лопухами и, почти сразу же нащупав, вытащил из густой их тени продолговатый предмет, тщательно завернутый в тряпку, напоминающую бывшую скатерть. Как-то особенно тряхнул ее, дернул, и в руке его оказался автомат с выгнутым чуть вперед, ребристым рожком.

— Становись вон туда!..

Пиля, как во сне, встал и сделал два шага назад — к низкой иве, вывернувшей от жары замшевую изнанку листьев.

— Не я ж первый... — опомнившись, пробормотал он.

Майор его будто не слышал.

— Будем тебя судить от имени Российского государства... За предательство, за крысиную трусость... За сдачу родной земли торжествующему противнику!..

Он передернул затвор.

На шутку это больше не походило. Майор был весь — как пружина, которая сейчас распрямится. Студент вдруг понял, что еще секунда-другая — раздастся очередь, рубашку Пили перечеркнут кровавые дырочки; он согнется, схватится за живот, повалится мятым лицом в переплетение дерна.

Уже никогда больше не встанет.

— Товарищ майор!!! Василий Игнатьевич!.. Вася!.. — Руки сами вцепились в ствол автомата и пригнули его к земле.

— Ты — что?..

— От-ставить!..

Это подал голос Кабан.

Майор мгновение бешено смотрел на него, а потом сразу будто обмяк — опустил автомат, сел, бросил его на тряпку.

Сказал ровным голосом:

— Приведение приговора откладывается на неопределенное время...

Пиля тем временем лихорадочно разливал остатки. Бросил пустую бутылку и втиснул майору стакан в сведенные пальцы.

— Скорее, Вася, скорее...

На траву упала длинная тень.

Высокий тощий манаец, облитый эластичным трико, так что коричневая ткань, казалась, выростала из кожи, от уха до уха растянул бледные губы.

Видимо, это означало приветствие.

— Холосо? — спросил он кошачьим голосом.

Майор скрипнул зубами. А Пиля, сидящий на корточках, тоже растянул резиновые бледные губы.

— Холосо, все холосо. Иди отсюда...

Мгновение манаец, не меняя выражения улыбчивого лица, смотрел то на майора, то на него, что было заметно по изменению блеска под веками, а потом отвернулся и, не говоря больше ни слова, начал спускаться по тропинке к деревне.

— Вот с кого начинать надо, — сказал майор. — Вот с кого... И начнем, придет наше время...

Пиля тут же переместился, так чтобы заслонить собой коричневую фигуру, обеими руками обнял пальцы майора, сжимающие стакан, и, как ребенку, ласково придвинул его край ко рту.

— Ты пей, пей, Вася. Главное — выпей... — заботливо сказал он.

Некоторое время они без интереса смотрели, как манайцы опустошают Пилин участок. Сначала был разобран забор, причем не просто разломан, а с нечеловеческой тщательностью разъят на отдельные досочки. Досочки эти были уложены четырехугольными колодцами на просушку: манайцы иногда зажигали внутри своих огородов небольшие костры, и дым, поднимаясь вверх, окутывал «джунгли» непроницаемым одеялом. Затем они сдернули дранку с крыши, которая, впрочем, едва ее тронули, начала осыпаться сама, прогнила, наверное, до трухи за последние десятилетия. Пиля-то когда еще чинил свою крышу. Пиля, если честно, лет двадцать пальцем к ней не притрагивался. Дранка тоже была собрана в аккуратные штабельки. А потом манайцы, изгибаясь, как гусеницы, словно кости у них были не твердые, а резиновые, начали снимать с избы венец за венцом, тут же распиливать на принесенных с собою кургузых козлах, слышен был утомительный звук «вжик-вжик-вжик», а короткие деревянные плахи, которые из этого получались — тук-тук-тук — сразу же расщеплять топориками. Прошло, видимо, не более часа, и на подворье, опустевшем, как после нападения саранчи, остались лишь камни, обозначающие бывший фундамент, и довольно неглубокая яма, ранее бывшая Пилиным погребом. Камни манайцы, впрочем, тоже выворотили, яму же забросали мусором и принесенной с ближайшего пригорка землей. И студент вяло подумал,



что вот на следующий год взойдут на этой земле сорняки, потом отомрут осенью, весной взойдут снова, года через три — через четыре никто уже и не вспомнит, что здесь когда-то стоял Пилин дом. Как не помнят о тех домах, которые были разобраны в прошлом году и в позапрошлом, и годом ранее. Ведь сорок пять изб стояло в деревне, если верить майору. А сколько теперь осталось? Всего ничего. Если, конечно, считать за избу двухэтажный барак правления, который манайцы почему-то не трогают.

Да и кому будет помнить? Тем древним старухам, что высыпали сейчас на улицу, каждая у своей калитки, и, точно идола, сложив на животе руки, молча наблюдают за происходящим.

Может быть, к следующему лету этих старух тоже уже не будет.

И еще студент с легкой тоской подумал, что за две недели, проведенных в деревне, он так ничего и не сделал. Ну, конечно, сфотографировал здешнюю церковь во всех ракурсах, ну, конечно, внес в табличку параметры некоторых обмеров. Скоро можно будет писать акт о техническом состоянии. То есть, если отчитываться, то какая-то работа произведена. Но ведь неизвестно еще, что получилось из фотографий. Надо бы добраться до города, найти мастерскую, сделать пробные отпечатки. Сколько раз уже было, что половина из них идет в мусор. Отпечатки следует проверять, любой первокурсник знает. Только ведь до города — семь верст пехом. И к тому же солнце, как проклятое, всю дорогу будет светить в глаза. Туда — утреннее, горячее, от которого не укроешься, обратно — вечернее, красное, однако не утомительное. Главное же — кому и зачем это нужно? Ну, закончит он техническое описание, ну, приложит к нему фотографии, панорамные даже, если, конечно, удастся грамотно склеить. Ну, поставят потом на полку с «культурным наследием». Лет через тридцать кто-нибудь случайно откроет, перелистает страницы. Ни от церквушки этой, ни от деревни уже и названия не останется.

— Неужели ничего нельзя сделать? — ни к кому особо не обращаясь, спросил он. — Городские, что ж, ваши не хотят взять эту землю? Места-то какие — лес, речка, грибы, ягоды...

— Городским асфальт нужен, — сказал Пилия, дожевывающий очередной огурец. Насколько можно было судить, питался он исключительно этим овощем. Другого, во всяком случае, студент у него не видел. — Дорога чтобы проведена была, электричество чтобы — горело. Кто тут будет по нашему проселку ломаться?..

— У городских под городом земли — мордой ешь, — заметил майор. — Ту еще который год освоить не могут. Мэр себе особняк отгрохал на три этажа. Еще пара коттеджей — с бассейнами, между прочим, гады, возводят... Ну, там — огородничества, садоводства, конечно, всякие... Хрен с ним, тут копать требуется с другого места. Вот сидит в мэрии, в аппарате, какая-то кучерявая с-сука и штемпелюет им всем справки о временном проживании. Никаких законов не нарушают. У каждого манайца — справка, что он тут временно обитает. Попробуй его потом отсюда выковырять. Справка у него есть? Есть! Налоги платит? Какие надо и какие не надо! С Пилии-то, например, что возьмешь? А у губернатора заместители — знаешь кто? Два манайца... Оказывается, коренная народность нашего региона. Вот увидишь, и губернатор на следующих выборах тоже будет манаец. Хотя для вида, конечно, могут назначить и русского. Все равно, против манайцев никто слова не скажет. А вот Дубровки и Озерцы, — майор потыкал пальцем вправо и влево, — уже пустые стоят, ни одного русского человека... Нет, тут, ребята, другой подход нужен...

Насчет подхода он, правда, объяснить не успел. За тушей барака, за взметающими многолиственным боярышником, который скрывал собою чахлую площадь перед правлением, возник низкий рык, как будто проснулся зверь, дремавший с сотворения мира, и далее выбрался в поле зрения старенький мордастый грузовичок,

вплоть до кабины заваленный нагромождением скарба. Пополз, пополз по дороге, вскарабкиваясь на пригорок, глазастый, как жук, упорно переваливаясь на ухабах. До самого пригорка, впрочем, он добраться не смог: дорога здесь расширялась и несколько проседала, образуя громадную лужу. Причем, хоть за последние две недели и не выпало ни единой капли дождя, она ничуть не уменьшилась — все тем же грязевым толстым зеркалом отсвечивала с пригорка. Объехать ее было нельзя. С одной стороны пролегал длинный скат, где грузовик, да еще тяжелый, несомненно, перевернулся бы, с другой — высовывались из земли лысые валуны, и были они таких размеров, какие не одолеть даже на танке. Все с любопытством наблюдали, что будет. Водитель, конечно, приблизившись к луже, заранее переключил скорость на первую, взял влево как можно сильнее, так что горбатые шины взвизгнули, проехав по камню, но этого, видимо, было все-таки недостаточно, где-то посередине машина дернулась и просела сразу сантиметров на десять; задние колеса вращались, выбрасывая жидкую грязь, однако с каждым безнадежным рывком погружались все глубже и глубже. Мотор наконец заглох. Из кабины, придерживаясь рукой за дверцу, прыгнул в черную топь всклокоченный потный мужик, одетый, несмотря на жару, в теплые штаны, ватник, фуфайку. Он сумрачно посмотрел на майора, который этот взгляд игнорировал, на Пилю, замершего с огурцом, не донесенным до рта, на студента, на равнодушного Кабана, ничего не сказал, как будто на пригорке никого не было, приволакивая в грязи сапоги, обогнул машину и также сумрачно уставился на колесо, выше оси утонувшее в комковатой жиже. Сверху, ранее невидимая из-за серванта, перегнулась девка в спортивной кепочке, охватывающей голову до ушей, и раздраженно спросила:

— Ну что, папаша?

— Сели, — мрачно подытожил мужик.

— Вот, я вам говорила, папаша, верхней дорогой — лучше. Нет, вам всегда надо по-своему...

— Помолчи, — мрачно сказал мужик.

— Всегда — в самую грязь...

— Помолчи!

Мужик судорожно вдохнул и выдохнул. Точно воздух, который попал ему внутрь, обжег легкие.

— Подтолкнуть? — быстро спросил студент.

— Не надо, — сказал майор таким голосом, что студент сразу же опустил ся обратно.

Крепко сжал пальцы, чтобы больше не вмешиваться.

А сам майор, переместившись чуть-чуть на локтях, обозрел всю картину и с опасной приветливостью поинтересовался:

— Уезжаешь, Федор?

— Уезжаю, — не поворачивая головы, ответил мужик.

— Насовсем уезжаешь?

— Выходит, что — насовсем...

— Ну и желаем успехов на новом месте трудоустройства!.. — радостно прокричал Пиля. — Не забывайте, пишите!.. Счастья вам в личной жизни!..

На этот раз мужик обернулся. И хоть ничего не ответил, но Пиля в ту же секунду выронил недоеденный огурец — попятился, споткнулся о камень, с размаху сел, ужасно расставив острые переломы коленей, и так, не вставая, помогая себе руками, начал мелко-мелко, как гусеница, отползать к дощатому углу церкви.

Мужик между тем, с трудом переставляя в грязи сапоги, вернулся к кабине, вскарабкался на подножку, едва выдающуюся над водной поверхностью, весомо потопал по ней, чтобы стекли самые комья, а потом вновь уселся за руль и включил мотор.

Студент не заметил, что у лужи скопилось уже десять или двенадцать манайцев. Они подошли так тихо, что он ничего не слышал. Как будто вместо ботинок были у них кошачьи лапы. Вдруг все, будто по неслышному свистку, шагнули вперед и прильнули к машине тощими коричневыми телами. Мотор взревел так, что, казалось, сейчас надорвется, борт хлипкого грузовика качнулся из стороны в сторону, чуть не вывернув вещи, чавкнули выдирающиеся из топи колеса, и в образовавшийся на мгновение узкий провал хлынула земляная вода.

Машина, оставляя следы, выползла на дорогу.

Однако перед тем, как дверца кабины с треском захлопнулась, из нее высунулась рука в задранным рукаве ватника и поставила на кремнистую насыпь бутылку с желтой наклейкой.

Пиля во мгновение ока очутился между нею и грузовиком. Сначала посмотрел на бутылку и даже вскинул ладони, пальцы на которых восторженно зашевелились, затем посмотрел на машину, удаляющуюся в сторону леса. Опять — на бутылку. Опять — на удаляющуюся машину. Чувствовалось, что в душе его происходит отчаянная борьба. Разум все-таки победил. Пиля, как петух, которому наподдали, подскочил на месте и, придержав штаны, побежал по грунтовке.

— Эй-эй!.. Меня захватите!..

Видно было, как он отчаянно заскочил на подножку, чуть не сорвался от спешки, вцепился в дверцу, чтоб укрепиться, растопырил кривоватые ноги и, вероятно, почувствовав себя немного увереннее, почти до пояса втиснулся в боковое окно.

— С-сука, — нейтральным голосом сказал майор.

Кабан по обыкновению промолчал.

Грузовичок свернул и исчез за плотными елями.

Мелькнул еще кусочек борта — и все.

Студент лишь тогда почувствовал, как ноют у него сведенные напряжением пальцы.

Сперва выпили за упокой души раба божьего Федора, чтобы на новом месте у него действительно все было в порядке, затем — за упокой души раба божьего Пили, чтоб, где б он ни лег, земля бы везде была ему пухом. Студент, правда, усомнился, что за упокой души можно пить, если человек еще жив, но майор на него только коротко посмотрел, Кабан хрюкнул, и противная теплая водка сама полилась в горло.

— Для нас уехал — все равно что умер, — ставя на место стакан, объяснил майор. Он с хрустом переломил крупный пупырчатый огурец, одну половину сунул в руки студенту, а от другой откусил так, что вылетели изнутри брызги семечек. — Да... А ведь еще три года назад жили не хуже других. Магазин работал, девки туда-сюда шастали, каждый праздник — обязательно мордобой... Крепкая была деревня... Церковь вот собирались восстановить. — Майор дернул лысым затылком назад, где за спиной его, на вершине пригорка, словно напоминая о том, чего больше не будет, сквозила дырчатыми куполами церковь, сходящая от времени и непогоды. Заворачивались чешуйки краски на стенах. Серые доски отслаивали от мякоти лохмотья волокон. Через открытую дверь виден был земляной пол, трещины на штукатурке. — И никаких манайцев тогда духу не было. Помнишь, Кабан?.. Киргиз один жил, это еще из прежних переселенцев, латыш Палкис с Алдоней, ну, латыши — они все равно что русские. Про Жменю из Белоруссии я уже и не говорю. Слышишь, Кабан?.. Никто ничем перед другими не выставлялся...

Он прищурился.

Кабан неопределенно хрюкнул.

— Дела-то всего — взять две роты, — вдумчиво сказал майор, — оцепить деревню, чтобы ни одна сволочь не выбралась, час — на сборы, всех в товарняки, пускай укатывают в свой Манай. Небось потом не вернуться.

— Угу, — высказал Кабан свою точку зрения.

Они помолчали.

— Вы лужу почему не засыплете? — спросил студент. — Сейчас лето, и то к вам не доберешься, сломаешься... А если осенью?.. А весной?..

Майор с досадой рубанул ладонью по воздуху.

— Хрен с ней, с лужей!.. Кому надо, проедет... А вот две роты сюда, и чтоб ребята такие, которые с манайцами уже дело имели. Чтоб ни секунды не сомневались... Слышишь, Кабан?..

Манайцы тем временем выползли со своих огородов и по два-три человека стягивались на площадку у бывшего магазина. Стоптана она была до беловатого грунта. Пара бетонных скамеек обозначала автобусную остановку. Манайцы, плотно прижимаясь плечами, выстроились на площадке в громадный круг, подняли к небу ладони с костлявыми, растопыренными, очень тонкими пальцами, запрокинули головы, так что чудом не послетали с них соломенные панамки, и вдруг разом начали приседать, разводя и сводя жилистые колени. Одновременно они тоненько запищали; причем писк с каждой минутой усиливался, словно перемещали рычажок громкости, истончался, вытягивался, бледнел, перебираясь в какие-то уже запретельные области диапазона, сверлил уши, пронизывал, казалось, каждую клеточку, превращался в невыносимый, закручивающийся в пустоту дикий визг, как будто завопила от ужаса целая банда кошек.

— С-суки, — сказал майор, хватаясь за уши. — Ну вот, попробуй тут жить, когда три раза в день — вот такое... У меня сейчас мозги потекут...

Он взялся было за автомат — разжал пальцы, опять тронул гладкое дерево, сомкнутое с железом, — опять отпустил. Вдруг бешено распрямился, словно его ударило изнутри, и, едва не задев студента, крутанулся на месте.

Неслышимый за визгом манайцев, подкатил к самой луже новенький, как будто только что купленный, мотоцикл — правда, уже чувствительно забрызганный грязью вплоть до сиденья, однако явно не из дешевых, с протертым, по-видимому недавно, ярким православным крестом на капоте. За рулем находился парень в десантном комбинезоне, из-за плеча его предупредительно высовывалось дуло накинутаго автомата, а все пространство коляски, словно сделанной именно под него, заполнял собою священник; тоже — с громадным сияющим православным крестом на груди.

Он, не торопясь, сведя пышные брови, выпростался наружу, солидно одернул рясу, приоткрывшую тяжелые тупые носы армейских сапог, перекрестился на сквозящие купола, осенил широким благословением молча разглядывающих его Кабана, студента, майора (никто из них даже не шелохнулся в ответ), а затем, одной рукой подхватив широкогорлый сосуд со святой водой, а другой сжав метелочку, скрепленную потрепанной изолентой, сказал, ни к кому не обращаясь: «Ну, с Богом!» и деловито зашагал вниз, к визжащему кругу манайцев. Метелочку он при этом окунал глубоко в сосуд и мерно разбрасывал перед собой брызги воды.

Тогда майор, в свою очередь, вразвалку подошел к мотоциклу, осмотрел его по-хозяйски — справа и слева, точно собирался купить, осмотрел также десантника, точно не человек это был, а пластмассовый манекен, и лишь потом спросил начальственным хрипловатым голосом:

— Откуда?

— Оттуда, — в тон ему ответил десантник.

— И как там?

— Хреново, — сказал десантник. Он все время поворачивал голову вслед за майором. С мотоцикла, впрочем, не слез и ладоней с прорезиненных рукояток руля не убрал. — В поселок заводской вчера заезжали. Ни одного человека больше нет в поселке...

Последовала короткая пауза.

Майор выдернул из земли сухую былинку и переломил ее пополам.

— А что бы вам не собрать десяток ребят, — сказал он, покусывая суставчатую жесткую ость. — Десяток нормальных ребят, крепких таких, у вас будет? Вот, приехали бы, поговорили как люди... Объяснили бы, строго так, кому эта земля спокон века принадлежит... Кстати, рыбы в здешних местах — пропасть...

— Пробовали уже за рыбой, — хмуро сказал десантник.

— Ну и что?

— А то, что с рыбалки этой никто не вернулся. В Больших Липах — знаешь? — кстати говоря, пробовали. До Лип-то они доехали, это по следам ясно, на двух джипах махнули, а дальше — ни ребят, ни машин, ничего... Следственная группа потом работала. Утром примчались — вечером уже бумажки подписывали. Болота вокруг Лип знаешь какие?..

— Понятно, — сказал майор.

Что ему тут было понятно, объяснить мог только он сам.

Оба они повернули головы.

Пение манайцев, по мере того, как священник к ним приближался, становилось все тише. Руки, обращенные к небу, двигались все медленнее и медленнее. Круг в ближней точке неожиданно разомкнулся, давая проход, но не распался совсем — края его разошлись, образовав нечто вроде коричневой чаши. Священник оказался как раз в ее фокусе. Метелочка замерла в воздухе. Но потом все-таки опустилась в сосуд и резким движением выбросила оттуда веер продолговатых капель.

Студент видел это собственными глазами.

Сверкающие, будто из золота, брызги неторопливо поплыли к манайцам, те, в свою очередь, подтянулись и выставили перед собой ладони. Не произнесено было ни одного слова. Но капли вдруг зашипели в воздухе и длинными струйками пара рванулись вверх.

Десантник тут же потащил с плеча автомат, перехватил его и положил дулом на руль.

Все это, однако, без лишней спешки.

Майор сделал два шага назад, опустился на корточки, и тоже — нащупал рукой приклад.

Ничего страшного, впрочем, не произошло.

Священник бросил метелочку внутрь сосуда, повернулся и, даже не ускоряя шагов, возвратился к коляске. Здесь он привычно закрепил сосуд в особую ремennую петельку, накрыл его крышкой, которую, чтоб не съезжала, защемил двумя скобами. Снова перекрестился на сквозящие синевой купола.

— Дай вам Бог, православные!..

— И вам того же, — после некоторого молчания, не убирая руки с приклада, отозвался майор.

Когда мотоцикл исчез все за теми же плотными елями, когда треск его растворился в лесу, а ветер унес запах душного выхлопа, Кабан, точно дожидавшийся именно такого момента, покряхтел и как-то по частям поднялся со своего лежбища.

Был он на удивление невысоким, коротконогим, тулово, словно вытесанное из кряжа, почти влачилось по дерну; громадная голова выдавливалась из шеи жирные складки. Странно было, как он умудрялся сквозь них дышать.

— Ладно, пойду, собираться надо...

Он выдержал огненный взгляд майора, который немедленно вскинул лицо, проверяя — уж не ослышался ли, и равнодушно, будто речь шла о бане, добавил:

— К вечеру машина вернется. Утром — погрузимся...

Больше он ничего не сказал. Пошел — без дороги, продавливая на каждом шагу верхний слой почвы.

Земля его держала с трудом.

Майор только прищурился.

— Вот, а президент все на лыжах съезжает, — не очень понятно прокомментировал он. — Все переговоры ведет на высоком уровне. Тут не переговоры нужны, тут надо сразу — за горло брать. — Он вдруг громко, как полированной сталью, скрипнул зубами. — Что мы, русские, за народ, и жить не хотим, и умирать страшно...

— Архетип такой, — неожиданно ответил студент. Он не хотел говорить. Вырвалось как-то само собой. — Земли много. Всегда можно куда-то уйти.

Теперь майор перевел взгляд на него. И от этого раскаленного, прицельного взгляда хотелось скрыться.

— Это ты верно сказал. Уйти есть куда...

Несколько мгновений они сидели в безмолвии. А потом майор тоже встал и, не прощаясь, двинулся в сторону леса. Шел он через цветастый луг, начинавшийся сразу за церковью, и в отличие от Кабана ступал пружинисто и легко, будто вовсе не пил.

Он ни разу не обернулся.

Автомат он нес так, что в траве его видно не было.

Студент дремал на пригорке, подложив руки под голову, и сквозь тени слипающихся ресниц смотрел в солнечные просторы. Лежать ему сейчас, конечно, не следовало бы. Ему следовало бы трудолюбиво, как муравью, копошиться внутри темноватой, пахнувшей разором и запустением, унылой церкви, ползать по скрипучим стропилам, тревожа слой пыли, растягивать вдоль перекрытий жестяную ленту рулетки. Собственно, за этим он сюда и приехал. Акт о техническом состоянии писать все равно придется. Делать ему, однако, ничего не хотелось: город, институт, кафедра были призрачными, как будто почудившимися в сновидениях. Казалось совершенно невероятным, что где-то ходят сейчас по гладкой тверди асфальта, ездят на транспорте, может быть, открывают зонты, опускаются, как сомнамбулы, в мраморные подземные вестибюли. Ему казалось, что в действительности ничего этого нет, а есть только пустоши, вечная комариная тишина, простершиеся на сотни и тысячи километров леса, полные древесного зноя. Редкие деревеньки, где из конца в конец не встретить ни одного человека, пересвист непуганых птиц, зарастающие травой проселки...

Он видел, как манайцы убирают последний мусор с очищенного Пилиного участка. Заметны были еще присыпанные землей ямы от кольев, вытопанная, мертвая плешь, где у Пили не выдерживала ни одна былинка, Пиля хвастал как-то, что специально поливает ее бензином, остатки разоренного огорода... Завтра манайцы примутся, вероятно, за участок Федора, а еще через день — через два — за крепенькую избу Кабана. Здесь им, наверное, повозиться придется: дом у Кабана — как он сам, забор из толстенных брусьев выглядит несокрушимым. Сколько сил надо, чтоб разобрать этакое страшилище. Ничего, манайцы с ним справятся, возникнет опять на месте жилья земляная рыхлая пустота, жаркий воздух, терпеливое копошение насекомых... Жизнь пойдет, как будто человека никогда не было...

Он также видел, как потянулись старухи к полю манайской пшеницы. Длинный, неестественно желтый прямоугольник ее вытянулся меж речкой и бывшей деревенской околицей. Как будто положили на землю толстый ломоть сыра. И подравняли края: откусывай — не откусывай, останется то же самое... Пшеницу манайцы не охраняли; напротив — любой мог нарвать себе сноп ярких колосьев. Далее из них вылущивались крепкие, продолговатые зерна, заливались водой, и уже через десять минут каша была готова. Ее не нужно было даже варить: зерно само разбухало и превращалось в клейкую сладковатую массу. Федосья, у которой студент снимал комнату, ела ее три раза в день. Денег с него поэтому не брала.

— Зачем мне деньги, милоч, куда их тут тратить? — А к тем продуктам, которые студент привез из города, даже не прикасалась.

Студент вытянул слегка затекшую ногу. Раздался писк, из-под кроссовки, которой он придавил лист лопуха, выскочил небольшой чемурек, наверное, уже давно там упрятавшийся, и, встав в мягкий столбик, ощерился опасными мышинными зубками. Был он желтовато-коричневый, как все, что жило или росло у манайцев, размером с крысу, и опирался на крысиный же голый розовый хвостик, когтистые лапки его были нацелены на студента, а бусинки непроницаемых глаз возмущенно подергивались. Кто это посмел ему помешать?

— Брысь... — лениво сказал студент.

Чемурек мгновенно исчез.

И в этот момент со стороны леса раздался выстрел.

Правда, на выстрел он был совсем не похож. Просто — легкий хлопок, от коего из кустарника, вдающегося мыском в бывшее колхозное поле, словно хлопья костра, метнулись к небу испуганные то ли грачи, то ли вороны.

Тем не менее, один из манайцев, тащивших жерди с Пилиного участка, вдруг подпрыгнул на месте, будто его хватили прутом по пяткам, нелепо выбросил локти, как птичьи кости без крыльев, и брякнулся во весь рост на каменистую твердь дороги.

Пару раз дернулся, будто пытаюсь встать, и застыл — прижав к телу руки и ноги.

Студент тут же сел.

У него как-то глубоко-глубоко провалилось сердце.

— Что же это такое? — растерянно сказал он.

Надо было, видимо, куда-то бежать, где-то прятаться.

Вот только — куда и где?

На дороге тем временем происходило нечто странное. Манайцы, находившиеся поблизости, окружили лежащего редким кругом, всего, наверное, из семи-восьми человек, выставили к нему растопыренные ладони, сомкнув их в венчик цветка, и начали делать такие движения, как будто накачивали в мертвое тело воздух. Одновременно все они громко выдыхали: Ух!.. Ух!.. Ух!.. — и чуть приседали, как прежде, разводя костяные колени. От этого распластанное на дороге тело начало конвульсивно подергиваться, скрести пальцами по земле, терять очертания, расплываться, как то растение, которое давеча выдрал майор, превращаться в бесформенную студенистую массу, вздувающую из себя множество тут же лопающихся пузырей. С пригорка, где находился студент, все было видно достаточно хорошо. Продолжалось так, вероятно, минуты три или четыре. Счет времени он потерял, лишь мелко-мелко подергивал вокруг себя листики дерна. А потом масса, вытянувшаяся на дороге, сгустилась, успокоилась, приобрела характерную светло-коричневую окраску, судороги и пузырение прекратились, выполнив, вероятно, свое назначение, и от нее отделились две пары тощих, будто из тростинок, ладони. Двое манайцев, более похожих на скелеты, поднялись и, пошатываясь, вознесли над собой пронзительно тонкие руки. Остальные перешли с уханья на кошачье затихающее мяуканье, круг распался, и новорожденные, медленно переставляя конечности, двинулись в сторону огородов.

Никто их не сопровождал.

Напротив, манайцы, которых за это время стало значительно больше (подтянулись, видимо, те, которые были внутри поселка), развернулись в шеренгу, слегка загибающуюся по краям, и опять выстроили фигуру, напоминающую разрез чаши. Эта живая «чаша» синхронно поворачивалась, будто сканируя окружающее пространство, и когда фокус ее скользнул по студенту, тот ощутил в сердце горячий толчок.

Хотелось вскрикнуть, но он сдержался.

А манайская «чаша» остановилась, уперев невидимое свое острие именно в клин кустов, откуда прозвучал выстрел, и затем очень плавно, растягиваясь вправо и влево, пошла к нему через поле.

Раздался еще один выстрел, но, видимо, никого не задел.

Затем — еще один.

С тем же успехом.

Крикнула птица, имени которой никто не знал.

И наступила обморочная тишина.

— Да что же это?.. — срывающимся, некрасивым голосом сказал студент.

Через полчаса, собрав свои вещи, то есть торопливо покидав их в рюкзак и туго перетянув клапан, он выскочил из дома Федосьи, которая, к счастью, отсутствовала, и прикрыл за собой калитку, царапнувшую по земле кривым низом.

Тем не менее, он опоздал.

Сразу же перед домом, загораживая дорогу, стояли двое манайцев. Впервые за две недели пребывания здесь студент видел их так отчетливо: оба — светло-коричневые, тощие, невысокие, оба — действительно, будто кожей, облитые эластичными комбинезонами, оба — с непроницаемыми глазами, с зеленоватым пухом, высывающимся из-под панамок.

— Чего уставились? — грубовато спросил студент. Он в это мгновение почему-то их совсем не боялся. — Ждете, пока уеду? Все, уезжаю... — И для наглядности изобразил средним и указательным пальцами. — Моя-твоя уходить. Топ-топ...

— Оцень холосо, — резким писклявым голосом сказал левый манаец. — Моя-твоя понимай, оцень рада...

Второй не произнес ничего. Зато, как придурок, расплылся жидкой улыбкой от уха до уха.

— Бутылку давай, чего смотришь, — злобно сказал студент. — Раз уезжаю отсюда — значит, по закону положено...

Секунду первый манаец раздумывал, словно не понимая, о чем разговор, а потом сжал ладони и шаркнул ими по комбинезону. В руках его вдруг оказалась бутылка с желтой наклейкой. Непонятно было, где она до сих пор скрывалась. Разве что манаец извлек ее прямо из тела.

— Путилка, — радостно сообщил он. — Моя-твоя, заплатил. Холосо...

Второй тревожно поднял брови.

— Твоя потом возвращайся не будет?

— Не будет, — заверил студент. — Не беспокойтесь... Топ-топ... насовсем...

Манайцы дружно отступили к обочине.

Теперь оба они расплывались в улыбках и даже кивали студенту острыми соломенными панамками.

— Холосо... Холосо...

Все-таки они походили на идиотов.

Студент сунул бутылку в боковой карман рюкзака и зашагал в сторону города.

## ПОРА СЕНОКОСА

— Нет, все-таки ты не прав, — сказал Тиша. — В протестантской конфессии, в самом деле, если ты добиваешься делового успеха, значит на тебе лежит благоволение божие. На этом основаны все американские достижения. Однако, что важно, успеха ты добиваешься самостоятельно. Бог, протестантский Бог, тебе в этом не помогает.



Он взял с тарелки маслянистую коричневую соломку с крупинками соли, откусил от нее и захрустел поджаристой корочкой.

— Это — узко конфессиональный подход. Твою проблему, скорее, следует трактовать в русле общехристианских воззрений. У тебя есть предназначение, кое ты обязан осуществить, и Бог помогает тебе идти этим путем.

— А в чем предназначение заключается? — спросил Дольник.

— Понятия не имею, — жизнерадостно ответил Тиша. — Считается, что ты сам должен это почувствовать. Тебе должен быть знак, откровение, перст судьбы — называй как хочешь. Одно можно сказать твердо: если у тебя начались неудачи, значит ты от своего предназначения отступил.

Дольник тоже откусил край соломки. Она имела рыбный солоноватый вкус и с минеральной водой, которую он себе заказал, совершенно не сочеталась.

— И что тогда?

— Что тогда?.. Тогда благоволение божье заканчивается. Бог, как известно, не фраер... Вот мы тут с тобой спокойно сидим, пьем пиво... Ну да, извини, ты, как всегда, — минералку... О жизни беседуем, не торопясь... А в это время известный киллер по кличке Койот, оттуда вон, например, выцеливает тебя через оптику...

Тиша махнул рукой. В трехэтажном старинном доме на другой стороне канала действительно было распахнуто угловое окно — тюлевые занавески за подоконником чуть колыхались от ветра.

В просвете между ними была чернота.

— Пок — и тебя больше нет...

Он посмотрел на свои жирные пальцы — осторожно вытянул из заднего кармана джинсов платок, энергично встряхнул его, разворачивая, промокнул лоб, щеки, приложил к рыбным губам, а затем тщательно, будто выполняя некий загадочный ритуал, начал протирать каждый палец отдельно.

— Зачем? Салфетки же есть, — сказал Дольник.

— Хрен этими салфетками вытрешь...

Кроме них в летнем кафе никого не было. Скучал, облокотившись о стойку, бармен с оловянными выпученными глазами, да в дальнем углу, накрытом тенью пластмассового козырька, два коротко стриженных бугая потягивали пиво из кружек.

Оба, несмотря на жару, в кожаных пиджаках.

Тиша, тем не менее, понизил голос.

— Ты мне лучше вот что скажи. Ты почему контракт со Слоном не хочешь подписывать? Что там тебя не устраивает?

Он вдруг замер, будто испугавшись собственных слов. Даже на рубашке его, там, где тело соприкасалось с тканью, проступила мокрая полоса.

Дольник пожал плечами.

— Чего попроще спроси. Откуда я знаю? С одной стороны, контракт вроде приличный, мы на фирме его обнюхали — каждую букву. Выгодно, выгодно, черт, ничего не скажешь... А с другой стороны... Как тебе объяснить?.. Не могу... Будто каким-то таким дерьмецом от него пахнет. Будто там, внутри, что-то гниет... Вот — все в порядке, а не могу...

— Это потому, что — Слон? — хрипловато поинтересовался Тиша.

— А что — Слон? Слон сейчас, кстати, нисколько не хуже других. В костюме ходит, при галстук. Прошли прежние времена. Или все-таки не прошли?..

Он отпил немного минеральной воды. Вода была теплая, нагрелась, пока они разговаривали. Внимательно обозрел Тишу, который, налившись пивом, страдал от жары, и затем, чуть вытянув голову, перевел взгляд туда, где покачивались белые занавески.

Солнце било в глаза, квартирная темнота казалась непроницаемой.

Или там все же кто-то скрывался?

Он иронически хмыкнул.

— Койот, говоришь?

Койот зацепил ногой стул и, мерно подталкивая его, переместил на несколько сантиметров.

Затем снова прильнул к трубочке оптического прицела.

Дуло винтовки, угнездившееся в скосе двух планок, смотрело теперь сквозь занавески под более острым углом.

Впрочем, это ничего не меняло.

Круглый кусочек пространства по-прежнему заслоняла расплывчатая бурая тень: ствол старого тополя, росшего на другой стороне. Лишь в крайней части картинки просматривались на пределе возможного — лоб, нос и подбородок клиента.

Работать в таком ракурсе было нельзя. Пуля либо зацепит кору и жажнет неизвестно куда, вызвав в кафе и на улице дикий переполох, либо, если уж повезет, огненным твердым прутом чиркнет клиента по лбу. Удар, конечно, будет такой, что подскочишь. Однако кость не пробьет; в лучшем случае — оглушит.

Койот скрипнул зубами.

Вчера, после осмотра места будущей акции, он позвонил заказчику и настойчиво попросил, чтобы расположились они справа от входа. Кажется, не так уж трудно запомнить. Вон этот столик, кстати, совершенно пустой, краснеет пластмассовой чистой поверхностью. Нет, повернули, видите ли, налево, да еще сели так, что директриса стрельбы оказалась полностью перекрытой.

Что за удручающая безответственность?

Как с такими людьми сотрудничать?

Сам заказчик, между прочим, был виден прекрасно: поднял в это мгновение кружку и запрокинул голову, допивая остатки.

Вот бы кого свинтить.

Пок — и нет идиота.

— Ну позови, позови его, — процедил Койот. — Ну скажи ему что-нибудь, пусть он к тебе хоть чуть-чуть нагнется. Совсем чуть-чуть, пожалуйста, мне много не надо...

И точно в ответ на просьбу, высказанную таким тихим шелестом, который не расслышал бы и стоящий поблизости человек, заказчик поставил кружку и, видимо, действительно сказал что-то важное, потому что клиент внезапно подался вперед и даже облокотился о столик.

— Ну вот, — поджав губы, сказал Койот.

Он был уверен, что рано или поздно это случится.

Остальное было делом техники.

Он плавно перевел стрелку прицела на хорошо знакомую ему точку — чуть выше и чуть левее уха клиента, самое надежное при стрельбе сверху место, а потом задержал дыхание и мягко, почти бесчувственно нажал на курок.

— Ну, не Койот, предположим, — весело сказал Тиша. — Койот — это так, мелкие фантазии обывателя. А вот ты рассказывал, что живет под тобой какой-то сумасшедший старик: включит газ на плите, а зажечь забудет... Кстати, почему газ? Дом — после ремонта, плиты должны быть на электричестве.

— Дом новый, да район старый, — ответил Дольник. — Электричество у нас отключают хотя бы раз в месяц. Попробуй поживи так — без плиты, без всего... А старик этот, между прочим, действительно сумасшедший. Главное, ничего не сделать. Сын у него — знаешь кто? Ну вот, сын — в Москве, а он — тут, колобродит... Как-нибудь, в самом деле, чиркнет спичкой, и все. Перееду я оттуда к чертовой матери...

Он вдруг прищурился, сильно подался вперед и сжал пальцами круглый высокий стакан с выдохшейся минералкой.

— А вот скажи мне честно, Тиша, как старинный приятель: уел бы меня, конечно, Слон на этом контракте? Не знаю — где, не знаю — каким образом, но ведь, точно, уел бы?.. Ты не бойся, дальше меня это не пойдет. Мне интересно в чисто теоретическом плане. И решения своего я тоже не изменю. Со Слоном работать не буду. Словами можешь не говорить, ты — просто кивни.

Под его внимательным взглядом Тиша медленно опустил и поднял веки.

— Спасибо, Тиша, — сказал Дольник. — А на сколько они тебя *подвесили*, что ты решил сдать приятеля? Да ты, повторяю, не бойся. Я — человек немстительный, ты же знаешь...

Он прищурился еще больше.

— На двадцатку, — не сразу выдавил из себя Тиша.

Вся его прежняя веселость куда-то пропала. Теперь перед Дольником сидел тридцатилетний старик — с землистыми щеками и провалившимися в морщины глазами.

У него даже нос заострился, как у покойника.

Дольнику его стало жалко.

— Ну, двадцатку я тебе, конечно, не дам, — задумчиво произнес он, покручивая в пальцах стакан. — Трешку — еще куда ни шло, остальное в других местах наскребешь. Не бойся, Тиша, не из таких передраг выбирались...

— На хрена мне трешка твоя, — сказал Тиша.

— Так что? Возьмешь или нет?

— Возьму...

— Тогда зайди завтра в офис... И вот еще что...

Дольник внезапно выпрямился, будто его кольнули, и, исказив в гримасе лицо, хватил себя рукой по щеке.

— З-зараза!.. — с чувством произнес он.

— Комар? — спросил Тиша.

— З-зараза!.. Откуда они только берутся...

В этот момент между ними что-то негромко свистнуло, и от пластмассовой стойки, над которой, как змеи, изогнулись никелированные мордочки краников, откуда-то снизу, донесся тупой сильный удар.

Точно забили гвоздь резиновым молотком.

Бугаи, расположившиеся в углу, повернули головы. Встрепенулся бармен — нагнулся, изучил место, выпрямился, демонстративно развел руками.

Лицо его выражало недоумение.

— Лопнуло у него что-то, — предположил Тиша. — А комары — это уже особая городская порода. В подвалах размножаются, на чердаках, в перекрытиях, на мокрых трубах, даже на последние этажи залетают...

Он с каким-то испугом глянул через зеленоватый тихий канал, обсаженный тополями, а потом, будто не веря своим глазам, воззрился на Дольника.

Словно увидел перед собой нечто чудовищное.

Вдруг снова выдернул из кармана платок и, торопливо пришепывая, промокнул им лоб, макушку, затылок.

— Жарко, — наблюдая за ним, согласился Дольник. — Ты мне все-таки, Тиша, вот что объясни напоследок. Если у меня есть некое предназначение, ну, благодаря которому, как ты считаешь, мне в жизни везет, то что делать, чтобы его сохранить? Вот ты говоришь — знамение, перст судьбы. Я, если честно, ничего такого не вижу. Я просто живу, как у меня получается, а то, что не получается, — хрен с ним, не очень-то и хотелось. Как, например, в случае со Слоном... Тиша, — позвал он. — Тиша... Ты меня слушаешь?

— Да-да, — рассеянно отозвался Тиша. Он точно пребывал в ином измерении. — Бог его знает, как сохранить. Ты ведь, фактически, спрашиваешь меня, как спасти душу? А в христианстве, знаешь ли, путь спасения сугубо индивидуален. То есть существует, конечно, традиционный набор обрядов, но ведь даже по церковным канонам соблюдение их ничего такого не гарантирует. Они более служат для умиротворения человека... Другое дело, что в православной реальности, к которой мы все, включая атеистов, принадлежим, материальный успех действительно представляет собой некую метафизическую опасность. Это ты, кстати, очень верно почувствовал. Это, скорее, аванс, который еще предстоит отработать. Свидетельство званности, но не избранности. Кому много дано, с того много и спросится...

— Думаешь, спросится? — задумчиво сказал Дольник.

— Спросится-спросится, — рассеянно подтвердил Тиша. — Со всех спросится. Можешь не сомневаться. По той мере, коя была отпущена...

Он перевел глаза на платок, который до сих пор сжимал в кулаке. Вдруг скомкал его и решительно засунул в задний карман.

Койот хорошо видел, как заказчик продублировал условный сигнал. Как он опять извлек на свет божий клетчатый носовой платок, как энергично встряхнул его, точно флаг, взывающий о немедленных действиях, как демонстративно, так, что не заметить было нельзя, вытер им поблескивающее от пота лицо.

Ничего, кроме раздражения, это не вызвало.

Лучше бы он сместился с клиентом чуть в сторону.

— Ну сдвинься, сдвинься, дурак... — прошипел Койот одними губами.

Он уже чувствовал, что акция провалилась.

Был, правда, шанс отработать ситуацию при прощании. Ведь должны же они когда-нибудь встать, выйти из-за барьерчика, огораживающего кафе. На набережной клиент окажется как на ладони. А если они еще и остановятся хотя бы на пару секунд — сказать, например, что-то, обменяться рукопожатием, то больше ничего не потребуется. Этой пары секунд будет вполне достаточно.

Так что шансы успешно завершить операцию еще были. Однако Койот сердцем чувствовал, что рассчитывать на них не приходится. Если уж пошло с самого начала наперекосяк, то сколько ни тужься потом, сколько ни пыжься, ничего путного не получится.

Наверняка опять что-нибудь помешает.

Опыт в этом отношении у него уже был. И потому он несколько не удивился, когда два бугая, мирно потягивавшие пиво в своем углу, неожиданно поднялись и вышли на набережную. Причем не просто вышли — подумавшись, кого это интересует, — а еще и остановились между деревьями так, что заслонили собой единственный удобный просвет.

Теперь все вообще выглядело безнадежно.

И он несколько не удивился, что как раз в этот самый момент поднялись заказчик с клиентом. Видимо, попрощались — замерли на мгновение локти над столиком. Клиент, кажется, что-то сказал, заказчик ему ответил. А потом светлая, вероятно, импортная рубашка с коричневым мягким воротничком проплыла за фигурами бугаев и вышла из поля обзора.

Чему тут, собственно, удивляться?

Ну что ж, нет, значит — нет.

Не его эта вина.

Если заказчик нарушает договоренности, какой может быть спрос?

Просто не повезло.

Главное теперь было — спокойно уйти.

Койот глубоко вздохнул, переключаясь с рабочего режима на обыкновенный, закрыл и открыл глаза, тем самым обозначив для себя конец акции, а затем передвинул рифленую загогулину рычажка на затворе и поймал выскочивший изнутри увесистый, металлического желтого цвета, гладкий продолговатый патрон.

Дольник махнул рукой Тише, растерянно затоптавшемуся у столика, протиснулся между двумя красными зонтиками, которые, будучи сдвинутыми, оставляли совсем мало места, и, миновав низкую металлическую решеточку, указывающую границы кафе, сразу же свернул в переулок — буквально в трех метрах от бокового выхода.

Ему хотелось побыстрее уйти отсюда.

Как это с ним уже несколько раз бывало, он вдруг понял, что все дурацкие рассуждения Тиши насчет киллера, якобы засевшего в доме на той стороне канала, на самом деле были жутковатой реальностью: в темноте съемной квартиры, за тюлевыми занавесками, в тишине, в духоте старой мебели действительно пребывал некий киллер по кличке Койот и, действительно, положив дуло винтовки на спинку стула, выцеливал его, Дольника, через дальнобойную оптику.

Платок, которым Тиша так упорно тряс перед ним, был сигналом.

Ай да Тиша, ай да молодец, старый приятель!..

Дольник почувствовал, что он тоже весь взмок. Рубашка прилипла. Кожу между лопаток тянула неприятная влажная ткань. Все-таки он чудом избежал смерти. Причем именно чудом. Ничем другим это не объяснить. Вообще, если вспомнить, сквозь какие сокрушительные обвалы ему за последние годы удалось проскочить, каких бед избежать, из каких потрясений выкарабкаться, то придется признать, что Тиша был прав. Без чего-то *такого* здесь действительно не обошлось. Взять хотя бы ситуацию перед дефолтом. Ведь буквально за три дня до знаменитого выступления премьер-министра, ввергнувшего в шок всю страну, его будто что-то толкнуло: он сбросил все ГКО, государственные краткосрочные обязательства, между прочим, считавшиеся в тот момент самыми прибыльными из бумаг, и ведь не просто сбросил, что в тех обстоятельствах ему не очень бы помогло, но еще и успел «за секунду до полночи» обменять рублевые активы на доллары. В самом деле, какое-то озарение. Тех же, кто не успел, прохлопал, понадеялся, что пронесет, будто катком переехало... А тот случай, когда он увернулся от Карабаса? А история с бесхозными территориями, на которые претендовал сам Битюг? Попробуй не уступи Битюгу! А вот Дольник не только не уступил, но еще и успел прихватить пару вкусных кусочков. Как будто невидимая рука вела его через эти джунгли — отводила опасности, оберегала от скрытых ям и ловушек. Между прочим, не только его. Все, сумевшие за это время чего-то добиться, могли бы сказать то же самое. Предназначение, как выразился бы Тиша. Может быть, и предназначение. Вот только к чему?..

И как всегда после стресса, свидетельствующего о прикосновении к темноте, его охватило легкое, ни с чем не сравнимое, радостное, удивительное возбуждение. Не то, которое заставляет сразу же торопиться куда-то, а то, что, напротив, порождает иллюзию бесконечного времени. Сколько еще впереди жизни: все можно успеть, все сделать. Не было ничего лучше этого состояния. Мир будто преисполнялся высокого смысла. Дольник видел переулок, высланный стеклянными расплывчатыми отражениями, каменные пустые дворики, где, как в аквариумах, стояла солнечная тишина, чуть шевелящуюся листву тополей, светлый волшебный пух, плывущий по воздуху. Пробежали мальчишки, таща за собою какую-то железяку, осторожно, как рыба, скользнула на набережную легковая машина, девушка в блузке и юбке, открывающих трогательный пупок, выкатила из подворотни коляску с посапывающим пухлым младенцем. Это было как знаки тайнописи, проступающие в повседневности. То, что превращает существование в настоящую жизнь.

Дольник, конечно, знал, что ощущение это обманчиво. Это — не более чем мираж, окутывающий собою реальность. Он знал, что стоит ступить в заманчивую тень подворотни, и обнаружатся мусорные бачки, из которых вываливается всякая протухшая дрянь, знал, что лестницы в парадных разбиты, плохо освещены, пропитаны ужасными запахами, стены исписаны ругательствами, которые не соскоблить, жестяные почтовые ящики чернеют пятнами сажи, а мальчишки — кстати, почему они летом в городе? — тащат за собой ржавую раму от холодильника. Вон как противно она скрежещет по мостовой. Это была другая, темная сторона бытия. Задники декораций, где оседают грязь, боль, страх, окурки, бутылочное стекло. Хорошо бы все это вычистить до праздничного сверкания. Хорошо бы все это вымыть, досуха протереть, покрасить, заменить новым. Чтобы чистота была не только снаружи, но и внутри. Чтобы едкая копоть страданий не отравляла ни одного человека. Вот дело, которым действительно можно заняться. Ведь не накапливать же до бесконечности серо-зеленые, скучные одинаковые бумажки с цифрами и степенями защиты. Придумали для взрослых людей игру в фантики. Какое отношение имеет она к подлинной жизни? А вот, действительно, — бросить, заняться, наконец, чем-нибудь стоящим. Чем-нибудь таким, что и есть собственно жизнь. Жаль, что нельзя. Пока он чистит, пока он моет и красит, какой-нибудь очередной Слон со своими братками приберет его дело к рукам. И что тогда? Как тот бомжеватого вида мужик, бродить от помойки к помойке? А ведь действительно жаль. Какая бы это могла быть великолепная жизнь...

Легкая тень набежала на переулочек. Погасло солнечное отражение в окнах, стал гуще сумрак в сводах каменных подворотен. Дунул горячий ветер, потащил к набережной волчок серой пыли.

Дольник поднял голову.

Медленно, словно сонная черепаха, выползло из-за крыш облако, увитое грозowymi расплывами. Видимо, будет дождь. Хорошо бы. Чуть-чуть ослабит жару, прибьет пыль, которая уже скрипит на зубах.

Он набрал номер кодового замка. Щелкнул стопор, зажегся за чугунной вязью ворот огонек телекамеры. Дом был новый, только что капитально отремонтированный, с перекрытым двором, куда не мог попасть никто посторонний. Вон его квартира: четыре окна сюда, три — на улицу. Сейчас он первым делом примет чего-нибудь прохладительного, эта минералка в кафе, бог знает, отдает чем-то таким, до сих пор во рту неприятный солевой привкус. Потом — душ, потом — опять чего-нибудь прохладительного. Затем он, быть может, не торопясь, полистает проспекты, а когда кончится дождь, часа в три — в четыре поедет на фирму. Как раз будет время, чтобы спокойно, без суеты поработать. Бог с ним, с предназначением. Сейчас в самом деле важнее выпить чего-нибудь охлажденного.

У квартиры на втором этаже он на секундочку задержался. Втянул носом воздух, сморщился и почти вплотную припал лицом к узкой дверной филенке. Ну конечно, опять газом пахнет! Старый сморчок, сколько можно ругаться на эту тему! Ведь есть же электрическая плита. Какого хрена нужно крутить газовый вентиль?

Ну, я ему сейчас устрою, злобно подумал Дольник. Сейчас он узнает, как человек становится обезьяной. С ним я объясняться больше не буду, а вот позвоню в аварийную службу, «газовикам», в милицию, в «скорую помощь». Пусть объясняется с ними, гамадрил старый...

Он уже доставал свой ключ, предвкушая, как будет наслаждаться этой картиной, и в это время лестничная площадка под ним, вздрогнув, раскололась посередине, края ее вспучились, словно раздираемые изнутри, и вдруг подбросили вверх столб пыли и грохота...

Тиша оказался на месте взрыва минут через десять. Он увидел просевшую часть дома, мусорно-кирпичные оползни, пересекающие тротуар. Развалины

достигали третьего этажа и, точно корни зубов, торчали из них балки и покореженная арматура.

Сгрудились, загородив набережную, машины милиции, спасателей, несколько белых медицинских фургончиков.

О выживших можно было не спрашивать.

Значит, теперь — Дольник, подумал он. Третий, нет, уже четвертый случай на этой неделе. А сколько еще таких, о которых ничего не известно: инфаркты, дорожно-транспортные происшествия, «деловые разборки», отравления некачественными продуктами. Да просто — споткнулся на ровном месте, упал, ударился головой. Непредвиденная случайность, и все. Никто не видит косы, срезающей бесшумными взмахами одного за другим. Званных, которые не стали избранными.

Скоро не останется никого.

Крайний срок, час икс, момент истины.

Ничего здесь не сделаешь.

Никто не поверит.

Дольник ведь не поверил.

Никого, никого из них не останется.

Тиша вздохнул, почувствовав в горле сухую пыль, отвернулся, дошел по набережной до ближайшего перекрестка. Там он еще раз вздохнул, задумчиво посмотрел на зеленый глаз светофора. И вдруг, как во сне, где опасности избежать нельзя, шагнул на проезжую часть — прямо под колеса стремительно поворачивающего джипа.

## ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

— Я все-таки не врубаюсь, — сказал Вовчик. — Тебя, мужик, как звать, Бокий? Ну вот, Баканя, я не понимаю, чего ты хочешь.

Сидящий перед ним человек повторил предложение.

— Значит, по порядку: вилла на Багамах, раз. — Вовчик выставил перед собой руку и загнул палец. — Это само собой. Без этого базара не будет. Тачку, какую хочешь, так? Ну, насчет тачки мы еще потолкуем. И, скажем, сто тысяч долларов в ихнем банке?

— Можно открыть кредит в рамках означенной суммы.

— На сто тысяч долларов?

— Именно так.

Вовчик откинулся и хитро посмотрел в глаза собеседнику.

— Кредит, говоришь? Кредит отдавать надо, — сказал он. — Кто вас там знает. Может, за этот кредит вы из меня потом фарш сделаете...

— Ну, можно договориться о безвозвратной ссуде в пределах разумных трат.

— Это как?

— Часть этой суммы просто не возвращается.

— На халяву, значит?

— Представительские расходы.

— Слушай, я не понимаю, Баканя, тогда в чем прикол?

— Ну, вы нам тоже кое-что обещаете, — сказал Бокий. — Правда, это лишь в том случае, если вас устроят условия договора.

— А если они меня не устроят?

— Тогда разойдемся.

— И все путем?

— У нас к вам никаких претензий не будет.

— Если что, братки вас из-под земли достанут, — предупредил Вовчик.

Бокий равнодушно мигнул.

— Ну ты меня понял, да?

— На это мы, собственно говоря, и рассчитываем.

— Тогда попробовать можно.

И все-таки Вовчик остался в недоумении. Слишком уж щедрым казался Бокий и слишком уж мало он в итоге хотел. Подумаешь, какую-то ерунду. Не может же быть, чтоб за это платили сто тысяч долларов. Наверное, все-таки у мужика крыша съехала.

Определенно здесь было что-то не то.

И потому, когда братки позже поинтересовались, чего, значит, в натуре, приходил этот хмырь, Вовчик лишь сморщился и показал клык, похожий на волчий. Это чтобы к нему не очень привязывались.

Вдаваться в объяснения пока не хотелось.

— Да так, туфту всякую впаривал, — неопределенно сказал он.

Бокий, тем не менее, не обманул. Через несколько дней Вовчику действительно принесли билет на Багамы. Все чин-чином: рейс, место указано, вписана его фамилия. Вовчик только что не обнюхал длинную многостраничную книжечку. Показал ее Кабану, и тот, посплюнявив пальцем меленький шрифт, сказал, что нет, вроде, не втюхивают.

— Ну че, тогда лети, Вовчик, раз подфартило.

В сопроводительной записке было сказано, что в аэропорту его будет ждать человек и все объяснит. То есть — не пропадет Вовчик. В случае чего будет с кого спросить.

Авторитет его среди братков явно вырос. Малек и Зиппер теперь смотрели на Вовчика другими глазами. Со всех ног бросались, если там, скажем, стакан налить или поднести зажигалку. А Малек дошел до того, что каждый день провожал Вовчика после работы.

Говорил:

— А вдруг котляковские отморозки подскочат?

— Как подскочат, так и отскочат, — отвечал Вовчик, показывая волосатый кулак. — Котляковских я всегда бил и всегда бить буду.

— Нет, уж лучше, знаешь, давай провожу...

Девки с него теперь тоже просто торчали. Гетка и Маракоша готовы были давать Вовчику хоть каждый день. Только мигни, обе тут же бегут в дежурку. Кассета, знаменитая тем, что ее всегда можно было поставить сначала, тоже не сводила с Вовчика своих расширенно-застывших зрачков. А капризная Люська, которая еще недавно посматривала на всех, задрал нос, — ее пас Кабан, вот и считала, что ей все дозволено, теперь — правда, если самого Кабана рядом не было, — подсаживалась поближе и заводила долгие разговоры. То и дело пудрилась, вертелась, стреляла глазами и, вздыхая, зудела, что хотела бы перебраться куда-нибудь к югу. Надоело здесь — холод, грязь, народ неинтеллигентный. Присмотрел бы ты, Вовчик, мне там какую-нибудь такую зацепку. На Багамах, говорят, девки берут по штуке баксов за час.

— Ну, Вовчик, ты же у нас деловой. Ну — потолкуй с местными...

Глаза у нее заволакивались мечтательной дымкой. Слово она воочию видела — море, пальмы, белый горячий песок, грациозную яхту, скользющую к горизонту.

Вовчик отвечал ей неопределенно. Разбираться с Кабаном из-за девки ему смысла не было.

Правда, Забилла, по обыкновению скривив рожу, сказал, что, как он от одного кента слышал, Багамы — место гнилое. Русских, восточников вообще, там отоваривают только так. Кидают как мальчиков. Смотри, чтоб и тебя, Вовчик, не кинули.



При этом он цыкнул слюной и попал на штанину какому-то пробегающему хмырю. Хмырь, конечно, возник. Пришлось дать ему по очкам.

Но даже это не испортило Вовчику настроение. Что взять с Забиллы? Забилла всегда чем-нибудь недоволен. Вовчику казалось, что теперь начинается совершенно другая жизнь. И когда он, выходя из дежурки, окидывал хозяйским взглядом братковскую зону: десяток ларьков, скопившихся у въезда на площадь Непокоренных, три магазинчика в ряд — от продуктового до строительных материалов, небольшой толчок перед ними, где разные недоделки продавали и скупали валюту, он чувствовал, что у него меняется шаг, а тело наливается уверенностью и энергией. Нет, что бы там Забилла не нес, а все будет отлично.

Он в эти дни даже не стал ломать двух пацанов, которые, сдуру наверное, пропилили ножовкой задник торгового павильона. Навешал им подзатыльников и предупредил, чтоб больше не попадались. А когда Мормышка из седьмого ларька, боязливо помаргивая, сказала, что у нее обнаружилась крупная недостача — поставщики, вероятно, кинули, те, что на днях подвозили левую бормотуху, — то Вовчик не навесил ей по хлебальнику, как того требовали суровые законы рыночной экономики, а просто посмотрел, как на вошь, и сказал, чтобы за две недели все было покрыто. Не покроешь, тогда, значит, пеняй на себя. И Мормышка от такого неслыханного попустительства просто порозовела. Лицо у нее замаслилось, а губы сложились в бантик. Вовчик ощущал себя благодетелем.

Авторитет его по всему району еще больше возрос, когда тем же вечером у братков произошла разборка с котляковскими отморозками. Котляковцы, надо сказать, уже давно нарывались. Они требовали ни много ни мало, чтобы братки делились с ними наваром по чейнджу. Дескать, хозяин чейнджа — на их территории, а что продавцы на толчке, это никого не волнует. Где хозяин, туда и должен идти налог. Братки им, кстати, отвечали на эту тему вполне разумно: что — вот это вот видишь, ну, значит, вали отсюда, где это сказано, чтобы по чейнджу отказываться от налога? Однако котляковские отморозки, по-видимому, совсем обнаглели. Назначили стрелку, о чем официально уведомили Кабана, и получили от Алихана «добро» на разбор по понятиям.

Ну, делать нечего; Кабан подтянул всю команду. Пришли Бумба и Топорок, которые по району тоже были в авторитете. Примчался Штакетник, прибившийся к ним всего месяца полтора назад. Пришли Зиппер с Мальком, с которых все равно было мало проку. Забилла положил в каждый карман по увесистому кастету. Явился даже Нырок, который, вообще говоря, быть здесь не обязан. Нырок уже давно отделился и держал точку за трамвайным разъездом. Это, вероятно, Кабан отдельно попросил его подсобить. Ну и, конечно, всякая мелюзга на подхват: Козура, Чайник, Двойняшки, Петечка с Васечкой.

Словом, команда образовалась вполне приличная. С такой не стыдно было бы выйти на разговор с самим Алиханом. Вовчик испытывал в коллективе законное чувство гордости. Братки стояли стеной, и было сразу понятно, что отступить они не намерены. Куда против них отморозкам из котляковской шоблы. То есть в братках Вовчик был совершенно уверен. Сам он захватил резиновую дубинку, подвешенную под курткой на специальной петле, и теперь только ждал, чтоб кто-нибудь из этих чувырл сунулся не по правилам. Он ему тогда объяснит, где чья территория.

Однако отморозки пока держались от Вовчика несколько в стороне. Они не то чтоб не лезли в драку, а вроде бы чего-то такого ждали: перетапывались, посапывали, искоса поглядывали на приземистого длиннорукого Котляка. Чего они ждали, стало понятно уже через три минуты. Потому что когда Кабан с Котляком двинулись навстречу друг другу, чтобы начать разговоры, из бокового парадняка,

который почему-то никто проверить не догадался, точно черти из преисподней, высочили четыре здоровенных быка.

Первый сразу же отоварил Кабана железным прутом по кумполу. Прут согнулся и стал похож на недорисованную букву «Г». Кабан громко икнул, но на ногах все-таки устоял. Зато когда второй бык отоварил его таким же прутом по затылку, Кабан закачался, повернулся вокруг себя и шлепнулся на булыжник. Голова его гукнула, будто пустая тыква. И в тот же момент все котляковские отморозки бросились на братков. Двое из них сразу же отрубили Малька и Зиппера. Двое других занялись Нырком, работая по нему резиновыми дубинками. Топорка и Бумбу отрезали и загнали в проход между мусорными бачками. А Забиллу, который умел-таки драться, если его разозлить, подминал крупный бык с прутом и железной цепочкой. Судя по всему, Забилле приходилось несладко.

Самим же Вовчиком занялись те быки, которые сперва вырубил Кабана. Два железных прута почти одновременно опустили ему на голову. Голова у Вовчика зазвенела, но прутья зазвенели еще сильнее. Быки вскрикнули, точно оба ударили по металлу, и от боли в костяшках выронили прутья на булыжник. Тогда Вовчик размахнулся и врезал ближнему быку по челюсти. Бык отлетел и заодно уронил одного из тех, кто размахивал дубинкой перед Нырком. Тогда Вовчик повернулся и вмазал по сопельнику второму быку. Тот попятился, как чумной, и приложился спиной к мусорному бачку. Ноги у него разъехались, он сел и будто о чем-то задумался. А вошедший в раж Вовчик начал работать по остальным. Он замахивался дубинкой и бил в бритый затылок. А потом замахивался еще раз и добавлял уже по ушам. Причем после каждого его удара кто-нибудь падал. Сунулся было Котляк — попало по кумполу и ему. А когда кто-то из отморозков, не сообразивший сдуру, что удача от них отвернулась, завопил, будто псих, и крутанул над головой велосипедной цепочкой, Вовчик, без особых усилий парировав смертельный удар, подтащил к себе этого отморозка, поднял его за грудки и, точно мешок с картошкой, отправил к мусорным бакам. Отморозок, сложившись, влетел точно в отверстие. Захлопнулась крышка, бык, сидевший чуть ниже, вздрогнул и повалился на бок. Драться, оказывается, было уже не с кем. Поле битвы являло собой нагромождение стонущих идиотов. Все они пытались расползтись кто куда. Вовчик стоял среди них, как сказочный исполин. В данной картине было что-то величественное. Даже Кабан, который к этому времени пришел в себя и, пошатываясь, поднялся, стискивая обеими руками затылок, и тот прохрипел потрясенно:

— Ну ты, Вовчик, даешь...

А у Забиллы, вылезшего из-за баков, глаза были круглые от удивления.

Вовчик и сам не понял, как это у него так ловко все получилось. Вроде бы ничего особенного он не делал, и вот те на. И только вечером, уже после празднования этой великой победы, когда ему позвонил Бокий и суховато, по-деловому сказал: — Видите, мы свои условия выполняем, — у него в побаливающей-таки башке что-то забрезжило.

И потому когда Бокий поинтересовался, что он теперь думает о его предложении, Вовчик энергично кивнул и даже потряс в воздухе кулаком.

При этом он чуть не выронил трубку.

Однако не выронил.

— Заметано, — сказал он.

Теперь братки не очень хотели отпускать Вовчика на Багамы. То есть, с одной стороны, им было, конечно, приятно, что именно он, а не кто-нибудь там еще получил такое выгодное предложение. Это поднимало их моральный авторитет. Было о чем потолковать с корешами из смежных точек. Было о чем рассказать девкам, сидя после рабочего дня в «Золотом уголке». Вовчиком братки законно гордились. Но, с другой стороны, не хотелось, пусть даже на время, лишаться

такого испытанного бойца. Вовчик пользовался в районе заслуженной популярностью. Слухи о грандиозном сражении гуляли от Школьного пустыря до проспекта Турбостроителей. Слава его докатилась даже до Кромешного переуллка, и барыги с рынка автомобилями теперь, встречаясь с ним, приветственно поднимали палец. Это было признание, уже можно сказать, в городском масштабе. Братки чесали в затылках и пребывали в некоторой растерянности.

Общее мнение через пару дней выразил тот же Забилла.

— Как это отпускать? — спросил он, затачив после работы вечерний стакан. — А кто пока налог с территории собирать будет? А кому разбираться, если на чейндже, значит, какая-нибудь катавасия? А вдруг отморозки эти опять кликнут на стрелку? Мы тут, значит, будем пыхтеть, а он — на песочке греться?

Братки хоть и чувствовали забилловскую неправоту, но отводили глаза. Пыхтеть вместо Вовчика на толчке, конечно, никому не хотелось. Даже Зиппер пискнул что-то вроде того, что он необязанный. А Кабан чесал волосатую грудь и надувал щеки. Зрачки его заплывали веками более, чем обычно. Однако и Вовчик был тоже не совсем пальцем сделанный. Топтаться с Забиллой и, как мелкий фрайер, качать права он, конечно, не стал. Вместо этого выставил локоть, принял вместе со всеми традиционный стакан, зажевал ветчиной, которую притаранила Маракоша, закурил, выпустил из себя мощную струю дыма и лишь потом, оглядев всех по очереди, солидно сказал, что было бы глупо профекать шанс расширить свою территорию. Котляковские вон подмяли уже два рынка в новом районе. А мы что, присыпанные? Где у нас торговая перспектива? На днях придут две цистерны денатурата из Адыгеи. Нет, как хотите, братки, а надо бы посмотреть, что там, на Багамщине.

— Так они и будут покупать твой денатурат, — сказал Забилла. — У них там, небось, мартели всякие и прочая хренота.

Вовчик опять, не поддавшись на провокацию, выдержал паузу.

— Ну, мартель, ну, знаю я этот мартель, — наконец сказал он. — Ну, братки, ну вы рассудите, чтобы подумать. Ну какой нормальный мужик будет покупать мартель за сто долларов? Если он у нас получит точно такой же всего за десять?

— А тару где брать будем? — немедленно поинтересовался Забилла.

— Тару?

— Да.

— Ну что, на Багамах бутылок, на хрен, не насобираем?

Против этого здравого довода не устоял даже Кабан. Ближе к ночи решено было, что Вовчик разведает багамскую ситуацию. Покрутится там, познакомится с местными, прикинет, какие цены. В самом деле, братки, пора бы нам выйти на международный рынок.

В общем, постановили, что отпускают его примерно на месяц. Гетка купила ему роскошные плавки с двумя карманчиками, Маракоша — пляжные тапочки, сплошь разрисованные обезьянами, а капризная Люська — аж три пачки изделий американского производства.

— Ты только с девками поосторожней, там у них сплошной СПИД, — предупредила она. — Через две резинки прошибить может, так что не очень-то балуйся.

— А как же тогда они сами? — оторопело спросил Вовчик.

— А вот так... — И Люська, пользуясь отсутствием Кабана, показала.

— И что, иначе нельзя?

— Рискованно, — объяснила Люська.

— Ну — багамцы, ну — дикий народ, — искренне удивился Вовчик.

Где Багамы находятся, Вовчик не знал, но долетел туда быстро. Он, естественно, взял с собой и после взлета прямо из горла немного поправился. Затем он еще раз основательно поправился после завтрака. А когда отдышался и принял то,

что во второй бутылке осталось, самолет, закладывая над океаном вираж, уже шел на посадку.

Первые впечатления у него были самые благоприятные. В аэропорту Вовчика встретил чрезвычайно вежливый, но очень деловитый молодой человек, представился Борей, поправил почти невесомые дымчатые солнечные очки и объяснил, что покажет ему, где можно устроиться.

Тут же предложил Вовчику какие-то пилюли от запаха.

— Полиция здесь чумная. Решат, что от меня выхлоп — будем разбираться в суде. Надо это нам? — спросил он, усаживаясь за руль открытой машины.

Вовчик кивнул и, прожевав освежающую пилюльку, предложил перейти Боре на «ты». Однако Боря сказал, что обслуживающему персоналу это категорически запрещено.

— Нам не положено, — извинился он, вырвав на светлую, как зеркало, авто-страду.

— А чего?

— Ну, шеф считает, что должна соблюдаться дистанция.

Эта субординация Вовчику очень понравилась. Он всегда уважал, если в коллективе поддерживается рабочая дисциплина. Боря вообще вызывал у него чувство доверия. И потому, поглядывая на глянцевые верхушки пальм вдоль дороги, Вовчик благодушно осведомился, как тут можно было бы потолковать с народом.

— Насчет чего? — после некоторой паузы спросил Боря.

Ну насчет того-этого, — ответил Вовчик туманно.

Он не хотел сразу же раскрывать все свои планы. Боря как человека приличного, наверное, имело бы смысл взять в долю. Пусть себе старается за определенный процент. К тому же живет тут давно, видимо, знает местную обстановку. Но пока предлагать ему что-нибудь было бы преждевременно.

Вовчик просто добавил:

— Ну ты меня понял, да?

Боря опять после паузы наклонил голову.

В общем, договорились, что Вовчик сначала осмотрится здесь несколько дней, немного развеется, поплавает, полежит на пляже, а уж потом Боря сведет его с одним человеком.

— Человек хоть надежный?

— Здесь все люди надежные.

Настроение у Вовчика поднялось на недостижимую высоту.

А уж что касается виллы, то тут он был поражен в самое сердце. Четыре громадных комнаты, пестрота разнообразных циновок, деревянные африканские маски на стенах, туалет, где при желании можно было бы устраивать танцы, квадратная, два на два метра ванна в полу, бар, сверкающий множеством радужных этикеток, бассейн с голубоватой водой, теннисный стол на лужайке, обсаженной какими-то мясистыми ежиками. Причем тут же, неподалеку журчит фонтанчик, и вода по ступенчатому уступу сбегает в сторону моря.

Вовчик был потрясен всем этим великолепием. Вот бы сюда Забиллу, чтобы хрюкал от зависти. Или Маракошу с Геткой — чтоб ахали и хватались за щеки. Или Люську — чтобы не воображала о себе девка хрен знает чего.

Правда, его смутили некоторые ограничения. В частности выяснилось, что он не может снять со своего счета в банке столько, сколько захочет. Тратить ему разрешается только тысячу долларов в день.

— Тысячи вам пока хватит? — проинструктировав, как пользоваться магнитной банковской карточкой, спросил Боря.

Вовчик неопределенно пожал плечами.

— На первое время.

— Если вдруг потребуется большая сумма, вы должны будете получить на нее разрешение.

И кроме того он узнал, что вилла, от которой можно было рехнуться, не принадлежит ему, как Вовчик первоначально предполагал, а всего лишь снята на его имя в аренду. Срок аренды истекает в конце сезона. За это время он должен решить, что будет дальше.

— Подпишете с господином Бокием договор, тогда и оформим, — сказал Боря.

— Ладно, там видно будет, — рассеянно отозвался Вовчик.

О будущем ему пока задумываться не хотелось. Он расправил плечи и вдохнул полной грудью морской теплый воздух. Громко пошлепал себя ладонями по животу, а потом повернулся и указательным пальцем подманил Борю.

Один глаз у него прищурился, а другой, напротив, выпучился, будто у осьминога.

— А как тут, ну, — с этим делом? — особым, хрипловатым голосом спросил он.

Для начала Вовчик отдраил девок прямо на центральной лужайке. Девки оказались веселые и безо всяких капризов кувыркались то так, то этак. Видимо, застоялись среди скучноватой багамской жизни. А одна из них, которую экзотически звали Мальвина, поразила Вовчика тем, что в момент наивысшего напряжения визжала, как поросенок. В добавление она энергично лупила Вовчика по спине и, как будто ей было мало, дрыгала всеми конечностями.

В общем, местный колорит пришелся ему по вкусу.

Перед этим он, правда, поинтересовался, как тут у них насчет СПИДа. Однако хором девки объяснили ему, что для россиянина здешний СПИД не страшнее, чем насморк.

— Зубы он о нас обломает, — сказала девка, которую звали Аманда. — Если ты сюда за СПИДом приехал, можешь не беспокоиться.

Зато как-то не понравилась ему здешняя бормотуха. Этикетки на узких бутылках в баре, ничего не скажешь, были очень красивые. Буквы, как правило, крупные, выпуклые, золотые. Кое-где из-под пробок — печати на тонких шнурочках. Но вот само содержимое оказалось ниже всякого уровня: кисловатая, наверно, подкрашенная водичка, почти без градусов. Такой ведро нужно выхлебать, чтобы появилось нормальное настроение. Вовчик этим обстоятельством был несколько обескуражен. Однако при внимательном обследовании помещений виллы обнаружились-таки в кладовке четыре ящика с водкой. И причем не какой-нибудь, а настоящей, российского производства, в тусклых пластмассовых ящиках, как будто только что из родного универсама. Вовчик сразу же набуровил себе стакан и приободрился.

Далее они все вместе искупались в бассейне. Вовчик окунал девок с башкой, а те орала и брызгали в него солоноватую воду. Воду, впрочем, как выяснилось, можно было набрать и пресную. А потом, расположившись в шезлонгах, немного поговорили насчет здешнего проживания. Девки рассказали Вовчику о разных местных особенностях; на жизнь не жаловались, но в один голос твердили, что — скука здесь смертная. Багамцы все, видимо, тут от солнца, как снулая рыба. А туристы боятся заразы и требуют сегодняшней справки. Обломаешься, знаешь, каждый день бегать в клинику. Ну их на хрен. Не хочут, дураки, пусть ходят голодные.

Между прочим, они не очень советовали Вовчику полагаться на Борю. Деловой-то он деловой, но как-то уж чересчур помешан на бабках. Вилла у него тут тоже имеется, машина какая, видел? А паршивые десять центов просто из унитаза достанет.

— Кожа у него, как у лягушки, мокрая, — сильно скривившись, сказала Мальвина. — Прикасаешься — бр-р-р... Прямо всю тебя передергивает.

Вероятно, чтобы загладить воспоминания, она хлопнула сразу целый фужер. Обе другие девки, впрочем, тоже не задержались.

Вовчик это их сообщение принял к сведению. Значит, с Борей будет не все так просто, как показалось с первого взгляда. Вообще-то ничего страшного, и не таких шпандырей приходилось обламывать. Сияло солнце, пальмы подрагивали над головой пышными лохмами. Водка была не просто вкусная, а очень вкусная. Девки — хорошие, гладкие, без разных там закидонов.

Словом, все было по первому классу.

Правда, минут через двадцать приперся на виллу какой-то хмырь в майке и шортах, морда — складками, как у местной ящерицы-игуаны, и буквально с порога начал бухтеть что-то по-иностранному. То на девок указывал, развалившихся безо всего в шезлонгах, то на высунутое из-за соседних пальм белое двухэтажное здание.

Вовчик никак не мог въехать, чего от него хотят. Предложил хмырю водки, тот с негодованием отказался. Выщелкнул ногтем сигарету из пачки — опять взрыв эмоций. Махнул, мол, пристраивайся — тот аж позеленел от негодования. Наконец Малька, сжалившись, перевела, что, оказывается, хмырь возражает против демонстрации порнографии. Заодно она объяснила, что это слово обозначает. Это значит, когда голых девок драют прямо на публике.

— Нравы тут у них первобытные. Сами не знают, чего хотят... Демократия, — заключила она, презрительно сморщив носик.

— Так я не понял, ему тоже девки нужны? — переспросил Вовчик.

— Ну, он рядом живет — из окна его, значит, как раз все видно. А у него, значит, как раз — жена, две дочки...

— Ну так пусть их тоже зовет, — радушно предложил Вовчик.

Малька мигнула и вдруг запустила в хмыря длинной фразой. Хмырь на секунду окаменел; щеки у него раздулись действительно, как у ящерицы. А затем он быстро залопотал о чем-то, давясь словами, и уже в заключение весьма выразительно покрутил у виска пальцем.

В результате Вовчик на него немного обиделся. Он себе тут живет, отдыхает курьезно, никому не мешает. И вдруг нате, пожалуйста, причмокивает какой-то чувырь и ни много ни мало указывает, что он тут, у себя, должен делать. Да пошел он груши околачивать этим самым. Не нравится — не смотри, вон, шторочки свои может задернуть. А если еще и дальше здесь выступать будет, Вовчик его фазенду спалит и на это место пописает. Живи сам и давай жить другим. Ну ты, мужик, меня понял, да? Так он и объяснил хмырю безо всякого перевода. Хмырь, наверное, понял не все, но сразу ушел. А Вовчик, приняв соточку, чтобы успокоить натуру, поставил всех трёх девок на теннисный стол посередине лужайки, подравнял их, чтобы задницами смотрели в нужное направление, и неторопливо отдраил, поглядывая через плечо на темноватые стекла соседа. Поручиться бы он не мог, но, кажется, шторы там раздраженно задернулись. Вовчик тогда удовлетворенно хмыкнул и не хуже, чем Малька, испустил в багамское небо торжествующий вопль.

Если честно, его не очень-то привлекало снова корчаться с девками. Первое раза, когда он отдраил их всех, было вполне достаточно. Однако тут уже дело пошло на принцип. И поэтому Вовчик не остановился, пока не завершил процедуру. Кстати, девкам это удовольствие на столе тоже не слишком понравилось. Мальвина сказала, что у нее все коленки стерлись об этот пластик. Другая девка, представившаяся как Эллочка, заявила, что свержившаяся со стола, ушибла бедро и теперь демонстративно прихрамывала.

Однако даже это не могло испортить Вовчику настроения. Все вокруг было чудесно, а дальше, наверное, пойдет еще лучше. Главное же, поставил на место этого придурковатого чувыря.

Он накинул девкам сверх таксы по стольнику, и они успокоились.

Две последующих недели Вовчик блаженствовал. Вставал он в одиннадцать и сразу же плюхался в теплую солоноватую воду бассейна. Затем шел к завтраку, который девки накрывали прямо на воздухе. За завтраком обсуждались планы на день и вносились необходимые коррективы.

Планы, впрочем, разнообразием не отличались. Большую часть дня Вовчик — вместе с девками, разумеется, — валялся на пляже. Там у него были водные лыжи, которые хранились в специальном сарайчике, доска для виндсерфинга, даже легкая моторная лодка. Само собой — акваланг, ласты с маской, сетка для волейбола.

Всего этого было даже больше, чем нужно.

В волейбол, например, здесь играть было решительно не с кем. Пляж выглядел так, словно человек на земле еще только начинал появляться. Длинная полоска песка и вдоль нее — отдельные, наверное семейные, пары. Девки объяснили, что в этой части острова, в основном, частная собственность. Вот пойдешь на городской пляж, для всех, там яблоку упасть некуда. На хрен тебе компания, идиоты придурочные, говорили они. За то и деньги платят, чтобы рядом никого не было. Тем не менее, погонять до опупения в волейбол не получалось. Не хмыря же этого звать, которому голые девки не нравятся. В результате мячик приходилось бросать только по кругу.

Акваланг, потрогав шланги и вентили, Вовчик отложил в сторону. Не такой он дурак, чтобы по своей воле забираться в опасные морские глубины. А случись там, внизу, что-нибудь, кто его вытащит? По той же самой причине отправилась отдыхать в угол и доска для виндсерфинга. Волны в человеческий рост Вовчика вовсе не привлекали. Хрястнет тебя о песок, потом полгода будешь валяться в больнице. С маской и ластами он попытался было поначалу освоиться, но уже через пару дней признал, что без них ему как-то сподручнее. В маске он все время пытался вдохнуть носом воздух. Что же до ласт — они все время цеплялись краями и только мешали. Оставалось гонять на лыжах, если, конечно, погода этому благоприятствовала, да еще шлепать картами, которые девки купили ему в местной лавочке.

Впрочем, Вовчика такое времяпрепровождение, в общем, устраивало. Солнце, пальмы, песок — что еще требуется белому человеку? По вечерам он обычно сидел с девками в ближнем баре. Стриптиза там не было, зато напитки и закуска давали вполне исправно. К тому же столики обслуживали официантки с такими юбками, что у Вовчика, даже истомленного девками, разгорались глаза. Ничего себе здесь, оказывается, кадры имеются. Ему очень хотелось пригласить официантку к себе на виллу. Малька, однако, предупредила, чтоб он не вздумал хватать их за соблазнительно выступающие детали.

— Это тебе не Россия, запросто упекут, — серьезно сказала она. — Дадут шесть месяцев, штраф — ни один адвокат не отмоет.

— Ну? — спросил Вовчик.

— Называется — «сексуальные домогательства»...

То есть общение с официантками пришлось ограничить бесплотным подмигиванием. Зато связи с местными хлопцами были установлены без всяких усилий. Уже в первое же их ознакомительное посещение бара к ним за столик непременно подсади некие Гаррик и Перрик, — так, во всяком случае, Вовчик их для простоты называл, — чокнулись, полопотали быстро что-то по-своему, а потом предложили на выбор — девочек, порошок или «у мистера Вовтшика есть какие-нибудь другие потребности?» Малька без запинки, как настоящая секретарша, переводила. В общем, разговорились; Вовчик поинтересовался — как тут насчет адыгейского денатурата. Прямо на салфетке нарисовал схему поставки. Хлопцы переглянулись, взяли салфетку, исчезли куда-то минут на сорок, а потом вернулись

довольные, только что не облизываясь от радости, и вальяжный Гаррик, поблескивая перстнем на пальце, сказал, что предложение перспективное. Об адыгейском денатурате на Багамах ходят легенды. Дело, конечно, в цене, и, главное, кто будет обеспечивать всю передаточную цепочку. Деликатно объяснили, что здешнюю полицию они берут на себя, но вот как быть с Россией, у вас там, по слухам, разгул преступности.

— Договоримся, — для солидности набычась, сказал Вовчик.

Гаррик, извиняясь, предупредил, что все местные побаиваются русской мафии.

— А кто мафия? Ну ты пальцем покажи — кто тут мафия? — обиделся Вовчик.

Малька полопотала, и Гаррик прижал ладони к груди, извиняясь.

Прямо на месте они продегустировали захваченный Вовчиком образец товара. Гаррик хлопнул сто грамм и окаменел, наверное, секунд на пятнадцать. У него даже глаза выпучились, как у филина. Но когда он пришел в себя, сказал, что о такой продукции они мечтали долгие годы. Нельзя ли в связи с этим несколько ускорить поставки?

Тут же условились, что в конце месяца Вовчик наладит им пробную партию. Ну так, к примеру, пока литров пятьсот, не больше. И если хорошо разойдется, тогда они будут брать ежемесячно две цистерны.

— Только бабки потом не заматывайте, — предупредил Вовчик.

Гаррик заверил его, что это не в местных традициях.

Начало сотрудничества, таким образом, было положено. Первый успех отметили тем же представительским образцом. А когда образец закончился, перешли на местную бормотуху. В целом она оказалась немного лучше, чем представлялось Вовчику поначалу. Приветливый все-таки был, какой-то человеческий напиток. В результате к себе на виллу Вовчик вернулся только с рассветом. На четвереньках прополз от ворот до мягко подсвеченного бассейна и задремал на лужайке, обняв ствол магнолии.

Сил, чтобы перетащить его в дом, у девок уже не осталось.

Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец. Через несколько дней исчезнувший было Бокий без предупреждения явился на виллу, движением черных бровей вымел из дома девок, плеснул себе коньячка, выпил, немного почмокал губами, а затем очень вежливо, но вместе с тем твердо заметил, что авансная часть соглашения скоро заканчивается. Погуляли, как я понимаю, попробовали всяческих удовольствий. Пора бы уже сказать: подписываем мы договор или нет?

— Да я готов, в общем-то... — пожав плечами, отвечивал Вовчик. Про себя он уже решил, что соглашаться так или иначе придется. — Когда? Прямо сейчас?

— Ну, я бы предпочел не откладывать, — сказал Бокий.

Тут же вытащил из «дипломата» большой желтоватый лист, похоже, что из пергамента, и затем — серебряный узкий ножичек с заточенным кончиком. На глазах у заробевшего Вовчика протер его спиртом.

— А если просто чернилами? — Вовчик еще с детства боялся уколов.

— Ничего-ничего, — ободряюще сказал Бокий. — Больно не будет.

Кольнуло подушечку пальца, и выступила на поверхность багровая капля крови. Вовчик подпрыгнул, но Бокий уже подносил ему изящную костяную ручку. Чуть-чуть надавил на палец, чтобы крови стало побольше, и Вовчик бережно, чтобы не смазать, вывел на пергаменте свою незамысловатую подпись.

Затем Бокий попросил его сесть в кресло из белой кожи.

— Ну ты чего это, ты чего? — настороженно спросил Вовчик.

— Такова процедура, — строгим голосом объяснил Бокий. — Я вам плачу казенные деньги, я хочу видеть товар.



Он положил Вовчику ладони на лоб и как-то напрягся. Веки его вдруг обтянули глаза, точно резиновые. Рот сжался в гузку, а уши встали торчком и дрогнули, как у собаки.

Он напрягся еще сильнее и вдруг сказал трудным голосом:

— Не получается.

— Но вилла будет моя? — немедленно переспросил Вовчик.

— При чем тут вилла? Вилла тут при чем? — сдавленно сказал Бокий.

— При том, что — обещано!

— Ах, подожди ты, пожалуйста, с этими пустяками!..

Тогда Вовчик оттолкнул Бокия и поднялся. Пушку он с собой из дома, конечно, побоялся, не прихватил, но еще неделю назад, особым образом перемигнувшись в баре все с тем же Гарриком, получил от него небольшой пистолет и запасную обойму. Причем Гаррик поклялся, что машинка работает, как часы, взял триста долларов и заверил, что ствол этот пока что нигде не числится. В полиции его нет, можешь работать спокойно.

— Кинешь — зарю, — пообещал ему тогда Вовчик.

И хоть говорил он по-русски, а Гаррик — на своем багамском, напоминающем журчание воды по камням, оба они хорошо понимали друг друга.

Теперь Вовчик сунул руку в карман и ощутил гладкий металл.

— Не понял, — сказал он тоном, от которого вздрагивали даже котляковские отморозки. — Мы, Баканя, с тобой договаривались или не договаривались?

— Да кому эта вилла нужна, — плачущим голосом, сморщив лицо, сказал Бокий. — Тут все гораздо хуже. Ведь у тебя там, оказывается, ничего нет.

— Где это «там»?

— Ну, вот тут!.. — Бокий раздраженно ткнул его в область сердца.

— Ты мне лучше скажи: мы договор с тобой уже подписали?

— Ну подписали, ну подписали, все твое будет...

— Тогда ты чего?

— Ах, какой дикий пассаж!.. — простонал Бокий.

— Может, по стопочке?

— Какое фатальное невезение!

— Баканя?

— Отстань!..

Бокий в отчаянии махнул рукой.

Вовчик так, собственно, и не понял, из-за чего он расстраивается.

Ночью Вовчик проснулся от мучительной жажды. Гудела башка, и все тело было точно забито слежавшимися опилками. Ничего себе, оказывается, вчера натютюкались. Газировка на столике у кушетки, конечно, отсутствовала. Чертовы девки, дрыхнут, а человек тут, можно сказать, погибает. Разогнать к такой матери, и денег им, с-сукам, не заплатить!..

На деревянных ногах Вовчик кое-как проковылял на кухню. Газировка, не поместившись во рту, шуршащей пеной хлынула на горло и плечи. Мучительный жар внутри, тем не менее, чуть-чуть рассосался. Светила в окно луна, и глянцевый блеск на пальмах был синего цвета. В ворчании океана чувствовалось что-то неодобрительное. Пора сваливать, вяло подумал Вовчик, прижимая к груди мягкую пластмассовую бутылочку. Неплохо, конечно, здесь, но чё-то все-таки не того...

Он представил себе мелкий дождь, сеющий на асфальт, окна и стены, родную до слез дежурку, куда братки обычно набивались после работы, Гетку, режущую колбасу, Маракосу, расставляющую стаканчики. Все такое свое, такое привычное, знакомое до последней детали. Нет-нет, точно, братки, пора сваливать.

Взгляд его случайно упал на босые ноги. Ступни, оказывается, округлились и желтоватой костью стали напоминать копыта. Пальцы укоротились и едва высовы-

вались наружу, а тупые квадратные ногти срастались друг с другом. Кисточки шерсти, как у козла, свешивались на пятку. Вовчик топнул, и твердый костяной стук прокатился по кухне. С руками, которые он торопливо поднес к глазам, вроде бы, ничего такого не произошло.

Заразился, ударила ему в голову тупая тревога. Ведь предупреждали братки: не хрюкай там, на Багамах, разную химию. У нас хоть дерьмо подмешивают, зато оно натуральное. А тут напихали всякого, понимаешь, нормальный человек превращается в парнокопытное.

Он чуть не уронил на пол бутылочку с газировкой.

— Ты это чего, пить захотел? — спросила Мальвина, как привидение выросшая в дверном проеме.

Из одежды на ней присутствовали только трусики.

— Да вот... ну того... этого-самого... — неопределенно ответил Вовчик.

Мальвина заметила его округлившиеся, как копыта, ступни. Глаза у нее расширились, а рот приоткрылся, будто для страстного поцелуя.

— Во класс, — сказала она, вдруг обеими руками взяв себя за груди.

Сдавила их и неожиданно перевела глаза выше.

— Ну ты чего, чего? — испуганно спросил Вовчик.

Мальвина точно не могла оторвать глаз.

— Слушай, Вован, а у тебя и все остальное — такое же?..

Живет Вовчик, можно сказать, неплохо. Правда, от ста тысяч, положенных когда-то на его имя в банк, осталась теперь едва одна четверть. Да и та постепенно рассасывается на всякие мелочи. Однако Вовчик за это дело не сильно переживает. Взамен он приобрел лестную славу «непромокаемого быка». Человека, с которым лучше не связываться: себе будет дороже. Братки приглашают его теперь на самые крутые разборки. И какие бы страсти ни разгорались при выяснении тех или иных обстоятельств, чем бы ни клялись и чего бы не требовали стороны, участвующие в конфликте, сколько бы и каких слов ни было при этом произнесено, стоит появиться Вовчику и спокойно сказать: — Ну че вы тут, на хрен, жить не хотите?.. — как накал обстановки с очевидностью ослабевает. Самые крутые бойцы снимают под его давящим взглядом, прячутся в карманы ножи, куда-то исчезают цепочки и прутья. Потому что все уже давно и прочно усвоили: Вовчик базара не любит. Даже котляковские отморозки, на что тупые, обходят его стороной. А ларечная мелкота, еще только ищущая свои подвиги в жизни, почтительно умолкает, если Вовчик появляется на горизонте. Авторитет его по району непререкаем.

Тем более, что и дела у братков идут лучше не надо. Адыгейский денатурат теперь регулярно течет на Багамы. Первые две цистерны, доставленные теплоходом «Народовластие», прошли на ура, и довольный Гаррик уже отписал, что «русский коньяк» становится у них национальным напитком.

Братки подумывают о расширении сбыта.

Копыта же, в которые превратились его ступни, Вовчика не беспокоят. Подумаешь там — копыта; лучше уж с копытами, чем без бабок. Походка враскачку даже придает ему некоторую солидность. Теперь уже издалека можно понять: приближается Вовчик.

Правда, однажды произошел у него странный случай. В переходе под площадью, где тоже находились подведомственные ему ларьки, Вовчик бросил какой-то бабуся стольник одной бумажкой. Захотелось ему, дураку, покрасоваться с новыми девками. А бабуся, застыв на секунду, вдруг сморщилась вся, будто хлебнула уксуса, схватила эту купюру щепотью и выбросила ее на асфальт. Блеснула вспышка, повалил от того места слабый, но едкий дым. В воздухе, прошибая все остальные запахи, повеяло серой. Впрочем, никто из прохожих не обратил на это внимания. Только какой-то очкарик, протискиваясь мимо, сказал: — Дым отечества... — Да

еще дежурный менток, досматривающий этот район, припаял Вовчику штраф «за нарушение правил противопожарного состояния». Пришлось дать ему тоже столько, чтоб отвязался.

А в остальном у Вовчика все более-менее благополучно. Жизнь течет, братки его ценят и уважают как классного специалиста. Бокий с тех пор в его поле зрения больше не появлялся. О каком-то там договоре с ним Вовчик уже и думать забыл. Какой такой договор? Есть у него теперь дела поважнее.

И лишь изредка, например, после какого-нибудь особо удачного проворота, когда братки, сняв навар, пребывают в благостном расположении духа, перед Вовчиком водружают на стол кирпич, конечно, заранее припасенный, и, чтоб в качестве поощрения, набуровливают стакан водяры. Вовчик тогда снисходительно оглядывает всю компанию, медленно снимает ботинок и выставляет под восхищенные взоры коричневое копыто. Пальцы у него на ступне уже совершенно срослись, кожа сошла и обнажила твердое костное уплотнение. Далее Вовчик сгибает и разгибает ногу, чтобы размяться, а потом, точно лошадь, бьет копытом по кирпичу.

Кирпич обычно разлетается вдребезги. Братки аплодируют. А Вовчик натягивает ботинок и, не торопясь, выпивает стакан.

Он, как правило, не закусывает.

Девки с него балдеют.

## МЕНАХЕМ-ЦЫГАН

### РАССКАЗ

Каждой осенью, в короткие, поминальные по мужскому лету дни в притихший, обморочный Йонамиестис на старых повозках, заляпанных сдобной дорожной грязью, приезжали бог весть откуда (то ли из Белостока, то ли из Кенигсберга) незваные гости — цыгане. На заросшем сиротливыми кустиками жухлой травы пустыре над Вилией они выпрягали своих усталых и послушных лошадей и, раскинув выцветшие на солнце, латанные-перелатанные шатры, принимались из битого кирпича сооружать временки-каменки для приготовления своей нехитрой снеди. Кое-как устроившись на облюбованном месте, пришельцы в одиночку и группками отправлялись на привычный промысел в местечко — мужчины за гроши лудить прохудившиеся медные тазы и кастрюли, еще пахнувшие брусничным или малиновым вареньем, а женщины с малолетними детишками на руках — предсказывать на ломаном польском или на изуродованном немецком каждому желающему его близкое и далекое будущее. Работы у лудильщиков было хоть отбавляй — не то что у гадалок. Евреи, опасавшиеся пускать чужаков на порог, ни в каких предсказаниях не нуждались — они знали, что, как пелось в расхожей песне, ничего хорошего ни в настоящем, ни в будущем их не ждет: в понедельник — картошка, во вторник — картошка и через десять лет тоже картошка, и потому только отмахивались от назойливых ясновидиц. В отместку за отказ услышать о дальней, счастливой дороге и золотых горах, о бубновых королях и пиковых дамах ворожеи под шумок ухитрялись умыкнуть то простодушную безнадзорную хохлатку, то приглянувшуюся байковую рубаху или ситцевую блузку, сушившиеся на веревке, а то и похрюкивающего на подворье соседки-литовки подсвинка — сунул в торбу, и поминай как звали. На воришек никто жаловаться и не думал. Жалуйся, не жалуйся, все равно в кутузку никого не упекут.

— Засади их в тюрьму, расходы на них будут куда больше, чем ущерб от воровства, — уверял осведомленный во всех тюремных тонкостях единственный страж порядка в Йонамиестисе Пятрас Гаршва. — Ну съедят обворованные одной курочкой или одним поросеночком меньше. Что за беда? Вот если бы цыгане, скажем, у господина бургомистра угнали автомобиль немецкой марки, как когда-то его любимца — английского рысака. Тут уж, поверьте, угонщику влетело бы как следует. Помните, сколько впаяли за это вашему сородичу? — хитро прищурившись, вопрошал, бывало, словоохотливый Гаршва, и его мохнатые, тронутые изморозью, брови напуганными ласточками мигом взлетали вверх. — Пятерочку! Тогда о Менахеме-цыгане все столичные газеты — и «Литовские новости», и «Двадцатый век» писали, пожалуй, больше, чем о наших летчиках-героях, которые из Америки перемахнули на своей «Литуанике» через океан.

— Как же, как же, помним, — без запинки угодливо привирал обласканный вниманием полицейского сапожник Гедалье Казацкер, к которому Гаршва частенько забегал обогатить свой скудный идиш, выученный за долгие годы общения с евреями, и при случае согреться дармовой чаркой кошерной наливки. — Мы Менахема-цыгана и после смерти не забудем.

— После чьей смерти?

— Как это чьей? После его, конечно. Что там говорить — знаменитость! Были у нас и пророки и цари, но евреев-конокрадов в помине не было. Не сойти мне с этого места, их и вовсе бы не было, — клялся льстивый Казацкер, — не вздумай этот бесшабашный Менахем угонять рысака нашего бургомистра. Вы, господин Гаршва, человек умный — иначе бы не служили в полиции, а день-деньской подбивали бы, как я, грязные подметки, — скажите на милость, зачем нам, евреям, которые, можно сказать, с детства и до гробовой доски ходят пешком, чужие лошади? Каждому известно — землю мы не пашем, ни за кем галопом не гоняемся, сидим себе тихонечко за колодкой или за швейной машинкой, чтобы заработать на субботнюю халу и фаршированную рыбу. Зачем, спрашивается, нам чужие лошади, да к тому же английской породы?

Еврейские вопросы всегда ставили Гаршву в тупик. Не успеешь выкорчевать один, как тут же отрастает дюжина таких же каверзных.

— Это правда, землю вы не пашете и ни за кем, слава богу, на рысках галопом не гоняетесь, и если бы вашему Менахему не вздумалось угонять рысака господина бургомистра, все было бы по-другому, — бормотал захмелевший Гаршва. — И ради кого он пустился на эту авантюру? Ради дочки рабби Иехезкеля Голды? Ради мельниковой внучки Хаси? Ради вашего поскребыша — Песи?

— Ради моей Песи пока никто никого не угонял. Дай-то бог, чтобы еще при моей жизни нашелся охотник, который бы угнал ее вместе с приданым. Какая дурь втемяшилась Менахему в голову, что он вместо того, чтобы обменяться обручальными кольцами с еврейкой, увязался за дикаркой, имени которой толком-то не знал, и из первого жениха в округе стал первым евреем-конокрадом...

— Говорят, эта цыганка и по сей день ему покоя не дает. Как только услышит за окнами скрип ихних колес, так он ноги в руки и — на косогор к табору.

— Не дает, к сожалению, не дает, — подтвердил вечный кивальщик и поддакиватель Гедалье Казацкер. — Если бы он втрескался в какую-нибудь из ваших — Ону или Гражину, это куда бы ни шло. Пусть они и другой веры, но свои, здешние. А у цыган какая вера? Они только в воровство верят. И где это слыхано, чтобы нормальный еврей менял свой дом на табор.

— Раз бежит, значит, тянет его...

Гаршва, конечно, хватил через край — Менахем-цыган давно на косогор не бегаёт. С такими болячками, как у него, не очень разбежишься. Он еще в тюрьме подхватил какую-то паскудную хворь — то ли легкие прохудились, то ли печень подвела. Из-за нее, из-за этой хвори, он целыми днями не выходил из дому. Сидел на колченогом, грубо сколоченном стуле и с утра до вечера, молча, не мигая, смотрел в засиженное мухами окно, и никто не знал, что он там, кроме щербатой, расцвеченной алыми коровьими лепешками мостовой, высокого неба, забеленного медленно и прощально плывущими облаками, нещедрого на тепло солнца да пролетающих над бескрылым местечком птиц, видит. Правда, никто и не отваживался у него допытываться — каждый волен видеть все, что ему хочется. Господь даже мухе дал глаза, чтобы та могла полюбоваться не только помоями в ведре и мусором на свалке, но и недосыгаемыми, голубыми небесами. Допытайся у Менахема, не допытывайся, все равно из него ничего путного, как из застывшей на подоконнике задумчивой мухи, не выжмешь. Все слова давным-давно опали с его уст, как по осени листья с вяза, и ветер унес их невесть куда.

Может, Менахем-цыган видел себя, как прежде, здоровым и смелым, мчащимся на угнанном рысаке из заскорюзлого Йонамиестиса в дальний край, где воли больше, чем счастья, и где измена страшней, чем гибель; может, смотрел в окно и переговаривался с ангелами или подбирал для себя облако, чтобы, поднявшись ввысь, закутаться в него, как в саван, и навсегда растаять в предвечернем мареве...

Еще совсем недавно Менахем ни о каких дальних краях не думал, не то что с ангелами — со своими одногодками не разговаривал и в облака не кутался. Зимой и летом ходил с открытой нараспашку грудью, купался в сердобольные литовские морозы в коварных прорубях Вилии, был мастеровит, умел шить одежду и подбивать подметки, плотничать и красить стены, складывать печи, рыть колодцы. В местечке злословили, что он умеет делать все, кроме детей.

— У тебя — что, нечем?

— Есть чем, но не с кем, — отшучивался Менахем.

— Как это не с кем? Девушки за тобой табунами ходят. А ты от них нос воротишь. Выбирай любую! Не выберешь — бобылем останешься, запаршивеешь без женщины, — подтрунивал над ним Гедалье Казацкер, отец засидевшейся в девках Песи.

— Ты что, не знаешь, что в холостяцкой постели черви заводятся? — подначивал его мельник Ошер Ривкин. — Если долго не будешь пользоваться своим пестиком, он, чего доброго, у тебя заплесневеет и тоже превратится в сморщенного червячка.

Упрямого Менахема уговаривал даже степенный рабби Йехезкель, который без всяких колебаний выдал бы за него свою старшенькую Голду и отписал бы молодожену дом.

— Каждый еврей должен оставить на земле еще одного еврея, — поучал его рабби, когда тот приходил пилить для молельни дрова на зиму, чистить во дворе колодец или просто молиться. — А ты, Менахем, по-моему, мог бы, с Божьей помощью, увеличить их число не на одну единицу, а на целый миньян... Чего же ты, красавец, ждешь?

— Любви, рабби, любви, — отвечал Менахем, который и без Божьей помощи мог бы настругать их с десятков. — Мало, чтобы тебя любили, важно, чтобы и ты отвечал тем же...

Рабби Йехезкель был великом знатоком Торы, но в любви он мало чего смыслил, ибо больше всех на свете любил не преданную ему Черну, а Господа Бога, который, к счастью, был не женщиной и любви которого никогда не надо было ждать. Любовь Господня была с ним всегда и всюду: днем — на амвоне, а по ночам — в супружеской постели. Старик слушал Менахема, покачивал головой, усыпанной нетающими снегами времени, не то порицая его, не то воодушевляя.

Менахем и впрямь до тюрьмы был жених на загляденье — черные, густые, как колесный деготь, волосы; широкие, крепкие, как кладбищенские плиты, плечи; голубые, как у христианина, глаза. С ним заигрывали и рослые, мускулистые, созревшие для соблазна и утех литовки, которые ласково, на свой лад называли его Миколюкас. Встретят где-нибудь на улице или у реки, и давай искушать:

— Миколюк, приходи завтра на маевку... Научим тебя клум-пакойис танцевать! И кадрили! И польку! Не бойся, не тронем, домой вернешься целехоньким. Ха-ха-ха!.. А если и тронем — еще спасибо скажешь. В чужом саду яблочки слаще. Ха-ха-ха!.. Правда, Антанина?

— Правда, правда, Казе! Слаще! Ха-ха-ха!

— Приходи, Миколюк, на Заячий лужок. Не пожалеешь...

В местечке тревожно и злорадно перешептывались: начнет, мол, с кадрили или польки, а кончит крещением в костеле. Такое в Йонаместисе уже случилось. Сын аптекаря Менделя Левина надкусил яблочко из чужого сада и вскоре из Мотла стал Мотеюсом Левинскасом, и сменил бархатную ермолку на серебряный нательный крест.

Менахем ни на какие призывы не откликался, внимания на подковырки не обращал, на Заячий лужок не ходил, в чужие сады не забирался и если с кем-то и водил дружбу, то только с сиротой Брахой, хромоножкой, служившей нянькой и кухаркой у многодетного рабби Йехезкеля; защищал ее от поклепов и злых оговоров, будто она, невенчанная, вот-вот понесет от него и родит мамзера-байстриюка. За глаза ее в Йонаместисе называли дурочкой, блаженной, но Браха ни на кого

не таила зла, улыбалась каждому встречному и поперечному своей беззащитной и неброской улыбкой, убеждая не столько других, сколько самой себя, что любить должно не только того, кто тебя любит, но и того, кто тебя не любит. Разве река не поит всех — даже сбрасывающих в нее навоз и гниль, разве деревья не шелестят для всех — даже для ломающих их ветки и обдирающих их кору, разве птицы не тешат своим сладкозвучным пеньем всех — даже тех, кто держит их годами в неволе? Господь Бог никого и никогда не осуждает за любовь. Только за ненависть и злобу.

Это она, Браха, ничего дурного не подозревая, в один из осенних дней невольно свела Менахема с той, из-за которой вся его прежняя жизнь пошла кувырком.

— Знаешь, с кем сейчас рабби Иехезкель разговоры ведет? Ни за что не угадаешь.

— Ну?

— С цыганкой из табора.

— Ну?

— Она за один лит согласилась рассказать про его судьбу. Рабби лит дал, но от гадания отказался.

— А что — разве он и по-цыгански понимает?

— Нужда заставит — и по-птичьи запоешь. Цыганка, оказывается, говорит на идише. Плохо, но понятно. Рабби сказал ей — всё, что человек должен знать про свою судьбу, уже давно написано в Торе. Там, мол, ясно сказано о том, что было тысячи лет тому назад, что произойдет через мгновение и что случится через тысячи лет... Другая после этого не стала бы ему досаждать и ушла бы, но эта и бровью не повела..

— Если рабби Иехезкель сам не решается ее выпроводить, может, помочь — кликнуть ее. Пусть лучше мне за лит погадает и скажет, что меня в ближайшее время ждет, — неожиданно выпалил Менахем.

Он и сам не смог бы объяснить свой внезапный и бездумный порыв, тем более, что ни в какие гадания не верил. Что это было — то ли неутоленное любопытство, то ли подспудное желание узнать о себе то, что от других вряд ли когда-нибудь узнаешь.

— Она, между прочим, красивая, — просто, без всякой зависти, скорее с какой-то застенчивой гордостью, словно речь шла о ней самой, — сказала Браха. — Таких красавиц я сроду не видела. Даже во сне.

Брахины слова еще больше раззадорили Менахема. Кем-кем, а писаными красавицами Йонамиестис похвастать не мог...

— Чего ж она там так долго?

— Наверно, все-таки пытается уломать старика. Я своими ушами слышала, как она говорила, что цыгане знают то, чего нигде пером не написано и никто, кроме них, на свете не знает.

— Может, и впрямь знают.

— Рабби Иехезкель не привык выгонять пришельцев. Пока не накормит, не расспросит, есть ли у них крыша над головой, не отпустит. Кто, кроме него, оставляет на ночь открытой дверь для бездомных и гонимых? Наш рабби, даруй Господь ему долгие годы, не так боится того, что его ограбят или убьют, как того, что не успеет вовремя кому-то прийти на помощь.

Наконец цыганка вышла.

Она и впрямь была красива какой-то диковатой, дразнящей красотой — высокая, смуглолицая, белозубая, в длинной, широкой юбке, увешанной вдоль пояса аляповатыми блестками, в цветастом платке, из-под которого выбивались отливающие глазурью черные пряди; крупные лунообразные серьги, которые при ходьбе позвякивали и сверкали в ушах, как ломти диковинных заморских плодов. У нее

была стремительная походка — она передвигалась, как лесной зверек, прыжками, словно одновременно высматривала и подстерегающую опасность, и свою очередную жертву. Цыганка скосила свои большие, цвета вишневого варенья, глаза сперва на хромоножку Браху («Ну, ей, бедняге, с колыбели уже всё нагадали»), потом задержала взгляд на стройном, молодцеватом Менахеме («Этот красавчик вполне может сойти и за цыгана») и, смекнув, что ничего на них не заработает, собралась было пройти мимо, как ее остановил мужской голос:

- Меня зовут Менахем.
- А меня Ильда.
- Можешь мне погадать?
- Почему бы нет? Я гадаю всем, кто платит.
- Я заплачу, — пообещал тот, кто мог сойти за цыгана.
- На картах или по руке?
- По руке.
- Но деньги, милый, наперед.
- Сколько с меня?
- Со всех по литу.

Менахем полез в карман и достал оттуда денежку.

Ильда долго рассматривала монету, переворачивала с боку на бок, спрятала ее куда-то в безразмерную юбку, потом своей окольцованной загорелой рукой взяла пятерню Менахема и нараспев, перемешивая осколочный идиш с шипучим польским, принялась с каким-то глухим неистовством нашептывать что-то про предстоящую любовь Менахема к пиковой даме, которая скоро явится и воспламенит его одинокое сердце, как молния в поле стожок соломы; про счастье, которое он потеряет, если ради любви не отречется от всего, что было ему дорого до встречи с прекрасной незнакомкой.

Браха слушала Ильду с почтительным испугом, удивляясь ее напору и уверенности, а Менахем смотрел то в бездонные, омутные глаза ворожеи, то на ее окольцованную руку, заразительное тепло которой растекалось по всему его телу и вызывало какое-то безотчетное томленье и смутную и непривычную тревогу.

— Фартик! (Готово!), — низким, грудным голосом сказала Ильда. Лучшего будущего ни у кого за лит не купишь, — и рассмеялась.

Рассмеялся и Менахем, не заметив, что все еще держит ее за руку.

— Руку-то мне, красавчик, верни. Рука моя, золотко, стоит намного дороже, чем гаданье.

И снова рассмеялась.

Менахем смутился и отдернул свою пятерню

— Прощай! — пропела Ильда и поспешила к другим домам за новой данью... А страстной любви, несметного богатства и дальних дорог у нее было припасено для всего местечка.

— Понравилась она тебе? — тихо спросила Браха и, не дожидаясь ответа, добавила: — Жаль, что не еврейка. Тогда ты на ней уж точно бы женился.

— Глупости, — бросил он, не возразив, однако. — С чего ты взяла?

— Так мне показалось...

Слова Брахи ошеломили его. Хромоножка своим женским чутьем ревниво угадала то, что вертелось у него в голове и в чем он стеснялся самому себе признаться. Хотя чего стесняться? Разве Господь спрашивал, какого Ева роду-племени, цыганка она или еврейка? Всевышний никаких дознаний ей не устраивал, соединил с Адамом и благословил. Почему же Он не может сделать то же самое с ним и Ильдой?

Не успел Менахем расстаться с ворожеей, как вновь стал бродить по местечку и искать с ней встречи. Стоило ей выйти из какого-нибудь дома, где она за лит



предсказывала золотые горы и кучу детей, как он тут же подкрадывался сзади и по-мальчишески звонко восклицал:

— А мне погадаешь?

Прохожие евреи оглядывались на его окрики и с немым состраданием крутили боевым указательным пальцем у виска или назидательно доили свои пейсы.

Ильда испуганно оборачивалась и, увидев Менахема, принималась хохотать на всю улицу...

— Я тебе уже всё нагадала.

— Не все, не все. Что-то ты все равно утаила. Ведь утаила? Давай еще раз.

И так изо дня день.

— Я тебя, красавчик, разорю... Денег на меня не хватит.

— Хватит, хватит. А не хватит, банк ограблю!..

Менахем мягко и настойчиво втягивал Ильду в эту непонятную и небезопасную игру, исподволь как бы приручая, и та не противилась его забавным шалостям, а зачастую даже их своим хохотом поощряла. Пока платит, пусть шалит. Его ухаживания льстили ее самолюбию и скрашивали нищенские, однообразные будни. Прирученная с детства всё оценивать трезво, извлекать из всего, пусть малую, выгоду, она нисколько не сомневалась в том, что как только табор стронется с места и покинет это замурзанное местечко, ее игра с этим прилипчивым воздыхателем навсегда закончится — он, наконец, уразумеет, что оседлому еврею к цыганке приставать нечего. Еще не было такого случая, чтобы евреи женились на цыганках, а цыганки выходили за евреев. В Польше какая-то сумасбродная цыганка попыталась нарушить священный завет предков, и отец за это забил ее до смерти плетью. Достанется Ильде, если в таборе пронюхают про ее шашни с Менахемом. Что с того, что он похож на цыгана? Воробьи с соколами вместе не летают. Еврей не станет всю жизнь кочевать по белу свету, мотаться из одного местечка в другое, из одной страны в другую, он ни за что не променяет свою крытую дранкой или черепицей крышу на дырявое осеннее небо, и цепи, которыми он прикован к своей лавке и синагоге, к цирюльне и к столярной, на голодную свободу и бесприютную волю.

Ильда никогда не забывала наставлений деда:

— Бог создал человека, а ветер — цыгана. Нынче тут, завтра там...

При встречах с Менахемом ей на неподатливом идише или на невнятном польском недоставало слов для того, чтобы растолковать ему, что она издавна назубок усвоила от своих предков — держаться подальше от чужих, не верить никаким их посулам и клятвам, не ждать от них никаких милостей — иначе беды не миновать. Неровен час, поддашься, девочка, нахлынувшему чувству — и жестоко и непоправимо за него заплатишься...

Бабье лето шло к концу. Расположившийся на косогоре табор готовился не то к возвращению в Польшу, не то к переезду на зимовку в Германию, еще сулившую оскудевшее тепло. По вечерам цыгане жгли костры, и их яркие сполохи ложились на сонные, съезжившиеся дома погашенного Йонамиестиса. С косогора над Вилией до местечка нет-нет да долетали обрывки тягучих, просмоленных мглой, цыганских песнопений и тоскливое конское ржанье.

Ильда больше в местечко с косогора не спускалась, и Менахем уже не надеялся ее встретить. Сам он в табор приходит не решался — придешь и живым оттуда не уйдешь. Но вдруг, в одно пасмурное утро, перед самым отъездом Ильда сама появилась в местечке и принялась возле синагоги подкарауливать Менахема.

— А я-то думал, что вас уже ветром сдуло, — удивился он, когда столкнулся с ней у ворот молельни. — Вы что — не уезжаете? Остаетесь?

Он уже готов был выплеснуть на нее обуявшую его радость, но Ильда своей хмуростью как бы умерила его пыл — мол, не радость меня сюда привела, а беда.

— Цыгане нигде не остаются. Приходит срок, и мы отовсюду уезжаем.

Она помолчала и через мгновение уже не так резко выдохнула:

— Уедем и отсюда. Если, конечно, кто-нибудь поможет.

— А что случилось?

— Зоська пала...

— Зоська?

— Наша лошадь. А без лошади цыган как без рук и без ног. А нас в семье шестеро — отец, мать, три сестренки, мал мала меньше, да старенькая больная бабушка...

— Я бы рад, — опешил Менахем. — Но у нас дома только кошка и три курицы с петухом.

— Курицу в повозку не впряжешь. Нужна лошадь.

— Да, но где ее взять? Балагула Шая своего битюга не даст. С могильщиком Иосифом и говорить нечего — его кляча еле ноги тянет...

— Следующей осенью, когда приедем снова, мы вернем ее хозяину. Это неправда, что все цыгане — воры. Если сможешь, то всё, что я тебе нагадала, сбудется. Честное слово.

— Я подумаю, — сказал Менахем, не связывая себя обещаниями.

— Табор уходит послезавтра утром, — стараясь скрыть свое недовольство, помрачнела Ильда. — Цыгане не думают, а действуют. А вы думаете, думаете и ничего не делаете. Поэтому вас и не любят.

— А вас не любят за то, что вы делаете, — огрызнулся. Менахем.

— А мы в чужой любви не нуждаемся. И ни у кого ее не клянчим!— Ильда вдруг повернулась и вприпрыжку, как вспугнутый зверек, обиженно зашагала прочь...

Всю ночь Менахем ворочался с боку на бок и мысленно повторял ее слова о чужой любви, в которой они не нуждаются, и спорил с Ильдой до самого утра. Она, видно, считает его трусом, не способным на поступок, достойный настоящего мужчины... Но он ей докажет, что это не так. Докажет, что в чужой любви нуждаются все, даже собаки.

Под утро он отправился на окраину к конюшне бургомистра, выпилил лобзиком из деревянной двери замок, нырнул в хлынувшую темень и осторожно вывел бургомистрову лошадь, боясь, что та, почуяв запах чужака, заливисто заржет и выдаст его.

Уже светало, когда Менахем неуклюже взобрался на рысака и помчался во весь опор к табору.

Табор спал. Услышав конский топот, из шатров то тут, то там стали высовываться их обитатели и с недобрым любопытством разглядывать седока на неоседланной породистой лошади.

— Я ищу... паняле...(барышню) Ильду, — выдавил Менахем.

— Ильду Бальцеревич? Их шатер там. Второй с краю, — буркнул кто-то из зевак.

Возле крайнего шатра бугрилась свежая могила, в которую, видно, зарыли павшую Зоську.

— Паняле Ильда! — несмело позвал Менахем. — Паняле Ильда! — его голос ломался от растерянности и нетерпения.

Долго никто не отзывался, и Менахем уже подумывал спешиться, привязать рысака к оглоблям повозки, в которую была свалена упряжь Зоськи, и, заметая следы, лесной тропой вернуться в местечко.

Но тут из распахнутого шатра выскользнул высокий, дородный цыган с пышными, как бы вывязанными из шерсти усами и коротко и зло сказал:

— Ильда спит. Что господину угодно?

— Передайте, что я ее просьбу выполнил.

— Какую просьбу? — неласково спросил усач.

— Пригнал для вашей семьи эту лошадь.

— Ильда! — закричал тот, — Ильда! К тебе какой-то господин. — И, не дождавись дочери, юркнул в шатер.

Вскоре показалась заспанная Ильда.

— Ой! Менахем! Что я вижу? Лошадь! Живая лошадь! — Она бросилась к нему, схватила за руку и быстро и лихорадочно поцеловала. — Ты...ты настоящий цыган!.. — пролопотала. — А теперь уходи! Слышишь — уходи, пока мой отец не прирезал обоих...

— Счастливо, — выдавил Менахем .

Когда он обернулся, то увидел, как Ильда прильнула щекой к огромной, теплой голове лошади и стала что-то жарко и благодарно ей шептать. Рысак понятливо качал головой, и его лохматая грива шелестела над Ильдой, как плакучая ива.

Поиски похищенного вороного поручили единственному стражу порядка в Йонамиестисе Пятрасу Гаршве, но все его старания оказались напрасными. Кроме впавшего в многолетнюю и безмятежную спячку чешского браунинга на тощей заднице, никаких средств для поимки похитителей у него не было. Потерпевший бургомистр несколько раз звонил сыщикам в Каунас, но такие происшествия их сейчас не очень-то заботили и волновали. До рысака ли, когда немцы объявили войну соседней Польше, а русские по навязанному договору под гром оркестров вошли в Литву и разместили в ней свои воинские базы и гарнизоны.

Через сутки после угона Менахем явился в полицию с повинной.

— Ай-ай-ай! Такой серьезный молодой человек, и вдруг конокрад... Зачем ты, дуралей, это сделал? Разве твой дед гончар Нохем крал лошадей? Разве твой отец, столяр Лейзер, ночами выпиливал дырки в чужих дверях? Еврей может на пол-лита надуть любого, даже его превосходительство президента, недоплатить в казну налоги, не долить в корчме водки, недодать в лавке сдачи или продать покупателю не весенней свежести селедку. Но врываться в конюшню и красть лошадь?! Фэ!

Суд над гражданином Литовской Республики Менахемом Лурье был скорый и справедливый. Как взломщика и вора, угнавшего у официального лица лошадь английской породы, его приговорили к пяти годам заключения в каторжной тюрьме. И куковать бы ему в ней на нарах весь срок от звонка до звонка, вспоминая за решеткой цыганский табор, Ильду с ее бесовскими чарами, бездонными, как омут, глазами, если бы в одночасье в Литве не сменилась власть, и в тюрьме не появились бы следователи в чужеземной форме с невиданными знаками отличия и не принялись бы сортировать и отсеивать заключенных.

— За что, голубчик, сидишь? — спросил его по-литовски веснушчатый офицер в новехонькой форме и с красной звездой на фуражке...

— У бургомистра нашего местечка лошадь угнал. Хотел помочь одному попавшему в беду семейству, — воспрял духом Менахем.

— Лошадь? У бургомистра? Да за это же, голубчик, тебе не отсидка положена, а высокая правительственная награда... медаль за проявленное милосердие. Ты, можно сказать, против нашего классового врага — буржуев пошел.

— Да не пошел я против... Просто так вышло. Я...

— Ладно, — перебил его горбоносый и рукавом мундира вытер со лба блестящие росинки следователского пота. — Твоя фамилия Лурье?

— Правильно. Менахем Лурье.

— Так вот что, товарищ Лурье: собери свои манатки, и на выход!

Когда Менахем вернулся в местечко, там уже прежнего бургомистра не было — на своем заграничном автомобиле он заблаговременно укатил в Тильзит к немцам. Не шлифовал больше казенными ботинками улицы Йонамиестиса и дозорный Пятрас Гаршва, высматривавший лишнюю кошерную рюмку: Советы у него отняли потертую кобуру с чешским браунингом, и каждый божий день он аккуратно заливал свое безысходное горе не кошерной наливкой у Гедалье Казацкера, а хуторским самогоном.

Выпущенного из тюрьмы Менахема в местечке встретили холодно и даже враждебно. Еще бы — взял и опозорил всех перед всем миром. Теперь куда ни пойдешь, куда ни поедешь — всюду слышишь: ах, эти йонамиестские конокрады!

Только хромоножка Браха и престарелый рабби Йехезкель не отвернулись от Менахема — всячески помогали ему поскорей оправиться от каторги и подлечить дырявые легкие.

— Не осуждайте его! Добро в одиночку не ходит, — уверял противников Менахема рабби, умудренный жизнью и не склонный к окончательным приговорам. — Чтобы сделать доброе дело, человеку иногда приходится брать и зло в компаньоны...

Браха поила его разными целебными отварами, готовила для него еду, обстиривала, защищала от дурной молвы, а рабби Йехезкель все время подыскивал для него какое-нибудь занятие — то попросит половницы в синагоге перестелить, то окна застеклить, а то и сколотить для богомольцев новые скамьи.

Благоволит к «политзаключенному» и новый помощник бургомистра — брат сапожника Гедалье Казацкера — коммунист-подпольщик Хаим по прозвищу Рыжий. По его подсказке Менахема как борца против угнетательского строя избрали в какой-то местечковый совет трудящихся, но избранника ни советы, ни дурная молва, ни наставительные беседы с рабби Йехезкилем не занимали. В свободное от работы время Менахем сидел дома и неотрывно смотрел в окно, а в погожие дни отправлялся подышать свежим воздухом на косогор, где последний раз виделся с Ильдой. Тут, на пустыре, под открытым небом, он мог под миротворное журчанье Вилии без всяких помех предаваться воспоминаниям. Иногда он засыпал на осеннем солнышке, и ему снились цыганские шатры, раскинутые на пустыре; неоседланная вороная лошадь, спокойно прядущая мшистыми ушами; утренний жар Ильдиных губ, обжигающих своим прикосновением его, Менахема, шершавую руку; огромные, как луны, латунные серьги, позвякивающие в тишине — динь-динь-динь; Ильда, шепчущая ему на ухо по-цыгански какие-то слова. Менахем силился понять их потайной, будоражащий смысл, который ускользал от него, как только она их произносила. В сон на цыпочках входила верная Браха, поила его каким-то сладким и дурманящим зельем, а он у нее как будто спрашивал, как по-цыгански любовь. — «Как и на идише», — с придыханием отвечала Браха. «На всех языках любовь — всегда любовь». Менахем просыпался и растерянно оглядывался — вокруг носились и жужжали шмели, по небу плыли легкие перистые облака, и в самое близкое из них, которое висело над ним, он кутался, как в саван, и таял вместе с ним в предвечернем мареве...

Осень шла за осенью, но после смены старой власти табор в Йонамиестисе больше ни разу не появился.

— Границу с Польшей перекрыли. Сюда никого не пускают. Но говорят, в Кедайняй какие-то цыгане объявились, — стараясь утешить Менахема, сказала как-то чуткая Браха.

Ее слова приободрили беднягу, и он подумал, не съездить ли ему в Кедайняй — от Йонамиестиса туда было рукой подать. Но тут один за другим из жизни ушли его родители. Отец — в сентябре сорокового, а мать через два месяца — на Хануку. А потом... потом началась война русских с немцами, и всем стало не до цыган.

На улицах местечка снова утвердился Пятрас Гаршва, правда, в штатском, без чешского браунинга на заднице, но зато с белой нарукавной повязкой и заряженным автоматом наперевес.

Вместе со своими дружками он сгонял, как скот, на рыночную площадь Йонамиестиса всех евреев, которых он когда-то охранял и у которых не раз опохмелялся, не брезгуя закусывать и подозрительной мацой.

Впереди всех ковылял рабби Йехезкель с Черной и своим выводком.

— Успокойтесь! Положитесь на Господа! — твердил он.

— Сейчас Господь не тот, кто на небесах, а тот, в чьих руках автомат с полной обоймой, — проворчала Черна.

Сапожник Гедалье Казацкер по старой дружбе допытывался у автоматчика Гаршвы, куда тот их гонит.

— В рай, — с ухмылкой ответил Гаршва. — И чтобы не было обиды, всех разом — одним махом.

Менахем-цыган в рай попал не сразу — сперва из Йонамиестиса в каунасское гетто, а оттуда в Польшу, в лагерь.

Лагерь назывался невинно и звонко — Майданек.

От него до рая, как оказалось, было ближе, чем от родного дома до рыночной площади в Йонамиестисе. Каждый день под звуки бравурной музыки в рай отправлялись сотни.

Покойницкая команда, в которую кроме Менахема определили поляка Яцека, француза Жюстена и датчанина Харальда, каждое утро подкатывала к дверям битком набитого еврейками и цыганками женского барака и выносила из него свежие, еще не остывшие трупы голых, обезображенных голодом и побоями невольнице. Задыхаясь от ужаса и жалости, возчики сваливали белеющие, как сухие берёзовые поленья, тела на дно скрипучей, пропахшей тленом телеги и доставляли их в лагерьное чистилище — крематорий.

По ночам Менахема мучили кошмары — он представлял себе, как лежит на досках, голый, еще живой, под грудой покойников, как телега подъезжает к крематорию, как возчики хватают его за ноги и за руки и швыряют в зев пылающей, ненасытной печи. Менахем в ужасе вскакивал с нар, пялился в густую, как обувная вакса, вонючую темноту и на весь барак что есть мочи кричал:

— Что вы делаете?! Я еще живой! Живой!

После этих еженощных снов и ежедневных рейсов Менахему до дрожи хотелось, чтобы поскорей покончили и с ним. Он несколько не сомневался, что и ему давно уготовано место в покойницкой телеге и что никакого чуда не произойдет. Сегодня он, как в гроб, укладывает других, накрывает их рваной попоной, а завтра новая покойницкая команда швырнет его на дно телеги и повезет к печам.

Но уж так повелось на белом свете: когда извершишься во всем, когда смерть кажется Божьей милостью, как раз и случается чудо.

В начале второй лагерной зимы с ее жестокими морозами Менахем в женском бараке, куда он вместе с напарниками зашел за очередным грузом, вдруг увидел женщину и обомлел:

— Ильда! — окликнул он ее.

Одетая, как чучело, в какие-то топорщившиеся лохмотья, коротко, почти наголо остриженная, без своих латунных серёг в маленьких, заросших пушком ушах, в стоптанных, рваных ботинках, она даже не шелохнулась — стояла у нар и с напускным спокойствием смотрелась в осколок мутного, со стершейся амальгамой зеркала.

— Ильда!

Женщина обернулась, вытаращила на него свои огромные, цвета вишневого варенья глаза, оглядела и по-польски сказала:

— Pan parawno się romylil. (Пан, наверно, ошибся).

Она говорила отрывисто и неохотно, откровенно тяготясь его присутствием.

— Это я — Менахем. Ваш табор когда-то стоял в Литве... в нашем местечке... на косогоре. Ты мне еще гадала по руке...

— Po zydowsku, niestety, nie rozumię (По-еврейски я, к сожалению, не понимаю.)

— Я Менахем... Тот, кто выручил вас, когда ваша Зоська пала... Помнишь?

— Na Litwie nigdzie nie bylam. Cale zycia spędzilam na Śląsku. (В Литве я никогда не была... Всю жизнь жила в Силезии...)

— Ты мне тогда нагадала и любовь, и счастливое будущее. Все прелести жизни... всё, кроме Майданека, — не сдавался Менахем.

Но та, которую он назвал Ильдой, не откликнулась на его воспоминания. Она спрятала в лохмотья бог весть где раздобытый осколок зеркала и вприпрыжку, как зверек, пустилась к выходу:

— Przepraszam pana, pan mnie z kims pomylił. Szukajcie w drugim baraku swoje Ilde. Ważpię, ze vam uda. Tu ludzie prawie codzienie sie zmieniają — do niepoznania. (Простите, пан, с кем-то вы меня спутали. Поищите свою Ильду в другом бараке... Но вряд ли пану повезет. Тут люди даже за день меняются до неузнаваемости.)

— Ильда, Ильда, — повторял оцепеневший Менахем. — Он ни с кем не мог ее спутать. Ни с кем. Это, голову на отсечение, — она, это ее глаза, уши, походка, голос... Просто из гордости не желает признаться, не хочет, чтобы ее видели такой униженной и безобразной и больно жалили ненужной и обидной жалостью. Всё, что она кому-то когда-то нагадала — золотые горы, пиковые дамы, долголетие, светлое будущее — всё это чушь и неправда. А правда — вот она, вся на виду: эти нары, эти покойницкие возы, этот дым над лагерем... И в этом виноваты не гадалки и предсказатели. Виноват Господь Бог, который создал не человека, а зверя с человеческим лицом?

Отчужденность и замкнутость Ильды не остановили Менахема. Каждый день он захаживал в женский барак, расспрашивал о ней, словно провалившейся сквозь землю, но товарки только пожимали плечами.

— Еврейка? — спрашивали.

— Цыганка, — отвечал Менахем.

— Вчера какая-то дура повесилась в нужнике... Но кто именно — мы не знаем.

Он отказывался верить: нет, нет, это не она, это — другая. И всякий раз, подъезжая к женским баракам и загружая роковую фуру, он с какой-то суеверной опаской всматривался в лица уложенных покойниц — вдруг среди этой страшной поленицы обнаружит Ильду. И всякий раз, не найдя ее, Менахем заговорщическим шепотом благодарил отрекшегося от них Всевышнего за то, что Тот уберег её, и, может, когда на свете утихнет эта кровавая заваруха, всё вернется на круги своя, они встретятся, и она за лит снова погадает ему... Ведь за день до неузнаваемости меняются не только люди, но их судьба.

О своей «родственнице» он наводил справки даже в лагерной канцелярии.

Ответ был по-немецки краток и деловит:

— Ilda Balcerovich? Keine Angaben. (Никаких данных.)

За три недели до прихода Красной Армии-освободительницы до неузнаваемости изменилась и судьба Менахема. Решив избавиться от лишних свидетелей, лагерное начальство перевело возчиков мертвых в разряд мертвых. Первым в родное небо через печную трубу взмыл поляк Яцек. За ним — француз Жюстен и датчанин Харальд. Не замешкался и Менахем, который, легко и беспечально закутавшись, как в саван, в летучее газовое облако, растаял в предвечернем мареве.

С тех пор минула вечность. Но и сейчас, в ясную погоду, если запрокинуть голову, можно невооруженным глазом увидеть это облако, своими очертаниями похожее на резвую английскую лошадь. Менахем сидит на ней, натягивает поводья и во весь опор скачет в родной Йонамиестис, на косогор, к Ильдиному шатру, туда, где, давно забывши про кочевых цыган и про оседлых евреев, равнодушно, как земное время, течёт плноводная и кроткая Вилия. И лошадь, не касаясь копытами гибельной, чернеющей внизу земли, скачет и скачет в вольном небе.

*Ноябрь-декабрь 2004*

## ТРЕБУЕТСЯ МУЗЫКАНТ

### ГРАД

Пробудился от грохота градин  
по железу, по дереву, по  
всей земле, заработавшей за день  
лишь усталость, да множество ссадин,  
да тревогу в пожарном депо.

Возникай, лебединая стая,  
из глубин ледяного яйца.  
Засты солнце цветущего мая,  
дай мне голос, по звездам читая  
*Валерик и Любовь мертвеца.*

В каждой мыши, включая летучих,  
в каждой рыбе, сопернице шхун,  
в той козе, что на скальные кручи  
скачет мимо светящейся тучи,  
отозвались кликун и шипун.

Мать Божия, ты ли не рада  
на краю ойкумены, вдали  
раздарить леденцы звездопада  
убежавшим из шумного града?  
Глад отшельничества утоли.

О, не надо сиделок и няnek —  
верен твой материнский покров,  
сладок твой глазированный пряник.  
Все не так, но не тонет “Титаник”,  
гору льда в небесах расколов.

Обновлюсь ли, как молодец в чане,  
или выпаду за волнолом, —  
прерывает глухое молчанье  
лебедей легендарных ячанье  
в замороженном ливне ночном.

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

В том городе он требовался вечно,  
безостановочно и бесконечно,

всегда, при всех,  
не глядя на предвестья роковые  
и реки древней крови, каковые  
Сукко, Су-Псех.  
В том городе, который голяком  
шатался день и ночь, кровь с молоком,  
сто раз разрушен, столько же основан,  
неоднократно переименован,  
кликушей Клио к вечности влеком.  
Там называли музыку живой  
за то, что в забегаловке любой  
понтийский грек с собачьей головой  
выл на луну и лалял на прибор.  
Там обитали древние герои,  
но мы отметим беженцев из Трои.  
А тот, который требовался там,  
отсутствовал,  
скитался по другим местам  
и что-то там  
предчувствовал.  
Ударил шквал, каких бывает мало,  
и полис пал, закончились пиры,  
на этот раз его совсем не стало,  
снесло с горы.  
Существовали темные века,  
которых было девять или десять,  
и место стало плоским, как доска,  
ни поразбойничать, ни почудесить.  
Лишь издали посматривала Троя  
на свой переселенческий десант,  
лишь объявление с башни долгостроя  
гласило: **требуется музыкант.**

#### АНАПОИТ\*

Айя-София, — здесь остановиться  
Судил Господь народам и царям!  
*Мандельштам*

На горизонте ни черта, ни каравеллы, ни кита,  
ни террориста, ни турецкого паши,  
ни водоплавающих птиц, ни VIP-гусей, ни женских лиц,  
одушевляющих пространство, — ни души.  
Душа не камень, не болид, она поет, она болит,  
в ней наблюдается скопление грачей  
и горный катится ручей под наблюдением грачей,  
а из степей идет касожский суховей.

По делу тысячи грачей пройду сквозь тысячу ночей,  
все это дело закрутилось до меня.  
Чем занимается ручей? Изготовлением ключей,  
они сверкают, ослепительно звеня.  
А если выйдешь на базар, гони доллар, хватай товар,  
не обсчитает ни Зулейка, ни Армен,

---

\* Минерал.



и йодосодержащий фрукт нейтрализует пятый пункт,  
свобода выбора даруется взамен.

Разнообразная игра, и многоразова игла  
ночной звезды, осиной талии ее,  
и упомянутый паша, за соком мака не спеша,  
оденет бухту в итальянское белье.  
Ночной рыбак идет на лов, Психею ловит птицелов,  
закатный шар от пива с раками пунцов.  
Ни ворошиловских стрелков, ни шамилевских кавполков,  
ни президентского полка, в конце концов.

Казак Безкровный на холме и башня, белая во тьме,  
на русских косточках, никто не позабыт,  
и пали тысячи армян за Евдокию Шауман,  
за черный памятник, за грифельный гранит.  
Еще подует свежий бриз, еще падет коринфский фриз,  
прольется кровь среди бесчисленных камней —  
в руинах города сего страстями буйными его  
соединяются андрон и гинекей.

Не трать гиней, гони коней среди бесчисленных камней  
по следу молодости. Эта или та,  
чертовка смотрит из камней, хотя давным-давно под ней  
подведена горизонтальная черта.  
На горизонте ни черта. За горизонтом — пустота?  
Айя-София пострадала от копыт,  
поскольку искони она неосмотрительно стройна.  
Она поет, она поит анапоит.

\*\*\*

Какой-то Константин, какая-то Елена,  
визаж лжевизантийской чепухи,  
и кварцевый песок, где море по колено  
до той поры, пока идут стихи, —  
здесь третий глаз дают и делает погоду  
прооперированный ветеран труда  
Гомер, и богобык курсирует по броду  
через пролив — сюда, по воздуху — туда.  
Остготская земля, твоя Эвдунсиана,  
твердыня из твердынь, Бугур-кале,  
стоит на глубине сухого океана  
у генуэзской башни на скале.

Где серебром полны кромешные ущелья,  
где одичал и высох виноград,  
где синдам ниспослал залетный бог веселья  
не тот напиток и не тех менад,  
где стая воронья кричит не о масонах,  
где каждый истукан легко поддат,  
где скифы темные безгрудых амазонок  
в конечном счете вряд ли победят,

где эллины, забыв успех при Фермодонте,  
исчезнут, перебитые бабьем,  
когда их корабли сгорят на горизонте  
и мы с тобой бурду времен добьем.

\*\*\*

...а на весах у ней...  
Фет

Только под старость мне стали сниться  
честолюбивые сны.  
В молодости, как вы помните, снится совсем другое.  
Знойные женщины больше нужны  
где-нибудь в Уренгое.

Теперь я в обществе лучших поэтов препровождаю дни,  
ночи то есть. Теперь с приветом ко мне приходят они.  
Неистошимые разговоры, солнечные часы  
и муза с весами.

Какая муза?

Какие у ней весы?

Что-то, наверное, перепутал Фет, затупив карандаш.  
Поэзия ничего не весит, и нет ее в списке продаж,  
ни фунта не весит, ни цента не стоит, и каждый мой визави  
больше по части обиженной куклы, как ее ни назови.  
В наших душах, заметил кто-то, написано все давно.  
Кто-то заметил, что в мазанке душно и надо открыть окно.  
Кто-то сказал об арбатском джазе, в котором играл на трубе  
я, не успевший протрубадурить о времени и о себе.

Однако, пока занимался ветер дублированием душ и кож,  
пока человечество блох ловило, а также давило вошь,  
я видел ночью сквозь виноградник  
семижемчужный ковш.

Я видел небо в друзьях и звездах,  
когда покурить вставал,  
и в пифосах держит орфический воздух  
фанагорийский подвал.

ИМЯ

На своих на двоих — до Большого Утриша.  
Это мыс, на котором праматерь Ариша  
полоскала белье в словечке Сукко.  
Что — Сукко? Можжевело и высоко.  
Это я, потому как слегка удэгеец,  
пешедралом хожу, забывая словарь,  
и когда пролетит на коне адыгеец,  
прошепчу не ему: по шпаргалке не шпарь.  
И действительно, имя не ходит по шпоре,  
а сидит на камнях, остается в камнях,  
и шумит в ковыле, и купается в море,

и стоит на скале, и кричит нараспах,  
и, забыто собой, затихает в дельфине,  
в браконьерские сети попавшем опять,  
но его сохранит корнесловие пиний,  
продолжая зарытое время копать.  
И когда мы вобьем задубевшие пятки  
в кусковой известняк, — закрепимся на нем,  
даже если мы падаем, как куропатки,  
с неприступной стены под прицельным огнем.

#### ВЕРБЛЮЖОНОК

— За ореховой рощей, греки,  
вы не видели амазонок?  
— Им достанется на орехи.  
Вам останется — верблюжонок.  
С головой молодого грифа  
из кургана в грязи лимана  
вынес он не добычу скифа —  
два не очень больших кургана.

— За ореховой рощей, скифы,  
вы запомнились верблюжонок?  
— Там клюют молодые грифы  
одногрудую амазонку.  
Все, что было, ему немило,  
ибо женщина стран полных  
верблюжонок недокормила —  
не хватило желез молочных.

За ореховой рощей — белый  
парус горечи на приколе.  
Хвойных игол сухие стрелы  
свищут в горле и в диком поле.  
Не равны его птичьей стати  
ни гвоздика, ни повилика.  
Не нашлось для его печати  
халцедона и сердолика.  
На рассвете и на закате  
смерть рождению равновелика.  
Он остался в земной отчизне  
без тоски о полных странах —  
нас с тобой получил, при жизни  
погребенных в его курганах.

#### КОЖА

Я думал, ты мне дочь, а ты мне внучка,  
растут на сердце кольца годовые,  
могучая растет на сердце кучка  
без музыки — мозоли трудовые.  
Доверюсь элегическому слову  
над прахом приапических героев,  
но лиру поменяю на подкову,  
к воротам присобачу, дом построив.

Хожу по свету, замыслы нехилы,  
предполагаю вылезти из кожи,  
свои же натянуть воловьи жилы  
на звонкую дугу — они похожи,  
подкова с лирой. Конские копыта  
не высекут в песчанике раскопа  
ни молнии, ни грома. Жизнь разбита,  
но бьет ключом — цитата из потопа.

Там черный сон, которым спят меоты,  
в конце тоннеля сменит точку света  
на черную дыру, на точку йоты,  
на точку пули в черепе поэта.  
Однако, возвратясь к своим пенатам,  
в аллее Александровского сада  
вдруг обнаружу оком виноватым  
обломок беломраморного зада.

В Горгиппии, уставясь на живое,  
я не заметил этого фрагмента,  
но осязал пространство мировое  
ступнями — как поверхность постамента.  
Взгляни в увеличительные стекла:  
я, исстари в чужой могиле лежа,  
стал постепенно статуей Неокла.  
На что мне человеческая кожа?

#### ТЮХЕ\*

Отец исчез, жена сбежала, друзья пропали и враги.  
На территории вокзала поверх единственной ноги  
лежит, а все куда-то едет, верней, не едет никуда,  
но мировым пространством бредит и перед ним стоит звезда.  
В холодном ковыряет ухе и ловит музыку во льду,  
где я найду богиню Тюхе, в другую веру перейду:  
от всех приветствий и напутствий остался только блеск монет,  
в эллинистическом искусстве вопросов нравственности нет,  
но тот, кого всю жизнь бросали, родное видит божество,  
лежит где надо, на вокзале, там, где и бросили его,  
где обрывается Россия над морем черным и глухим, —  
над ним поет Айя-София, и наклоняется над ним  
друг цезаря, друг римлян, некий Тиберий Юлий Савромат,  
который правил в первом веке  
и был ни в чем не виноват.

#### CANZONIERE

Я книгу “Книгой лирики“ назвал  
не оттого, что круг названий тесен, —  
войдя во тьму времен, как в кинозал,  
я видел на экране книгу песен.  
С Тверских-Ямских катил девятый вал,  
и танки грохотали с красных пресен,

---

\* Богиня удачи.

чиновник Лесин нас не издавал,  
Стамбул сооружал чиновник Ресин.  
Свирепый Эрос, рея над Москвой,  
в болван Петра высокий образ твой  
всадил, семисотлетняя Лаура,  
и, на лету поймав стрелу амура,  
позвал Петrarку Гейне молодой  
в Москву за песнями, губа не дура.

#### ЧУЖАЯ СТРОФА

Я в весеннем лесу пил березовый сок,  
в калорифере слышал чугунных богов,  
чтоб высоко держать вашей жизни цветок, —  
о, куда мне бежать от известных шагов?  
Успокойтесь, утешьтесь. Летучая бишь  
уходя, уходи напоследок споет,  
и в соседях играют на флейте, то бишь  
осушают по капле ночной небосвод.  
Выходи на балкон. Слышишь — гуси летят.  
Образумься, опомнись. Была не была,  
я под корень спалю Александровский сад,  
и не встать под огнем у шестого кола.  
С той поры, как случилось мое у меня,  
мне плевать, что у ближнего произошло,  
что упали копыта слепого коня  
на Диану-охотницу из Фонтенбло.

#### РОМАНС

Культурный центр, грузинский дом, надежд твоих могильник.  
Нас не берет на свой бюджет какое-нибудь РАО.  
Я у тебя один, Булат, твой верный собутыльник,  
в кармане внутреннем моем играет "Lowenbrau".  
А ты идешь, как командор, не мраморный однако,  
однако худ, однако жив, однако узнаваем,  
сквозь коммунальный коридор насыщенного мрака —  
уже не вечер, это факт, уж мы поиграем.  
А рядом бронзовый жених, игрок каких немного,  
невесту бросит, чтоб сыграть в футбол по-афрорусски,  
и начинается от них Смоленская дорога,  
где много мокрых глаз течет, отыскивая спуски.  
Вольнолюбивый инструмент достался тем и этим.  
Километровая струна витринного Арбата.  
А ты идешь, как командор, и в доме сорок третьем  
о Донне Анне говорят: она не виновата.  
Но не удастся мне, Булат, припутать Дон Гуана  
к своей вине, к твоим шагам, к виткам земного шара —  
все это сон, все это мрак, но, как это ни странно,  
гишпанским тоном отдает знакомая гитара.  
Летит паломка за кормой Харонова парома,  
спюю о ней, дам петуха, облитого печалью.  
Пасется около тебя священная корова,  
торчат рога, торчат соски, и я на ней отчалю.

## СТОЯНИЕ ПОД МУЗЫКАЛЬНЫМ КИОСКОМ

Если поднимешь лицо к небесам,  
в морду получишь: дождит.  
Взгляд, пламенеющий по пустякам,  
молнию опередит.  
Льется невидимый зрителю пот,  
свечки заоблачной воск.  
Громом небесным исполнен, поет  
мой музыкальный киоск.

Террористический вечер настал,  
а не стреляет никто.  
Льется доступная водка “Кристалл”,  
перед атакой — по сто.  
Из дому скрипку выносит пацан,  
как на помойку ведро.  
Вера Засулич и Фанни Каплан  
входят на пару в метро.

Над головой нависает Генштаб,  
слезы полковники льют —  
черные розы надели хиджаб,  
и соловьи не поют.  
На музыкальном киоске навес,  
а под навесом — герой,  
пиво “Эфес” и протечка небес  
связаны между собой.

Все перекошено. Правильный мент  
ходит прямее штыка.  
Нужен мне лишь музыкальный момент,  
температура стиха.  
Не на что сетовать, или пенять,  
или вертеть головой.  
Черт его знает, как это понять —  
радуга над Москвой.

# НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ИШАЯГУ

## РАССКАЗ

В воскресенье, когда можно выспаться, я просыпаюсь ни свет ни заря и маюсь в долгой надежде уснуть. Пока, отчаявшись, не решаюсь встать. Тут-то и нападает на меня многочасовой сон, после чего день разбит. Хорошо, если еще запасся билетом в «Кинематограф» («Королевские пираты», «Возница» с Шёстромом, Гарольд Ллойд). Тогда до ухода есть шанс что-то написать. Потому что вдохновение приходит ко мне в самые неподходящие моменты. Вчера после работы два часа просидел в метро над рассказом, который назову «Ишаягу». А нынче по пробуждении так жадно потянулся к листкам, что выходной был бы спасен: провалялся бы до вечера с карандашом в руках, только на ночь глядя вышел бы — пройтись по Подольской. До угла и назад, тайным триумфатором.

Но пришла телеграмма. Ее доставили, когда вся квартира еще спала. Адресат сам кинулся к дверям, пытаюсь застегнуть на несуществующие пуговицы дырявую пижаму. Ликующий миг прочтения. «Приезжаю воскресенье Москвы поезд 32 вагон 5 = Феликс».

Всегда он так.

Пощипав скулы невычищенной бритвой (как следы спешки — жирные запятые у кадыка) да обмахнув туфли, бегу на остановку. До Московского вокзала ходил трамвай — вернее, полз, слепо тычась во все закоулки. Нет чтоб сойти с рельсов и умчаться. Я курил натошак, нервно поглядывая то на вокзальные часы, то в воскресную сонную даль трамвайных путей. Бесило соседство подделки — тоже вокзала, всего лишь Витебского. О, как давал я мысленно в зубы всем вагоновожатым мира! Страшенно. Без всякой жалости к их детям.

В последний раз мы виделись с Феликсом полгода назад, он появился точно так же: гром победы среди ясного неба. Я гостил у старичков в Днепропетровске: пил Днепр, как некогда пили глаза любимой, отдавался безмятежному золоту лета, словно сам — любимая на песке... Чай на столетнем балконе. Иногда томик Гейне. Вдруг, как и сейчас, только поздним вечером, телеграмма: «Буду завтра ждите = Феликс». Ни когда, ни откуда. Старики-мотыльки закружились по комнате, не сразу вылетев за дверь: бабушка — на исходящую ароматами коммунальную кухню, их сейчас прибавится; дед — на лестницу и по знакомым, не выпуская телеграммы из рук, обтянутых блестящей старческой пленкой. Приезжает! Приезжает! Ну как же!

Феликс — мой брат. С той оговоркой, что у нас разные отчества, разные фамилии, и мы с ним дети разных народов. Он происходит от русской матери и русского отца, я — еврейский сын. Его отец — уже много лет как аккредитованный в капиталистических джунглях «правдист». А может, «известинец». Мать, в прошлом выступавшая с романсами по разным клубам, была писаной красавицей: свежа, бела, румяна, стройна, лебединая шея, осанка как выражение великоугарного

осознания всей мощи державы своей. Это ее красы наложили свое вето на черты, которые Феликс перенял у некоего устроителя концертов и которые меня, например, превратили в заурядного городского еврея — в стужу нос не умещается за высокими стенами поднятого воротника и вечно краснеет, и капельничает, и вообще... А вот Феликс был курнос, сразу радостное лицо, словно между щек помещалась аллегория покорения космоса в образе юноши и ракеты, взмывающей с его ладони. Такими же восторгами лучились серые глаза, часто забывавшие сморгнуть. Всем прочим он по-братски поделился со мной, отчего возникало известное сходство между нами троими (включая администратора областной филармонии).

Итак, мой отец был администратором, а мать...неважно кем — родительский альков мне заповедан, издали посвечу на полог в сердечках. Разница в возрасте между мной и Феликсом — два года и два месяца в его пользу. Отец уже был женат на матери, когда я родился. Последовательность разрывов и встреч не имеет значения, главное, что журналист брал облюбванное с нагрузкой, к тому же не без риска для своей карьеры. Он и позднее проявлял не вязавшуюся с его жаном широту натуры, хотя о войне великодушный говорить не приходится.

Когда Феликсу исполнился год, журналист получил Высокое Назначение. Высокою с Эмпайр Стейтс Билдинг. И они уехали... Поздней Феликс был поручен заботам своей катакомбной родни — нигде не оприходованных дедушки с бабушкой. По редким наездам с родителями в Днепропетровск я смутно помню Адониса в заграничных одеждах, ужасно взрослого. Дедушка с бабушкой в нем души не чаяли. Если верить им, артист проснулся в Феликсе очень рано. С пяти лет он уже учился на скрипке у Тушмалова, местной знаменитости. Затем был отправлен в Ленинград, там при консерваторской десятилетке имелся интернат. Потесненное москвичами, это заведение больше не сияет на сумрачном челе страны, а прежде сияло — в ореоле имен своих создателей: Николаева, Савшинского, Загурского, Штримера, Сигал, Ляховицкой — за ними же видятся колоссы: Римский-Корсаков, Глазунов, Ауэр. Полагаю, при поступлении Феликсу не понадобились отцовские связи, и их приберегли для меня. Иначе трудно объяснить мое зачисление по классу фортепиано туда же два года спустя.

Сейчас можно с уверенностью сказать: Феликс оправдал свое имя. Рожденный вне брака какой-то певичкой от безродного администратора, он обрел законного отца из числа сильных мира сего. Благодатное для всякого исполнителя происхождение, оставаясь при нем, не фигурировало ни в одной анкете. Зато частичное наполнение жил еврейской кровью приобщало его к негласному сословию, которое хочется назвать «новодворянским». По моему убеждению — спорим, время подтвердит мою правоту — эти полукровки придут на смену разгромленному дворянству и составят духовную элиту советского общества, будучи посредниками между шестерней партийного солнышка, с одной стороны, и пятой колонной — с другой.

Повезло Феликсу и в том, что годы обучения его в школе совпали с годами интереса к ней партийного духовенства. Спрос на вундеркиндов в пору Счастливого Детства был продиктован не столько требованиями пропаганды, сколько эстетики, и потому побил даже великий почин тридцатых годов по раскапыванию и отбеливанию серокожих «юных дарований».

Но и по воцарении доброго дяди, когда повсеместное разведение коллективов мускулисто-сарафанной самодеятельности (наряду с кукурузой) понизило статус привилегированной школы, удача по-прежнему шла рука об руку с Феликсом. Другие срывались, бывшие еще вчера гордостью своих учителей, — с каким благоговением взирал я на парад молодых гениев: Кондуктер, Линдер, Бендорский (мой одноклассник). Теперь они расточали себя по захудалым концертным организациям, смешиваясь с посредственностями и опускаясь до их уровня. Кое-



кто, смилив гордыню, растворился в оркестровой массе, что было обидно. Зато синица в руке.

Однако Феликса это совершенно не коснулось. Наоборот. Он получает один все то, что предстояло с кем-то делить. Семнадцати лет под барабанный бой прессы удостоивается первой премии на Большом Лондонском Фестивале. Менухин назначает ему стипендию, которую Внешторгбанк благосклонно принимает. Тогда же Феликс переезжает в Москву (его семья к тому времени осела на Кутузовском проспекте). Год спустя он — обладатель «Гран при дю диск» за запись концерта Хачатуряна, сделанную на «Дейче Граммофон». Певец Солнечной Армении, справлявший с большой помпой шестидесятилетие (в Ленинграде не обошлось без скандала), берет его с собой в юбилейное турне. В Счастливой Аравии Араму Ильичу преподнесли титул паши, а Феликса Константиновича наградили железным полумесяцем на двойном банте.

Записи, концерты с лучшими оркестрами — Запад рукоплещет Феликсу. Присоединяется к этой овации и Восток — присудив ему, девятнадцатилетнему, премию Ленинского Комсомола, вместе с Расулом Гамзатовым и Пахмутовой (этой за песню «Нежность»). Вдруг СССР догоняет и перегоняет США по производству чего угодно на душу отдельно взятого гражданина. Тут и сертификатный счет в банке, и коллекционный Страдиварий, и принадлежность к номенклатуре «выдающихся деятелей», гарантирующая мемориальную доску: «В этом доме жил и работал...» А уж даты, это как карта ляжет.

Подобно артисту цирка, Феликсу не ставилось на вид по-чекистски экстравагантное имя. Разве он в своем роде не Кио? Тоже во фраке, тоже выступает. По той же причине он был избавлен от постыдной дани, которой наше время облагает всякого, кто попадает в опочивальню избранных. От циркача требовать членства в партии — дискредитировать партию. Когда кому-то, не шибко разбиравшемуся в «ролях и людях», взбрело на ум ввести Феликса в члены ЦК ВЛКСМ, его отец первый же воспротивился «такому недалевидному шагу», как, вероятно, он говорил вслух, а сердце при этом пело: «Не спрашивай, каким путем я царство приобрел, тебе не нужно знать...» Как бы там ни было, но Феликса тт. жрецы оставили в покое.

Такова вкратце история моего брата. Добавлю к ней несколько слов о себе. Мои пианистические успехи были настолько посредственны, что в консерваторию я поступил на вечернее отделение — к счастью, распределение мне не грозило, а от армии я был освобожден военкомом-взяточником. Я окончательно сокрушился духом. Но тогда же узрел свое истинное призвание, которому, верный пес, буду следовать до конца жизни, неважно с каким результатом. Уже три года, как я пишу и, на мой взгляд, продвинулся на этом пути. Засвидетельствовать мои достижения совершенно некому, я никому не даю ничего читать. Одна барышня, которую я, кстати, давно не видел, не в счет. На жизнь я себе зарабатываю тем, что веду уроки пения в начальной школе и при ней — кружок фортепиано.

Кажется, я остановился на том, какой переполох вызвала в Днепропетровске телеграмма Феликса. До глубокой ночи, вместо обычных к этому часу серенад, мой слух различал энергичный шепот: дед с бабой спорили, кого пригласить к обеду. Грудь моя расширилась, на глаза навернулись слезы. Я вышел на балкон покурить. Услышав, как я встаю, бабушка издала иерихонское «чшшш!»

Феликс пробыл в Днепропетровске день, рассказывая всякие истории, которые дед слушал с трогательной сосредоточенностью: зажмурившись и оттопырив рукой ухо. Бабушкино участие в разговоре ограничивалось вопросом, который она время от времени задавала: «Фелинька, так ты еще жениться не собираешься?»

В шесть за Феликсом закрылась дверь, ему надо было повидать Тушмалова, передать от кого-то привет. Дню предстояло несколько часов угасать. «Словно

чья-то жизнь, продолжающаяся бесцельно, ибо все уже позади», — подумал я. Три дня доедали мы то, что осталось от царского пира, превратившегося в поминальную трапезу, пока не отрыгнулось прежней умиротворенностью. Снова полет солнечных брызг, снова облепивший ноги песок, снова томик Гейне после вечернего чая.

В последний раз негнувшийся трамвай преодолевает змеиный изгиб рельсов. Следующая остановка — здание приятного зеленого цвета с башенкой:

По Невскому ходила  
Большая крокодила,  
Она, она  
Зеленая была.

Моя походка стремительна: мандат и наган. Я впадаю в детство, в детский утренник. Утренние поезда из Москвы — это непременно в лучах восходящего солнца. «Песня о встречном» — вот что такое я на перроне на голодный желудок. Пальцы непрерывно направляются в карман пальто за сигаретой.

Дрогнув разок-другой, поезд окончательно стал. Толпа метнулась, словно встречала челюскинцев. Точное описание Феликса? Одна из пробных моделей Алена Делона. С ног до головы в заграничном. Скажете, каждый фарцовщик теперь в заграничном? Но видно же, что приобреталось это им в местах изготовления, пусть и не столь отдаленных. Воротник из шкуры шведского лосося, под мохеровым шарфиком воротничок рубашки из ломкой сиреневой ткани и гарнитурный, в тон ей, галстук с миниатюрным узелком. Похожие — из бархата, в блестках — продавались у Апраксина Двора...

— Похоже, в Ленинграде бархатный сезон?

Посредством шутового каламбура Феликс дал понять, что прочел мои мысли. Стоял март, лютые морозы позади — если только я правильно его понял: что сочинцу лето, то ленинградцу зима.

Он протянул мне левую руку — в правой держал футляр. Рука «паганиниева»: тонкопалая, костлявая. Я повесил через плечо его сумку из серо-голубого свиристящего нейлона, со множеством внешних карманов и карманчиков на молниях. И мы пошли.

Мы належке. Нас давно уже след простыл, а толпа по-прежнему плещется у вагонов, разрываясь между чемоданами и поцелуями... нет, я этого не сказал, это так, апарте. Моя тема — дедушка с бабушкой, минимум риска что-нибудь сморозить. Я ведь не умею общаться в шутовом ключе, у всех беру интервью: «А скажи, пожалуйста, что ты думаешь...» Понятное дело, меня избегают.

— У тебя телефон Бендорского есть?

Вот и встретились, недолго музыка играла. Я выпалил телефон, как отличник, — чтобы Феликс не подумал чего. Просто рано было звонить к Славке («...партия виолончели — Мстислав Бен-Дорррский!») Выудив из кармашка двушку, он набрал номер скорей, чем я успел ему это сказать.

— Алло, Славик, это я... — в лице некоторая выжидательность, покауда Бендора сообразал, кто такой «Славик». Сообразил. — Да... да... с вокзала... — Голос у Феликса кадрящий, томный. Когда это он называл Бендорского Славиком? «Славка...» — Да, Славик, да, милый, сейчас будем... Ну к кому же еще, птица ты моя...

«Будем». Я тоже в списке приглашенных? Вообще-то не мешало позавтракать.

Феликс развлекается чтением моих мыслей:

— Да, Славик, у тебя пожрать что-нибудь будет? Яичницу сделаешь? — Оборачивается ко мне: — Яичницу сделает, — как если б это я попросил.

Бендорский, или, по-нашему, Бендора, один из тех, кто в юности блистал. Говоря о таких, разводят руками и, состроив гримасу, блестят эпителием нижней губы.

Такси не берем, а идем на троллейбус. Соскучился по троллейбусам? Я тоже в них редко езжу, больше трамваями. В трех местах они загораживают Невский: с Лиговки, с Литейного и с Садовой. Передвигаемые кем-то серванты, буфеты — но только с виду, не на слух; звук передвигаемой мебели воспроизводит ансамбль контрабасистов Большого театра.

Пока мы стояли на светофоре, я позабыл, что в моем случае молчанье — золото.

— А скажи, пожалуйста, тебя не волнует мысль, что этот трамвай, который сейчас видим мы, еще совсем недавно разбудил девушку на Петроградской, а вскоре разбудит и юношу на Никольском, и они еще не подозревают друг о друге, а всеобщая сводня (не говорить же «Бог»), увидев это, решила: дай-ка сведу их сегодня вечером здесь, угол Невского и Садовой, больно красивы оба, а я такая старая. И когда утром на Максима Горького или на Никольский свернет первый трамвай, он разбудит обоих.

Произведено очередное испытание Феликса на «сейсмичность», результат испытания засекречен: из трех знаменитых букв возможно опубликовать лишь последнюю, прикрывшуюся фиговым листком склонения, а первые две так и останутся — одна иксом, другая игреком.

— А ...я не хочешь?

На меня обернулось полтроллейбуса. Убежден — он сожалел. Глаза тотчас налились пустотой, устремясь в одну точку. Пока, сморгнув («вернув себе зрение»), он не спросил — как ни в чем не бывало:

— Ты сейчас пишешь?

Что я сочиняю и что это дело моей жизни, он знал, а потому при встречах всегда спрашивал об этом с видом великой заинтересованности.

Я ответил утвердительно.

— Так никому и не показывал?

Я еще раз ответил утвердительно.

Если бы Феликс очень попросил, я бы, пожалуй, дал ему что-нибудь прочесть.

Мы сели на Пушкинской, а сошли на Гоголя. День обещал продолжение оттепели — с крыши сорвалась сосулька прямо в сумку к гражданке, когда та поднималась по ступенькам продовольственного магазина. Гражданочка купила себе баночку сметаны, бутылку постного масла, цирик чая, фунтик фруктовых подушечек и, скажем, связку бубликов. Небось испугалась, растерялась и расстроилась — в таком порядке. Теперь вывернет в ближайшую урну «питательную массу», поднимется домой, помоем все и спустится обратно в подвальчик. Спускаться, подниматься... Проще выбросить сумку вместе с начинкой.

Не успел я поделиться своими соображениями с Феликсом, как из того же продуктового подвальчика поднялся Бендорский. При виде нас дыхание у него занялось. А рядом как раз водосточная труба, приваренная к тротуару густыми зимними соплями. Бендора проехался и сел, десять удивленных глаз желтели на асфальте. Для большей выразительности картины он посидел еще с какое-то время. Потом мы дружно рассмеялись. Я протянул ему руку помощи, он встал, они расцеловались. Старые друзья.

— Ну, что делаем?

Пошли в молочное кафе, которое уже открылось. Кто — что, а я спросил себе «рисовую кашу молочную» и к ней две порции сахарного песка. Люблю, когда сладко. Они взяли по яичнице с беконом, искушая судьбу.

Бендорский (лыбясь, с полным ртом): — Ну, Фелька, давай, рассказывай.

Феликс (элегантно почавкивая): — О чем рассказывать?

Бендорский: — Ну, не знаю. О себе. По-прежнему за каждой юбкой бегаешь?

— Не считается, — кричу я Славке. — Он же прямиком из Шотландии, там юбки за юбками бегают.

Феликс, печально склонив голову: убогий ты наш. Я инстинктивно закрываю тарелку — вдруг еще плюнет. Когда-то мне плюнули.

— Маразм какой-то.

Так сказал и больше на меня не смотрел. Но и Славке не завидую, такого он ему наговорил.

— Значит, первым делом самолеты. Прилетели мы с Алешей в Эдинбург. (Алеша Новицкий — постоянный концертмейстер Феликса, «говорит на разных языках». Как апостол.) В отеле встречаем Пабло Казальса. «Привет — привет. Как живется-может? Спасибо, не жалуемся, а вам, маэстро? Да вот, мучаюсь, все хочу узнать, кто такой Слава Бендорский, виолончелист, а никто даже имени такого не слышал, обидно, а?»

Так измываться над Славкой из-за того, что я, идиот, закрыл руками кашу. И я решил: будь что будет, толкну брата коленкой...

— Ты совсем идиот, да? Может, вы думаете, я лгу? Нет, ты ответь, — «ты» относится к Бендоре, — я лгун, по-твоему?

Славка тихо произнес:

— Нет, Феликс, ты не лгун, ты подлец.

Он поднялся, чтобы уйти. На это Феликс процедил:

— А платить? Платить Пушкин будет? — и вдруг как запоет дурашливо: — Сердечный друг, желанный друг, не уходи, я твой супруг... — Вынул из кармана продолговатый белый конверт: — На, читай.

«Дорогой сэр, — язык у Бендоры заплетался, — наигранная Вами на пластинку «Песнь птицы» потрясла ее автора до глубины души. Поверьте старому музыканту, который выступал в Вашей стране еще в 1905 году: я плакал. Пользуюсь случаем выразить Вам свое безграничное восхищение и льщу себя надеждой увидеть Вас среди почетных гостей моего семинара по виолончельному мастерству в Париже.

Казальс».

— Фелька...

А у самого голос дрожит. Потом вздохнул. Вздохнул и я — понимающе. Но козырной туз Феликс придержал. Конверт второй.

— ?

Глаза у Славки побежали по строчкам, как с горы:

«Уважаемый товарищ Бендорский! По решению министерства культуры СССР Вы направляетесь на Международный семинар виолончелистов «Фонд Пабло Казальса», который будет проходить с 12 по 30 марта 1966 года в г. Париже (Франция). По всем вопросам, касающимся Вашего выезда, обращаться...»

Все решительно повторяется, и не происходит ничего такого под солнцем, чего бы не случилось прежде. Желток с изумлением взирает с пола на неуклюжий Бендорин локоть. Но уже орудует тряпкой уборщица, ей помогает ее кот — тем, что поедает ломтики бекона. Она свой ломтик тоже съела. Всем хорошо.

— Ну, потопали?

Солнце, висевшее над самыми крышами, ослепило нас. Мы шурились, подтягивая щеки к глазам, а со стороны, наверное, казалось, что мы улыбаемся. Солнце обладало легендарной способностью делать золотым все, к чему бы ни прикоснулось. Правда, ценой последующего обращения в грязь — так что с философским подтекстом, за который расплачивались владельцы брюк, чулок, а также дворники, от неустанных трудов красные, как раки. На пару с какой-то дворничихой трудился ее безмужний сын (у дворничих мужей отродясь не бывало). Он орудовал лопаткой не шире собственного личика — а все же помощь, а все же лучше, чем одной, без детей. И этот будущий дворник казался мне — наряду с его мамашей, наряду с приездом Феликса, наряду с чудесным поворотом в жизни Бендорского — причастным к той великой радости, которая всходила в моей душе, как солнце.

Это оно отрывало от карнизов сосульки. В ужасе, что одна-другая упадут в сумки, а третья угодит все же кому-нибудь за шиворот, управдомы организовывали очистку крыш. Вдоль карнизов домов выстраивались рабочие с лопатами и ломami, а внизу, на противоположной стороне, толпились мои двойники — поглазеть, как от удара об асфальт разлетаются на мелкие кусочки ледяные глыбы. Под грохот весенней бомбежки жизнь была прекрасна. Но вслух же этого не скажешь. И никак не находила для себя выхода моя «Песня птицы».

Размечтавшись, я уже видел открывавшийся перед Славкой путь, от Гороховой улицы до Парижа. С ночными полетами среди звезд, со световой рекламой за шторами гостиничного номера, вспыхивающей и гаснущей ночь напролет. Мое сердце исполнилось бесконечных предвкушений, словно билось в чужой грудной клетке (клетки все одинаковы). Сейчас кому-то предстояло: во-первых, «почистить перышки» («Бендорчик, а водогрей у тебя есть?» — «М-м-м», — и при этом рот до ушей), во-вторых, собрать чемодан: мыло, там, щетку, желательно иметь пижаму, да и фрак («А фрак у тебя есть?» — «А как же», — бедуин, на вопрос, есть ли у него верблюды. И тоже — рот до ушей. Феликс: «Воображаю...»), и в-третьих, быть на Московском вокзале не позднее четверти двенадцатого.

— Повтори. — «Повторяю, скорый поезд номер...» Славка повторил гнусаво, как по вокзальному громкоговорителю. — И паспорт не забудь, а то я вместо тебя поеду.

— Фелька... — Бендорский кокетливо втянул голову в плечи. — Фелька, у меня есть только десять рупий. Еще в баньку надо сходить с веничком, с бутылочкой пивка. Значит, шестьдесят коп долой. Итого выходит...

Феликс посмотрел на Славку, как уже раз смотрел на меня, убогого, в чем тот, правда, не заподозрил обманный маневр с целью неожиданно плюнуть.

— Ладно, Славка, валяй. Угощаю.

Простились до вечера. Со мной будет прощаться? На всякий пожарный моя правая рука на стрёме, а то еще скажет: увязался. Пустые страхи, Феликс и не думал «давать мне вольную». Как только Славка ушел — бедняга (почему «бедняга»? Да сейчас как никогда), он обратился ко мне со словами:

— Поклянись памятью Щорса, что сегодня вечером ты свободен.

— Клянусь, — и бровью не повел, по школьной привычке ожидая подвоха.

— Чем клянешься? — вторая безуспешная попытка.

— Клянусь Щорсом, Котовским и двадцатью шестью бакинскими комиссарами, что свободен сегодня вечером, — лицо каменное.

Два ноль, такого он не ожидал.

— Ну, коли не шутишь... — и похлопал меня по спине, получилось, по своей же сумке, которая привлекала внимание к себе, а заодно и ко мне. Нельзя сказать, что последнее мне было неприятно. Особенно на стоянке такси. Феликс плевать хотел на очередь, а когда ему с чувством справедливого возмущения указали на хвост о двадцати головах, то гадливо отвернулся, словно это было что-то неприличное. От возмущения хвост о двадцати головах встал пистолетом. Откуда-то выскользнул, как мыло в раковину, милиционер, полагающийся в местах скопления микробов: «В чем дело?» Ванька-встанька. Брат только сверкнул ладошкой, а тот, козырнув, уже принял заказ: тормознул первую же «Волгу», сам открыл перед нами заднюю дверцу и снова взял под козырек.

А теперь представим себе, что на стоянке была парочка — она в зеленом пальто, справленном год назад.

Машина оказалась служебной.

— Куда едем? — хмуро спросил шофер и, услышав адрес, поинтересовался: — К Толстикovu в гости, что ли? — Феликс не ответил, чем пресек дальнейшие разговоры.

Мы описали полукруг по Дворцовой, понеслись пулей по набережной, подлетев на мостике — так что дух захватило (в животе). Справа, словно вчера опустевшие, мелькали пенаты российского барства, слева исполинским кораблем, с крестом и ангелом на золотой мачте, дрейфовала во льдах Петропавловская крепость. Мы свернули на Кировский мост. Стрелка Васильевского острова с двумя потухшими свечами Ростральных колонн по бокам, была прекрасна настолько, что разум отказывался в нее верить. Затем мираж Санкт-Петербурга исчез и мы углубились в серокаменный затвор Петроградской стороны.

Все стало с ног на голову. Феликс говорил, я слушал. Шофер мог даже спутать Феликса со мной. Мне вручался орден Щорса, причем вручавший чувствовал себя не в своей тарелке.

— У меня одно выступление вечером. У Алеши неудобные купюры, повторения. Все время приходится скакать. И концерт такой, что посторонних звать не рекомендуется. Закрытого типа. (Когда идет возведение турусов, то в желании это скрыть не могут остановиться. Выходит еще хуже.) Если хочешь знать, я здесь инкогнито. Кроме тебя и Бендоры никто не знает. Ему повезло: Казальс приезжал сюда как раз в девятьсот пятом. И с пластинкой в жилу, она у меня случайно в чемодане оказалась. А ты — ты же можешь ноты перевернуть. Сейчас репетнем, потом нам подадут к крыльцу самолет. Один раз в жизни постарайся не болтать.

— И с Алешей?

— И с Алешей.

Мы приехали. Со словами «служу кесарю!» шофер принял свой динар и был таков.

Забавно. Я еще не оказывался в таких заповедниках. За те несколько мгновений, что равнялись числу шагов от дверцы машины до дверей подъезда, ястребиный коготь моего взгляда расцарапал фасад. С перепугу глаза у кариатид перестали двигаться, бинокли из окон попадали, только постовой в подъезде при виде меня сохранил присутствие духа.

Звонок напомнил мне мои уроки сольфеджио: ку-ку, тер-ци-я. Здесь тоже не чураются импорта. Нам отворило кимоно, которое поспешно заслонил собою черный костюм: он надет на Алешу, кимоно — так и не знаю на кого. «Я имени ее не знаю и не хочу его узнать». Моих лет, учится во ЛГУ (на истфаке).

Сразу возникла неловкость, которую я отнес на свой счет. Судите сами: «Такой-то — такой-то, познакомьтесь». Я: «Очень рад». Он: «Верю». Кимоно: «Раздевайтесь, пожалуйста». Вдруг Алеша — Феликсу:

— Ты же сказал, что Бендорский будет.

— Он пошел в баню, — и пожимает плечами: проблема.

Алеша, словно барабаня пальцами по губам — за неимением стола или доски:

— Тэк-с.

— Феликс просил меня ноты перевернуть, — я сама кротость.

— А вы сумеете?

— Я пианист.

— Кореш мой школьный, — говорит Феликс. — Вместе на котов охотились.

Совсем забыл сказать: в детстве мы действительно не знали, кем доводимся друг другу. Да и позднее это не афишировалось — «чтобы не причинять боли московскому отцу Феликса». Так я и поверил. Чтобы нигде не значился Днепропетровск — старик со старухой, столетний балкон, одинаково памятный нам обоим.

— Тогда порядок, — говорит Алеша, — только надо туфли почистить.

— Ну вот и почисти.

А Феликс не чикается.

— Да вы проходите в комнату, что вы здесь стоите, — говорит на правах хозяйки девушка-историк.

Ботинки я сегодня утром почистил. Зубы — нет.

Комната сама по себе мне понравилась — большая, с высоким потолком, солнечная. Такую легко было бы обменять. На стенах репродукции: грека-через-реку, разные хокусаи. По этому поводу у меня имелось особое мнение, из которого я не делал тайны.

— Украшать репродукциями стены своего жилища некоторые считают признаком культуры. Не понимаю их. Они же выдают себя за любителей данного искусства. Я-то не любитель, но это уже мое собачье дело. Входишь в такое жилище — и висят. Зачем? Если у тебя потребность, как бывает слушать музыку, полюбуйся на свою картинку, сколько тебе надо, утешься и снова спрячь. А то просыпаешься, она перед глазами, и добро бы одна — с десяток. Бежишь, извините, куда пешком бегают, а глазами смазываешь по «Блудному сыну». Зато ешь сладкую кашу и не удосужился сесть против фруктов двухсотлетней свежести — была б гурьевская. Вместо этого вгрызаешься глазами в кровоточащий бок. («А-а, захотелось сладкой каши с фруктами вприглядку, богохульник?») Но Феликс молчит, и я волен продолжать. Это как если бы поклоняющийся музыке («Музыке не поклоняются, ее слушают», — те же читатели, голоса мною потерянные, но Феликс молчит) ...поклоняющийся музыке держал бы всегда включенным радио, и не одно, там Гайдн, тут Чайковский. На пляже так. С живописью ее пыльные поклонники обращаются как курортники...

Не говоря ни слова, она принялась снимать со стен все подряд. Я посмотрел на Феликса: нисколечко осуждения, даже наоборот. Посмотрел на Алешу...

— А-а, вам еще помешал мой Моралес?

«Мой», подлинник, что ли? Оказывается, над Алешиной головой висела картинка, мною случайно приписанная кисти Эль Греко. Стыдно... Стыдно тебе! Стыдно тебе!

Она принесла вращающуюся фортепианную табуретку, влезла на нее, привстала на цыпочках и — табуретка накренилась, а она с нее свалилась. В рифму, весело. Я еще подумал: если распростертое мужское тело, офицер со знаменем, это красиво в представлении патриотки, для которой мужество — залог победы над соперником, то ей самой падать даже в обморок, не то что с табуреток, противопоказано. У женщин это приводит ко всякого рода неряшливостям.

Одновременно я громко ахнул — оттого что она свалилась. И как частичка моей души, вылетая, все же закобалилась в звуке моего голоса, так и эта мысль совершенно произвольно в нем отпечталась. И вышло, что я все сказал вслух.

Бой барабанный. Оркестр стихает. Гаснет свет. Гимнастка встает («Ах, то, что говорят мои уста сахарные, не предназначается для моих прелестных маленьких ушек») и, запахнув кимоно, уходит. Феликс делано захохотал ей вслед. Я не знал, устыдиться мне или как.

— А ты, Феля, знаешь, фантаст, — сказал Алеша. Что уж он имел в виду...

— Заткнись.

В какой-то из комнат хлопнула дверь. Плачет?

Феликс предложил: «Репетнем?» — а для Алеши желание брата закон. Он вернул злополучную табуретку на ее законное место и в то время, как Феликс извлекал из футляра свое музейное сокровище, виртуозно прошелся по клавиатуре. Настоящий кокет-мужчина распускает хвост перед любой и каждой. Так и он свой пианистический хвост распускал передо мной. Я тоже занял свое место, работа закипела.

Программа — великосветский салон времен аббата Листа (см. иллюстрированное приложение к журналу «Нива»). Я с ветерком перелистывал страницы фантазий на темы Мейербера и Гуно, Сен-Санса... Нет, не великосветский, баррикадами пахивали «Блестящие концертные вариации на тему “Карманьолы“» — рук некоего Даниэля.

— Это что, тематический концерт будет? — спросил я у Новицкого, по-токкатному вытянувшего шею. За него ответил Феликс, не переставая играть, с каждой нотой повышая голос:

— Да... называется... «Добро пожаловать, друзья французов»...

Ох уж любит меня этот Алеша. Будь на моем месте другой, ответил бы, и шестнадцатые не помешали б.

— Ну все, кончай эту мутотень, — Феликс опустил скрипку: на шее и на ключице рдели стигматы. — Пора пожрать и по коням. Давай чего по-быстрому (Алеша на все руки мастер).

Пуская воду, я думал: «Вот бы увидеть Алешину сестру голой. Когда жизнь протекает в такой ванной, тело становится как у Пифагора: одно бедро золотое, другое из слоновой кости. На фиг ей кимоно».

Стол был *сервирован* — профессионализм возведенных на нем укреплений может быть передан только этим словом. Приборы стояли как в ресторане, а то, чем их еще надлежало зарядить (ибо они являли собой вид холостых орудий), превосходило всякий ресторан. В графине оказался ананасовый сок, которого я никогда не пробовал. Зато отсутствовала икра — атрибут барского стола, в моем представлении.

— Хочешь икры? — «подсмотрел» Феликс.

— Да нет, спасибо... — и смалодушничал: — Не знаю.

— Хочешь, хочешь. Алеша, будь добр, дай гостю икорки.

Алеша открыл баночку, нетронутая поверхность которой была ровненькой-ровненькой, икринка к икринке.

— Рюмочку тоже? — предложил Феликс

Но видя, что Алеша достает три рюмки, Феликс вспыхнул:

— Ты что! Разве сегодня *ты* ноты переворачиваешь?

Я поспешил «поблагодарить боярыню за ласку», заверив, что водки сейчас — ну никак неохота.

— Сок — предел всех мечтаний.

То, что Феликс при мне чихвостил Алешу — в конце концов, я был его братом, и потом он же чихвостил, а не наоборот. Но ведь и Алешу мое присутствие не смущало. Спрашивается: если я такое ничтожество, которого можно не стесняться, зачем тогда было передо мной выпендриваться, разыгрывать пассажи? Должна же быть симметрия.

Прикидываясь слепым, дескать ничего не замечаю, я рассказал совершенно анекдотический случай. Мы ехали от школы, я сопровождал одному трубачу — в Мореходку, что ли... Какой-то курсант вызвался перевернуть ноты. Я ему объяснил: кивну, переворачивай. Киваю. Он ставит ноты вверх ногами — так гости поступают с чашками, когда больше чаю не хотят. Надо было сказать: переверни, друг, страницы. Но сколько бы я это ни рассказывал, по-прежнему всем *переворачивают ноты*.

Как и следовало ожидать, моя история успеха не имела. Я умолк, считая долг приличия выполненным. (Не ищите иронии, не найдете: я *должен* вести себя прилично с теми, кто меня не может терпеть. Для кого-то это мазохизм. По мне, это испытание моего мужества на кротость).

Доели в полной тишине, не было даже слышно, как муха пролетит. Феликс пошел одеваться. Алеше оставалось снять передник, и он мог выходить на эстраду — перед обедом он повязался передником, как тот гусар, которого не пустили в рейтузах в гостиную. Мы впервые с ним остались один на один, он меня не замечал, а я как будто не замечал этого: крутил головой с беззаботным выраженьем на лице... Телефон!.. Мы одинаково вздрогнули, а, казалось бы, такие с ним разные. Он снял трубку. За нами высылают автомобиль.



Я написал это и представил себе: дома без штукатурки, бумажных новостроек, что станут лагерем вокруг города, ждать еще тридцать лет. В темном коридоре коммунальной квартиры, где-нибудь на Рубинштейна, телефонный звонок, резкий, почти такой же страшный, как в дверь. За ним послан автомобиль — не «Волга», не «Победа», не «ЗиМ». Автомобиль марки «Автомобиль». И в нем Шофер. Как положено, в кожаной фуражке. И выходит Мирон Полякин, во фраке, в туго накрахмаленной манишке, в левой руке — фигурный циммермановский футляр. Он пробирается сквозь соседский сатин и спецовки. Великий скрипач будет выступать перед участниками Коминтерна.

Появился Феликс, уже при параде. Можно надевать пальто. Но я не позволю ему это сделать, прежде чем не устрою показ мод. На нем был сильно приталенный смокинг (о, стройный юноша!), переливчато-темно-синий, обведенный черной кружевной тесьмой. Лацканы покрывал фиолетовый шелк. Вместо бархатного чучела бабочки, как у Новицкого, по груди каскадом ниспадало жабо, разбиваясь о широкий розовый кушак, наподобие тех, каким опоясывают себя матадоры. Лакированные туфли изяществом не уступали стилизованной обуви на старых акварелях. Но через два сезона наше представление о «вечном» переменится, и Феликс в согласии с новой модой облачится в дырявую робу. Однако и вчерашнему его смокингу, и завтрашней его робе, в которой он предстанет перед рогатой, хвостатой, аплодирующей двумя парами конечностей аудиторией, если и будет чего-то не доставать, так это маленького кортика сбоку.

Я навсегда простился с комнатой, которую хозяйева, вероятно, скоро выменяют. Внизу на волнах покачивалась — слышите! — чайка. А мне это, часом, не снится: таких огромных чаек не бывает. Только в сказках. И правда, за рулем Иван-дурак. Совсем идиот, наверное: напялил на себя сумку, Феликсову, у которой карманы на молниях, шуршащую аж до скрежета зубовного. Нет, в любое время манекен остается манекеном, существом о двух измерениях. Насколько далек этот нейлоновый водитель «Чайки» с заграничным брелоком на ключе зажигания от сурового кожаного Шофера и его Автомобиля. А все же, как на известном плакате, где на космонавта (олицетворение всего, к чему мы пришли) взирает с небес питерский красногвардеец с алым бантом — так оба шофера своей символической преемственностью могли вызвать в сентиментальном горле сладкую спазму. Или же смертельную тоску в честном сердце по причине неискоренимости зла на земле.

Ехали мы, ехали и заехали. Дворец помещался в глубине темного сада. Вечерний морозный блеск — о весне в городе можно забыть. Крыльцо стерегли два льва, укрощенные двумя столетиями раньше знаменитым итальянским дрессировщиком. Феликс вошел первым, причем опередил нас с Новицким настолько, что, когда мы отворили дверь, успевшую, несмотря на всю свою массивность, закрыться, его и след простыл. Дорогу нам преградил штатский в военном (Сен-Санс, «Карнавал животных», из нашего репертуара). Феликс предоставил Алеше самому разбираться со всякими унижительными мелочами.

«Штатский в военном» только покачал головой, когда Новицкий объяснил ему, что я — также участник концерта, технический персонал. Нет, он ничего не может поделывать. Даже не говорит «не могу впустить» — верно оттого, что вздохни я и откланяйся, меня бы навряд ли выпустили. Положение Новицкого было незавидным. Ему и упрасивать как-то не к лицу, это же не фильм, на который дети до шестнадцати не допускаются.

Явление следующее: седовласый крепыш в светлом костюме с красным лоснящимся от усердия лбом. Откуда явился — непонятно, конспирация, как в анекдотах про майора Пронина.

— Алексей Романович, как вы себе это мыслили? — и выходило, что Алексей Романович это я: его взгляд не отпускал мою физиономию, как спазма — сердце...

быстро нитроглицерин, сейчас умру от страха! А ведь, что ни говори, не всякая физиономия обладает свойством так приковывать к себе взоры. — Вы бы сказали заранее, что вам нужно перевернуть ноты. Мы бы, поверьте, сумели подыскать кого-нибудь компетентного по этой части.

Алеша верил. Он попытался свалить все на Феликса Константиновича.

— Нет уж, — взгляд злой-презлой, наконец отпустил меня, теперь нитроглицерин потребуется Новицкому, — мы не в яслях. Феликс Константинович это Феликс Константинович, а вы это вы, понятно? — даже рывкнул, так его эта подлянка забрала.

Да уж, боюсь, в моем лице Феликс не «унизительные мелочи», а хорошую свинью подложил Алеше.

— Ладно, я сам, — плаксиво скривился он.

— Нет, все должно быть наилучшим образом, — отдувается: тяжела шапка Мономаха. — Даже не знаю, как быть, — озабоченно смотрит на часы и говорит мне: — Придется как-то пропуск вам оформлять. Это все очень сложно. Но попробуем, нет таких крепостей, которые бы большевики... — будет ломать комедию. — Фамилия, имя, отчество... дата рождения... национальность... — велик был соблазн сказать «да», — прописан... — все записал. — Ваш паспорт... —

Паспорта нету?

Гони монету.

Монеты нету?

Иди в тюрьму.

— Тогда какой-нибудь пропуск... — (Откуда? Меня же не велено никуда пускать.) Ну что-нибудь! — в сердцах восклицает он.

Я роюсь в карманах, извлекаю всякий мусор: нитки, рваный рубль — есть у меня такая привычка: когда смотрю кино, рвать бумажки в кармане.

— Трамвайная карточка подойдет?

— Да валяй уж, — он тщательно рассматривает ее на свет. — Придется подождать.

Когда ее подлинность была подтверждена специалистами, нам разрешают пройти.

Фриц Крейслер однажды тоже решил проучить своего аккомпаниатора. Играли «Испанскую симфонию» Лало. В пятой части солист, как известно, вступает после довольно оригинальной интродукции, семи одинаковых па: папа-папапа-папапа-папапа (раз), папа-папапа-папапа-папапа (два) — так семь раз. Крейслер стоит — не шелохнется, пианист продолжает играть. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый раз. Как заезженная пластинка, повторяет он одно и то же, а скрипач в ус не дует (у Крейслера были усики). Только на пятидесятый раз соблаговолит он вступить. Так мстили аккомпаниаторам в начале века, сегодня поступают иначе. Выходит, я — орудие мести. Однако.

Не все изменилось в этом мире, многое осталось, как при царе Горохе. Исконная наша застенчивость хотя бы: царю Гороху неловко было сесть на престол с первого захода, и он дважды отказывался от угощения, скромник. Теперь другой русский скромник со словами: «Пиджачок позвольте почистить», — вдруг проехался по мне ладонями от подмышек до лодыжек.

— На выход, — раздался механический голос.

Феликс — мне:

— Смотри не ослепни.

Гуськом, а не как три мушкетера — под руки, вышли мы из-за портьеры, солист, концертмейстер и переворачиватель нот.

В белых, обитых голубым шелком креслах сидят этак дюжины полторы людей. Потолок зеркальный: в небе отражаются ангелочки с белыми крылышками. Как замшелый куб с обрубленными углами (как? столетний дуб с отрубленными ветвями?), в центре, сверкая очками (не очами), и не мертвый, и не живой (не следует только понимать в значении «ни жив, ни мертв»), восседал... ну, кто восседал, а? Да. И неважно, какая власть сосредоточена в этих руках, может, и никакая. Но чувствуешь ее, власть как таковую, лишь когда противишься ей, а эту власть чувствует на себе все живое, «от южных границ до британских морей». И тогда спрашиваешь себя: да что ж это, как в другой песне, что ли? «А врагов у нас пуще волоса, что растет в бровях царя-батюшки».

Подле него примостился товарищ Базаров — какой русский не знает этого имени? Слышу, переводчик говорит:

— Felix Podberiozvik — камсикамса-камсикамса-камсикамса — я по-французски ни бельмеса, — et Alexis Novitski, — несколько жидких хлопков. Исторический визит в люльку русской революции. Перед потомками коммунаров выступает знаменитый советский скрипач. Товарищ Марше оживился при звуках «Карманьолы», хотя и вряд ли оценил самый цимес: Сальватор Даниэль, директор парижской консерватории, переложивший «Карманьолу» для скрипки, пал на баррикадах — пулей вражеской сраженный.

Когда мы закончили, в овацию было нечему переходить: культурная операция под кодовым названием «Не пришей кобыле хвост» завершилась, как и началась, хлипкими хлопками. Ни одной женщины. Так что мальчишника им не избежать, отметил я про себя.

До поезда оставалось два часа, которые Феликс захотел провести с братом. Алеша взял у него скрипку и уехал за своими манатками. Привет учащимся истфака!

Братья остались вдвоем, и младший сказал:

— Все это гадко. Не искусству своему ты обязан славою, но тем, что поставил его на службу бесам, их возвеличиваешь ты в глазах мира.

И, понуриив голову, старший брат тихо отвечает:

— Уже поздно.

— Ничего не поздно. Отступись от них, отрекись от себя — ради себя. Ты понимаешь?

— Да, понимаю. Но поймут ли другие?

Мы шли по Фонтанке. Как в темноте можно поменяться одеждой, так мы, шут и юрод, поменялись ролями. Феликс не чувствовал юмора, моего юмора. И потому, когда я бывал серьезен, думал, что я валяю дурака. Я отводил душу.

— Ты понимаешь?

— Да, но поймут ли меня?

— А то, что ты пользуешься услугами бесов? Под охраной всем ненавистного милиционера садишься без очереди в такси. Люди опаздывали на поезд. Старушка мать, соседка той, что напрасно ждет сына домой, торопилась на свидание со своим сыном — ты понимаешь, что это за свидание? («Да, но поймут ли другие?») Тебя не страшит приговор истории, вынесенный Фуртвенглеру?

Он кивнул, его это очень страшило — но только мы вышли на Невский, как всем страхам конец, потому что включили свет.

По тротуару, туго прижав друг к другу плечи, двигались две партии людей. Те, что с краю — курсом на Московский вокзал, те, что ближе к стенке, шли на Адмиралтейство. У гастрономов антипартийный элемент препятствовал уличному шествию, вклиниваясь в мирную колонну, словно кочевые племена в исконно русские земли. Но хотя стариков и женщин они не убивали, в полон все же уводили (да там и обращали в свою веру). И, глядишь, неузнанный сын нападет на отца, а дочь — на мать.

Иногда кого-нибудь пьяненького, с мордой в киселе, милиционеры ведут под белы руки. Ему нечего на это возразить. Толпа подобострастно расступается.

Все мужчины на Невском страдают половым бессилием — если судить по тому, с какой ненавистью смотрят на них женщины: рождаемость за последние годы сократилась. Разве что отдельные организмы как-то еще пробиваются друг к другу, чтобы группироваться в маленькие упрямые очередники у дверей кафе. Беспкойный клан жаждущих лишнего билетика представлен городскими сухоточными, им не терпится насладиться чужой любовью. В укромных местечках содомские греховодники предаются лагерным воспоминаниям. Противно природе, скажете? Одна грязь? А как же иначе, когда Невский есть, а Петербурга нет — это что, не грязь, не противно природе?

Феликс спросил, не хочу ли я сходить поужинать. Стоит ему только щелкнуть пальцами, как сезам откроется и нас впустят вперед других, вытанцовывающих по часу на морозце свой столик. Нас проводят в уголок интуриста и там внепланово обслуживают. На Феликсе будет исключительный смокинг в талию. А снаружи останется танцевать парочка, она в зеленом пальто, а он — гол как сокол и скоро замерзнет. И тогда будет она смотреть на него ненавидящими глазами.

Я откасался: «Мне стыдно». Но в свете фонарей это прозвучало неуместно.

Феликс рассказывал про границу, и мне казалось, что он никогда там не был. Так совершивший со стадом бизонов круиз вокруг Европы рассказывает своим знакомым: «Вошли мы в Марсель, а французы народ горячий, увидели нас и давай кричать: па-адхады, дорогой, колготки домой по сходной цене привезешь жене».

Чтобы Феликс не очень жалел, что остался гулять с дуралеем-братцем, а не укатил в «Чайке» (отнюдь не в чеховской), я предложил чудесную тему — школу. Это как в бескрайней снежной степи перед путниками возникает видение лета, райского сада, отмеченного чертами родных мест. Унесенные воспоминаниями в дальние пределы, в другие времена, они входят туда детьми, держась за руки. Я неравнодушен к прошлому, к чужому еще больше, чем к своему. Феликс шлепает по синим лужам перед школой. Нет больше того солнца, которое светило ему, уже пятикласснику.

Нет, неинтересно ему. А случай с Синкопой? (Прозвище хромой учительницы — это было еще в добулгаковскую эру, школа-то музыкальная.) У нее была привычка снимать под столом туфлю. Раз, посаженный в наказание за первую парту, Феликс похитил это накладное копыто образца пятьдесят четвертого года. Незаметно придвинул к себе — и в портфель. Учительница шарит ногой... Так и вижу: ослепшее доисторическое животное в фильдекосовом чулке, а на лице жалкая улыбка.

Правда, он мне солгал: забыл, что эту историю мы слышали от одного великовозрастного, рядом с которым гулливер Феликс был лилипут, а уж про меня и говорить нечего. По словам великовозрастного, он проделал это с Царевичем Алексеем, старухой историчкой, которую мы уже не застали. Подвиг, отмеченный переходящим красным знаменем — переходящим из поколения в поколение.

Я возвращал Феликсу это зная, принимая его версию хрустального башмачка. Затем провел переключку всех учителей, кончая начальными классами. В иные портретные галереи не пускают. Стоя у дверей, старайся заглянуть внутрь, подальше — сколько хватает зрительной памяти. Картинки выходили одна другой меньше, зато я ухитрялся подольститься к клиенту: на каждой из них учителя представлялись жертвами исключительно его шалостей.

Но и это не всё. Поезд из одиннадцати школьных вагончиков прибыл на самую первую станцию. Мы сошли, а вагончики остались в тупичке — станция Днепропетровск. Утопающие в зелени дома, Детский парк. В нем, как сон во сне, детская железная дорога — мы бы по ней, может, и прокатились, но другой поезд уже ждал Феликса. То есть его еще не подали — ждал Бендорский.

Он искал нас в толпе и, как обычно бывает, наткнулся глазами на кого угодно: на Бабу Ягу, укравшую чью-то внучку (у, костяная нога!), на Деда Всеведа — по колено в валенках, на веселый куст парнедевок, растения непарникового, на баобаб из пяти негров, ехавших тем же поездом, что и они с Феликсом. Никого не упустил, а слона-то не приметил. Я хотел окликнуть его, но Феликс остановил: «Погоди!» Бендора был похож на клоуна. Вид ошалелый, шляпа задом наперед (по такому случаю он надел фетровую шляпу). Боясь проворонить нас, он бросался на каждого — и застывал в нелепой позе, словно был на привязи.

— Фелька! Подберезовик! — вдруг раздался победный клич — Бендора заметил нас. Мы подошли. У него зуб на зуб не попадал. Выясняется, что он стоит здесь полтора часа.

— Почему не с утра? — спросил Феликс. — И вообще, где лапти? В Париж без лаптей — высадят.

Но Бендорский только блаженно шептал: «В Париж, родненькие, в Париж...»

Кому же не хочется в Париж. К нам подкатили. С востока поезд, с запада тачка, которую толкал носильщик под присмотром Алеши.

— Знакомьтесь, — и Алеша со Славою послушно обменялись рукопожатием.

«А теперь вперед!» — это уже говорю я.

Представим себе изумительно-радостное шествие, по мне, так даже волшебное, из сказки Прокофьева «Петя и волк». Во главе, словно молодожены, Феликс и Бендора, за ними я — маленький северный Гименей, за мною следом — картинка из учебника: «Рабский труд английских шахтеров», это катит свою вагонетку недавний раб, а ныне свободный носильщик. Замыкает шествие Алеша Новицкий — дрожи, избравший светочем жизни поговорку «что с возу упало, то пропало».

Необыкновенный день закончился. Я еще постоял «под окном», посмотрел, как они устраиваются — Бендора все не знал, положить виолончель или поставить. Затем помахал им рукой и побрел восвояси.

Как музыкант могу сказать: день имел зеркальную репризу. Вокзал, трамвайная остановка, где спин больше, чем лиц, тернистый путь вагона («Такой большой, а одноглазый, как мотоцикл», — говорит в фильме «Подкидывш» маленькая девочка — укравшей ее Раневской), очертания другого вокзала, которому Николаевский в подметки не годился: отсюда ездили в Царское Село, на этих ступеньках опустилась крышка Кипарисового Ларца... Моя быстро нагревающаяся постель.

Круг замкнулся? Нет, купол сомкнулся над моей головой. В своей герметичности этот день был, как мячик. Я внутри. Чтобы не задохнуться, я схватил заветные листки и принялся их перечитывать. По ним поступал кислород. «Ишаягу» — назывался мой последний, незаконченный рассказ, больше походивший на сценарий, по которому ставят сны.

Перрон (он же). Ни вокзала, ни вагонов — все скрывают густые облака. Пар стелется и по перрону, ноги идущих окутаны белым. Эти люди прохаживаются по двое, по трое. Вокруг маститого вида личностей образуются группы. В центре одной — седобородый старец, борода облачком пара легла на черный сюртук (именно на черный сюртук — в нем он был похоронен). Он недоволен, брюзга, перед ним благоговеют. Но не многим позволено выражать свое одобрение непосредственно, большинство вполголоса общается между собой, поминутно кивая: «Лев Николаевич считает, что этот невежа нарушает все допустимые границы приличий... Лев Николаевич еще ни с чем подобным не сталкивался...» Так в пасхальную заутреню каждый спешит поделиться с соседом последней новостью, полученной из первых рук две тысячи лет назад.

Другой старик тоже в кружке почитателей: Анатолий Франс. Оба мэтра не замечают друг друга, довольно и тех холодно-презрительных улыбок, на которые не скупятся их приверженцы. На лицах у всех печать тревоги: где же он? Что, если он не придет?

Толстой взглянул на часы:

— Нет, господа, это не лезет ни в какие ворота. Мы все в сборе, поезд ждет. (При этих словах сквозь облако стали видны пульмановские вагоны, позади проступил силуэт горы). А этот Ишаягу позволяет себе опаздывать. Из-за него все вынуждены терять золотое время. (Небосклон прояснился еще более.) Да и вообще, какое отношение к нам может иметь этот дикий, невежественный человек...

Тут Иосиф Уткин вскричал: «Вэйзмир!» — и пал на лицо свое. Все ахнули. Гора приняла человеческие очертания, раздалась в плечах. Простертая рука, ширясь и исчезая из поля зрения, застлала горизонт. Все опустили глаза: на ладони его были и сами они, и перрон, и всё-всё, что только мог охватить их взор. Напрасно пеняли они Ишаягу — он все время был здесь, с ними.

Ранний звонок в дверь. Не иначе как Феликс с полпути решил вернуться, пересев во встречный поезд. Подбрасывая тапки и зияя дырками, бегу открывать. Та же девушка, что и вчера, протягивает заказное письмо. На месте обратного адреса печать номерного учреждения: три шестерки кряду. Разорвав конверт, я нахожу в нем свою трамвайную карточку.

*Иерусалим, декабрь 1973*

# МОЯ ЛЮБОВЬ ИЗ ДОСЕКСУАЛЬНОГО ПЕРИОДА

ПОВЕСТЬ

1.

В редакциях пьют портвейн — напиток, приводящий замороченное редакционным гвалтом сознание в состояние кратковременной ясности. Ну, хоть кратковременной! Всякий раз перед сдачей номера (к утру макет в типографию) ты уж к вечеру не в состоянии принять вдумчивое решение: ставить это фото или другое, не слишком ли наездливый заголовок, кто станет возбуждаться от этой статьи и не кинут ли тебе после нее бутылку с зажигательной смесью в окошко, а то и противотанковую гранату, — все бывает на демократизированной Руси. И тут — самое время выпить стакан портвейна. И если выпить только один стакан, то звуки мира утишаются в меру и наступает благодатная ясность сознания, переводящая все гамлетовские вопросы в разряд коммунальных; решения находятся сразу, а хаос многочисленных деталей, которые нужно учесть, моментально организуется в космос. Все ясно и просто: ставь, Маруся, именно это фото, и пусть все узрят отвратительную морду нашего губернатора, а вот словосочетание «гад проклятый», а также «помесь жабы с носорогом» из заголовка нужно-таки убрать хотя бы в подзаголовок, а то ведь они могут и обидеться.

И Маруся ставит.

Счастлива та редакция, где хватает общего разума остановиться на первом стакане, хотя бы до поры, пока не закончена вся умственная работа по вычитке, сверке, придумыванию заголовков и подписей к фотографиям, но таких редакций на свете не бывает, по крайней мере, в России. Вот тут-то и потребуются железная воля редактора и его профессиональный опыт. Настоящий редактор всей силой своего таланта и творческой интуиции способен угадать с точностью до пяти минут то единственное время, когда уже нужно пить первый стакан портвейна (накануне последнего умственного аккорда) и когда после этого настает время приступать ко второму (когда все умственное уже окончено и осталась лишь более или менее автоматическая работа корректора и верстальщиков), и сколь велика эта пауза, чтобы, с одной стороны, не возникло апатии и в работе, и в питье, с другой же, чтобы уж потом, после второго, сильно мозгами не шевелить. Ведь если второй стакан запустить вслед за первым или просто слишком рано, то возникнет угроза наплевательской эйфории, очень опасной в нашем деле. Оглянуться не успеешь, как работники уж и лыка не вяжут, а конь еще не валялся, что, впрочем, часто бывает во всяком заковыристом русском деле, не только в журналистике. Признаться, нам не всегда удавалось хорошо рассчитать такт рабочего употребления портвейна.

В тот вечер «время первого стакана» настало часу в десятом, кроме того, конец верстки приходился на канун майских праздников, поэтому портвейн был закуплен в двойном количестве, а закуска в праздничном объеме. На столе в пластмассовых тарелочках были разложены всевозможные разновидности кашеобразного мяса, в России называемого почему-то «салатом». Главный из них «оливье» — помесь всего, что было в доме, с майонезом, основным соусом великой державы с тех еще времен, когда в употреблении не было кетчупов. Запах нарезаемых для него свежих огурцов в соединении с майонезом (советские огурцы чудесным образом еще пахли огурцами в отличие от нынешних, демократических огурцов) — навсегда останется запахом советского праздника в памяти поколений. Как большинство запахов детства и юности, он обладает невероятной семантической насыщенностью, и стоит его учуять в случайном месте, на случайной вечеринке, как память прикалывает к глазам картинки из прошлого: суeta женщин на кухне по нарезанию этих самых огурцов, их круто завитые бигудями волосы, короткие юбки, скроенные как чехлы для парашютов; непродыхаемый, бронетанковый советский капрон, менявший цвет ног порой до коричневого, как будто женщины оделись в костюмы аквалангистов, а еще вспомнится могучее, не знавшее никаких преград советское либидо, от которого воздух раскалялся и трещал электрическими разрядами, — несмотря на беспросветный капрон.

У нынешних праздников другие цвета и запахи.

Большая часть населения державы к этому времени была уже пьяна, а мы только начинали. Команда к питью была мной уже подана (в редакции никто без команды не пил, это положение мы даже в шутку занесли в устав), но сотрудники, сидя, по обычаю редакционных пьянок, прямо на столах между закуской, ждали меня, перекидываясь остротами. Я же делал последний просмотр выведенной с принтера уже почти готовой полосы и морщился, не в силах выбрать между тремя вариантами подписи под весьма сомнительной фотографией.

Фотография, надо сказать, была просто вульгарная: пухлый женский зад в одних трусах с раскраской в легкомысленный горошек на всю ширину фотографии сидел на стопке книг. Плоть проминалась и по краям обтекала твердые грани словарей и энциклопедий — выглядело очень эротично. Этого обтекания добивались всей молодой частью редакции, моделью же выступила одна из журналисток. Вызывающую вульгарность инсталляции, должную, по нашему замыслу, высмеять политпросветское пристрастие мэра нашего города и его официального издания к цитатам из всех возможных классиков (по слухам, дело объяснялось тем, что в пресс-службе завелся сборник афоризмов для политиков, и теперь все выступления мэра даже на темы коммунального хозяйства и канализации пересыпались цитатами из древнегреческих философов), — надо было хоть немного смягчить, нейтрализовать подписью. «Думай головой, а не цитатником», — проговаривал я про себя вариант подписи.

— Илья Викторович, мы Вас ждем, — капризно закричала молодая журналистка, чей зад я как раз разглядывал на полосе, выдумывая подпись.

— Сейчас, сейчас, Наташа, не могу оторваться от вашей фотографии. Кстати, а почему все-таки зад вы сфотографировали не мужской, а женский? Ведь думают им как бы мэр. Какая-то неувязочка смыслов — мэр думает женским задом...

— Или широкая метафора, — включился еще один молодой сотрудник.

— Просто из мужчин никто не согласился выставить свой зад на обозрение, — сказала Наташа.



«Эх, черт — действительно, пора принять, может быть, после стакана портвейна все само разрешится», — подумал я.

Зубоскальство стало уже непродуктивным. Я подошел к столу, все радостно заторопились, наливая, — чокнулись и выпили. Выпил и я, а закусывая, хрустнул яблоком, откусив от него чуть не половину, — очень хотелось и пить и есть. И вот когда этот замечательный первый портвейновый кайф уже снял мутную пленку с действительности и сделал все предметы мира блестящими и немного скользкими, — тут-то мне и подали трубку:

— Привет, Илья, — сказал мне в трубку пьяный женский голос.

— Пливет, — сказал я, давясь непрожеванным яблоком. — Это кто?

— Что не узнаешь? — удивился женский голос.

— Не узнаю, — сказал я честно и уж начинал думать, чей бы это женский голос мог мне звонить в редакцию и называть на ты без отчества.

Обычно секретарша отсекала случайные голоса, но сейчас ее уже не было. Кроме того, вопрос такого рода — «не узнал?» — универсальный способ повергнуть в трепет любого мужчину с жизненным опытом, — мало ли обиженных женщин осталось позади. Вздрыгнул и я — от моментальных догадок...

— Ну, что же ты? Зазнался, стал известным и не узнаешь старых знакомых, — сказала она нараспев с наигранным кокетством.

— Не узнаю, — вздохнул я. И — подумал, что если она продолжит кривляться, то сейчас просто пошлю ее подальше, пусть обижается. И пусть даже это будет плохой пример для сотрудников, им-то это делать настрого запрещено, уже были разборательства по этому поводу, — все равно продолжать эти бессмысленные догадки было ни к чему.

И тут она назвалась...

## 2.

Есть особый кайф издавать газету в городе, где родился. Еще лучше, если он небольшой — сто тысяч плюс прилегающие окрестности. Это значит, что можно, и даже очень легко, написать в газете вот про эту симпатичную продавщицу с сумбурной прической (как будто она забыла причесаться поутру) на излишне выбеленных при покраске волосах, как это любят делать русские продавщицы — возможно, оттого, что просто не достать хорошей краски, но вполне может оказаться, что им даже нравится эта трупная желтизна на голове. И от волос ее пахнет губной помадой, дешевыми духами, сливочным маслом и колбасой из отдела, где она работает. И пусть про нее совершенно нечего писать и в голове у нее одна полная пустота, которая, отражаясь в глазах, становится не просто пустотой, а бери выше — бесконечностью, поскольку пустота — это лишь псевдоним бесконечности, а другие ее имена — смерть и, кажется, иногда любовь, а прочих называть не будем, ибо мы вообще-то не про то...

Ну, тогда можно просто сфотографировать ее глаза и поместить их крупным планом, потому что они действительно красивые и большие даже без краски, а с краской и вовсе непомерные, такие, что кроме них на лице едва помещается немаленький русский нос, и даже губы, нарисованные тремя сортами помады в семь слоев, кажутся ниточками в сравнении с этими глазами. И пусть в них зияет и свистит эта самая пустота-бесконечность, что, в сущности, прекрасно — не всем же ходить с полнотой! — мы все равно их напечатаем. Зачем? А ни за чем, потому что хочется. Затем, что глаза красивые, продавщица молодая, день прекрасный, и я здесь родился. Да и газета моя, что хочу, то и делаю. Купи себе

газету и тоже печатай что хочешь, а мне здесь не указывай, у нас, между прочим, свобода печати и даже слова. И вообще — все учат писать, я ж тебя не учу кирпичи класть или водкой торговать, вот и ты не учи. По морде? Ну, по морде я и сам могу. В этом факультативном мужском занятии еще неизвестно, кто окажется круче. Вполне возможно, что и я. От интеллигента слышу! Черт, вот и поговори тут с вами об искусстве...

Издавать газету в собственном городе — это значит, что однажды к тебе подойдет твоя тихая мать и, пристально посмотрев прямо в твои глаза, скажет: «Сынок, ты вот написал там в своей газете плохо про Егор Михалыча, а ведь он твоего отца однажды от несчастья уберег». А потом расскажет тебе угрюмую и почти фантастическую историю сорокалетней давности, которая будет содержать слова «завком», «партком» и «четыреугольник» вовсе не в геометрическом смысле (кто это теперь помнит!?), после чего ты никогда больше не напишешь худого слова про этого Егор Михалыча, а напишешь одни хорошие, не обращая совершенно никакого внимания на то, что Егор Михалыч, по сути, отъявленная скотина, и это не требует никаких доказательств, как вчерашняя погода. А если по твоему недогляду у тебя в газете и проскользнет что-то против Егор Михалыча, то это, кроме прочего, будет означать, что твой старый отец прожил жизнь немного зря, а уж такой разворот темы про Егор Михалыча тебя никак не устраивает. И это будет слишком очевидно для тебя и твоего отца, но не для всех остальных. И ты обольешься семью потами и семь морозов по коже превратят их в лед, пока ты объяснишь своим коллегам, которых ты постоянно призываешь к профессиональной последовательности, почему мы можем написать про мэра, что он свинская собака, а про какого-то там Егора Михалыча, что он скотина, тем более, что это всем очевидно, — не можем.

И вообще — хоть на краткий миг почувствовать себя значительным, прихлебнуть это вино (или пусть всего лишь бормотуху!) публичности и нужности людям. А в родном городе это и проще, и трудней: промаха не простят, а успехом будут гордиться даже алкоголики, с кем хоть однажды удалось преломить полтора соленых огурца по случаю запоя от неразделенной любви.

Нет-нет, ты ведь не такой, чтобы зазнаться и отвернуться от несчастий и страданий человеческих, это другие, бывает, срываются и отворачиваются от страданий человеческих, а сам-то ты не такой, ты никогда не отвернешься от несчастий человеческих и страданий, ты только и делаешь, что печешься об этих несчастях человеческих и об их же страданиях, скорее всего, их становится гораздо меньше от твоей благородной деятельности — страданий человеческих, а также их несчастий. И пусть к тебе придут какие-нибудь глупые бабки и скажут, что однажды они вместе с троюродным братом твоего дедушки копали большую яму, переходящую в котлован, по разнарядке облісполкома ровно пятьдесят лет назад и выкопали-таки ее окончательно. И на этом основании ты им должен обязательно помочь. И ты им обязательно сможешь, потому что дело-то как никогда ясное, поскольку жалуются они сразу на всех и вся, а — чего уж проще-то! — это как раз и есть абсолютное космическое зло. И здесь уж дело принципа: или ты с добром, или ты со злом, причем навсегда. И ты выберешь, конечно, добро. Ну не зло же!

И пусть тебя о чем-нибудь попросят и друзья, и враги. И ты сделаешь что-нибудь благородное для врагов и откажешь друзьям, потому что они, друзья, таковыми и пребудут: «Да не могу я этого сделать, пойми, ты, братан, не могу!» И они обязательно поймут. И враги тоже все поймут и не перестанут быть врагами.

И — это очень странное чувство, когда тебя знает здесь каждая, в сущности, собака.

А вечерами тебе будут звонить друзья детства, приятели молодости и свидетельствовать почтение, которое, ты знаешь, они никогда бы не засвидетельствовали, если бы не эта газета. И радостными голосами будут спрашивать тебя «как дела?», говорить о футболе, говорить, что кто-то уже даже и помер от водки или мороза, говорить, что читают и очень рады, и надо бы как-нибудь выпить-встретиться, да так и не встретитесь никогда. А однажды вечером тебе позвонит твоя вдребезги пьяная первая любовь и спросит: «Узнаёшь?» И ты ее, конечно, ни за что не узнаешь, — и потому что пьяная, и потому что первая, и столько лет прошло... и лучше бы не звонила! Эх, наливай...

— Так кто звонил-то, Илья Викторович, признавайтесь — новые претендентки на звание городских красавиц? Черненькая с крупным бедром или беленькая с пышной грудью?

— Первая, Наташа, любовь, а в этом случае цвет волос и величина бедра не имеет никакого значения.

### 3.

Это была девушка с очень неромантической мечтой — поступить в торговый техникум. Учитывая ее возраст и время, когда протекал сам процесс мечтания, можно сказать, что мечта ее была просто фантастической по своей приземленности и расчетливости — не сразу в институт, а сначала в техникум, поскольку в институт был большой конкурс, а связей у ее семьи не было. Зачем уповать на нереальное? А так — она получит сначала профильное среднее образование, поработает — кем там? — младшим товароведом, а потом уже ей будет существенно проще поступить в институт вне конкурса, хотя бы на вечерний факультет. Девушке было 14, а на дворе стояла густопсовая Советская власть — конец 70-х. Власть стояла на этом дворе уже лет 50 и за это время сильно надула в уши населению «пролетарские» романтические стереотипы — своего рода пособия для мечтания, которые к тому времени у советских людей передавались уже по линии ДНК. В Советской России уместней было бы мечтать сделаться знатным углекопом, сталеваром, машинистом паровоза, водителем грузовика и даже рабочим у станка на большом производстве, но смешно мечтать поступить в торговый техникум. Нет, были, конечно, и трезвые люди (всякий раз приходится удивляться, встречаясь с этой прагматической ясностью сознания и даром мелкобуржуазного прозрения, неистребимым даже после чуть не века социализма), и очень многие, вероятно, хотели поступить и в торговый техникум, и в училище сельхозкооперации, и на бухгалтерские курсы, но это не увязывалось со словом «мечта» и с юностью в целом. Всегда ведь остаются и более или менее универсальные объекты для мечтания, так сказать — классические образцы, годные и капитализму, и социализму: летчики, космонавты, полярники, исследователи, путешественники, актеры, кинозвезды наконец, всевозможные певцы или танцоры и тому подобный опиумный дым, из которого в юности состоит и реальность, и твердь.

Один из ее тогдашних ухажеров стал впоследствии часовщиком, но мечтал стать путешественником, причем куда-то очень далеко — чуть не на Южный полюс, другой сгинул в тюрьме, а перед этим тяжело работал на заводе, сильно пил и, наконец, кого-то зарезал, но тогда мечтал стать не меньше, чем капитаном дальнего плавания. Я тогда, кажется, мечтал стать летчиком или чем-то в этом

роде — «почти космонавтом», но не стал. Она же просто хотела поступить в торговый техникум. И поступила.

В ее мечтах не было высокого градуса несбыточности, — сказал мне спустя много лет человек из нашей юношеской компании, — что в юности часто заменяет даже кайф от наркотиков. Суди сам, вот сейчас такая мечта уже не в диковину, ну, точнее не мечта, а обычное желание, для мечтаний у русских уже нет времени — все просто хотят стать менеджерами, банкирами, разными торгашами и вообще — деловарами с деньгами. Ну, вроде меня... — он широко улыбнулся. — Ненормальные хотят стать инженерами, врачами или военными, или даже летчиками, но — если таковые вообще находятся, — то это уж можно даже назвать мечтой, поскольку это явно нетрезвый взгляд на вещи. А вот интересно, сейчас кто-то из пацанов еще мечтает стать космонавтом? А у меня чуть не весь класс хотел стать космонавтами, даже некоторые девицы.

— Время сейчас другое, — продолжил, он помолчал. — Может, поэтому подростки переключились на наркотики, это просто замена мечте. Мне вот все время кажется, что колются в основном люди без фантазии.

— А пьют? — спросил я его.

Но он, скорей всего, относился к тем людям, которые не замечают вопросов, если не хотят на них отвечать.

Мы сидели с ним за пивом в открытом летнем кафе напротив редакции, по странному совпадению — всего за несколько дней до ее неожиданного звонка и говорили о ней. Был конец русского апреля, ветер еще дул довольно свирепый, солнце проглядывало не часто. Проглянувши перед тем на два полных дня, оно спровоцировало раннее набухание почек и открытие этого кафе, хозяин которого, всю зиму ждавший возможности заработать, явно поспешил: солнце обмануло, и на все следующие дни установилась порывистая ветреная погода. Сидеть в такую погоду в кафе, да еще и пить холодное пиво было похоже, скорее, на процесс целенаправленного закаливания, но организм, соскучившийся за зиму по теплу, и легкое повышение температуры воспринимал как дар Божий — почти не мерз. Весной вообще мерзнешь меньше, чем осенью, особенно если наградой за неуместно холодное пиво тебе будет одно из самых приятных развлечений этого кафе — возможность ленивого разглядывания проходящих мимо, обнажающихся навстречу весне девушек. Пусть даже стоимость просмотра включена в стоимость пива.

Я вышел из редакции с молодым коллегой выпить пива на ветру и поучаствовать в долгожданном просмотре женских тел, здесь-то к нам и подошел плотный мужчина моих лет, приподнял темные очки и тоже спросил: «Не узнаешь?»

И я его сразу узнал: в те времена, когда мы оба за нею ухаживали, он мечтал стать шпионом (впрочем, шпионами назывались враги, а наши назывались разведчиками, он мечтал стать разведчиком от КГБ), видимо, насмотревшись сериала про Штирлица, но, кажется, не стал. Я слышал, что он стал заметным богачем, в подтверждение чего возле пивной стоял его сверкающий мерс. Действительно — какое русское богатинство без «мерседеса»! Иначе бы никто и не поверил. Он похвалил газету и сказал, что с удовольствием ее читает, попросил разрешения присесть, заказал пиво. Мы быстро перешли в разговор к ней, поскольку нас связывало только это, и мой молодой сотрудник деликатно удалился назад в редакцию.

— Ну да, она поступила и в техникум, и в институт, все как было запланировано, — сказал он. — И стала сначала младшим товароведом, потом старшим, а потом директором торгова и сейчас тоже занимается торговлей.

— Вы встречаетесь?

— Нет.

— А откуда ты все это знаешь?

— Ну-у, знаю... — протянул он, а я почувствовал, что наступил на неудобное.

— Так ты ее с тех пор и не видел, как мы расстались?

До той поры рассеянно смотревший в направлении своего “мерседеса”, он поднял на меня серьезный взгляд.

— Мы встречались с ней, когда *вы* расстались, — сделал он ударение на слове «вы», — когда она училась в своем техникуме и некоторое время после того, как она поступила в институт. Потом она вышла замуж...

Тут он потянулся за сигаретами и, сделав неловкий жест, опрокинул кружку с остатками пива. А если через двадцать лет при воспоминании о любви ваша рука дрожит и попадает вместо пачки сигарет в кружку пива, несмотря на то, что видом вы, как борец-тяжеловес, то это ясное указание на то, что любовь была настоящей. Женщины уже может и в живых не оказаться, а руки и губы все дрожат о ней.

Пока ему несли новую кружку, он боролся с сигаретой — не мог найти конца, с которого прикурить. Черт возьми, вполне возможно, что он даже ревновал ее ко мне — сейчас, спустя жизнь.

— И что же муж? — спросил я после паузы и, наверное, совершенно не уместно и не логично.

Муж у нее был самый реалистический, делал карьеру, обеспечил ей благосостояние. А ты что — хотел, чтобы был, типа, поэт, да? — ухмыльнулся он как будто в мой адрес, впрочем, не очень язвительно. — Вообще — пустые ожидания, как говорят гадалки, были ей совершенно незнакомы, ты же знаешь. Лишь идиоты тешат себя мыслями о несбыточном: вот, мол, свалится куча денег, придут, заметят, оценят, пригласят, возьмут замуж... Это, по существу, естественным образом женская точка зрения на мир, но иной раз она свойственна и мужчинам. В ней всегда содержится этот дурман неизвестности, незаконченности текущего события, вероятности чего-то большего, загадочного, того, что ты действительно заслуживаешь. И это парализует волю, делает из человека вялого придурка, но в то же время делает жизнь слаще или, по крайней мере, выносимее. Вот, еще немного, и... вывернет из-за того угла Царевна Несмеяна, рассмеется и с ходу даст. И именно тебе. Просто потому, что ты единственный, кто ей нужен...

Он воодушевился и, кажется, уже справился с волнением:

— Это тот кайф пустых надежд на невероятное, без которых иной раз просто не выжить, человек так устроен. Ими и тешишь себя, пока уж не выпадут все волосы вместе с зубами.

Он помедлил:

— Правда, она была устроена не так. Тоже — талант своего рода.

— У тебя какое образование, философское, что ли? — спросил я, пораженный разработанностью вопроса, чего уж никак не ожидаешь от человека, вылезшего из “мерседеса” посреди занюханного русского городка. А в его разоблачении меч-

тательности мне послышалось раздражение — то ли на всех «пустых ожидателей» вообще, то ли на себя самого, потерявшего из-за мечтательности слишком много времени, то ли на подругу нашей юности, не ценившую этого качества в человечестве, — окончательно мне не было ясно.

— Образование? Никакого, — сказал он спокойно, без стеснительных оговорок за свою необразованность — «оставалось, мол, только диплом получить, да либо мать умерла, либо жена родила», но также и без чапаевского плебейского гонора — «мы университетов не кончали». — Это тебе нужно образование, а мне не надо.

Я всегда поражался — как это в России можно быть умным, да еще и с деньгами? Мне всегда казалось это противоречием в основании. Я подозреваю, что между мечтой о шпионстве и приобретением состояния он все же успел где-то поучиться.

#### 4.

Зато внешность у нее была совершенно романтическая. Высокий рост, длинные каштановые волосы ниже плеч с челкой, которую в России среди гуманитарно озабоченных людей принято называть «ахматовской» (мы же, рожденные в рабочем предместье, разбирались тогда в этом слабо, так что определения изначально ретроспективные), полные губы, которые в прочитанных позже зарубежных романах принято называть чувственными, и длинные стройные ноги, которым нынче, когда они стали товаром, присвоена торговая марка «растущие от ушей». Ноги, правда, были немного простовато вырезаны, без особенного изящества, которое обычно появляется уже у взрослых женщин, а у нее они еще не избавились от подростковой угловатости, если не сказать — аляповатости, но — в четырнадцать-то лет это обычное дело! Все подростковые ноги напоминают изделия советской (или теперь — китайской) фабрики пластмассовых игрушек, где швы от склеивания двух частей куклы слишком заметны и глазом, и на ощупь, — непонятно, что в них находил Набоков и другие певцы и практиканты педофилии? К сожалению, я так и не увидел, сделались ли они, в конце концов, изящными, — мы расстались в самом начале этого процесса. Однако в то время их длина и стройность казались мне достоинством абсолютно универсальным, не требующим никакого усовершенствования и дополнения, тем более, что это всегда подчеркивалось неизменной короткой юбкой. Эротизм деталей был тогда неведом ни мне в восприятии, ни ей в подчеркивании их одеждой — для такой утонченности мы оба были слишком юны. Ведь юность — это время почти что асексуального эротизма больших оголенных пространств и романтической нечеткости изображения, размывающей детали. Чуть позже, в период физического расцвета и телесного избытка, приходит высоковольтный половой инстинкт, заставляющий с членом наперевес бросаться на любую самку, и в это время тоже не до подробностей, они просвистывают мимо, размазываясь как близкие деревья при езде на скоростном поезде. А чувство детали — эта родина поэтов и художников — приходит зачастую вместе с импотенцией — еще позже.

Словом, это был типичный образец юной женской особи в первом полудетском расцвете, сводившей с ума всех, кто задерживал на ней взгляд — и юношей, и взрослых. И самым сногшибательным элементом ее облика были огромные, карие, чуть не вполлица глаза, которые и запустили в мои жилы ток, едва я впервые пересверкнулся с ними взглядом, и я уже не смог оторваться от этого романтического генератора почти два года. Кто-то, возможно, «заряжался» от других

частей ее тела, которые тоже были хороши, но я от глаз, по крайней мере, первое время, когда они были мне доступны для разглядывания. В ее глазах были еще две изуверские детали, которые в соединении давали просто термоядерный эффект: у них было наивное, немного недоумевающее выражение и длинные ресницы, которыми она время от времени не без кокетства взмахивала, то есть взмахивала специально-отработанно, немного театрально, а не инстинктивно: взгляд, пауза, хлоп-хлоп — несколько мужских трупов на линии взгляда.

В тогдашних любовных стихах не слишком литературного юноши я сравнивал ее глаза... с чем там? Ну, с чем надо — с бездонными озерами, с бескрайним небом, со светом двух маяков или одного, но очень яркого, — уж точно не помню. Помню, что было еще сравнение с факелом Прометея, а также с горящим сердцем Данко, то есть содержались запоминающиеся образы из успешно усвоенной текущей школьной программы по сразу двум дисциплинам — древней истории и отечественной литературе.

Сейчас бы мне ее облик не показался столь уж романтическим, но в ту эпоху это был самый распространенный романтический образец, содержащий наиболее основательные визуальные штампы полового романтизма второй половины двадцатого века, некий его архетип, невозможный никогда раньше и, по сути своей, асексуальный: женский силуэт, лишенный выпуклостей и округлостей, словно выпотрошенный или высушенный, подставляющий мужским ожиданиям вместо женщины — девочку-подростка, навязывающий им сексуальные чувства и переживания на грани педофилии или гомосексуальности (наверное, это тоже какая-то «тонкость», но весьма искаженная, если судить с позиции так называемой «унылой нормы»). Говорят, что в создании и пропаганде этого образа большое влияние имели знаменитые кутюрье-гомосексуалисты, которые во всех движущихся объектах склонны видеть мальчиков-подростков, и эта «мальчуковость» была спроецирована на женщин. Причем этот архетип стал интерконтинентальным, перескочил границы политических формаций и поразил сексуальное воображение поляризованного мира вне зависимости от принадлежности к тому или иному полюсу. На западе это произошло после смерти грудастой Монро и намеренно или бессознательно вылепилось в куклу Барби. У нас же этот переход произошел, возможно, не столь резко, без этого американского всесветного свиста и рекламы, но образ тоже стал множиться и стал универсальным: вспомним мультяшный персонаж 70-х — плоскую девицу из мультфильма «Бременские музыканты», на память также приходят образы поистине всенародного подсознания — рисунки из девичьих и дембельских альбомов, а также однообразные иллюстрации в журнале «Юность» той поры: стремительность, худоба, подвижность, летящий облик, палкообразность, отсутствие выраженных изгибов — чем не аллегория романтики!

Но то, что это была любовь, я знаю точно. Обычное мужское рассредоточенное блуждание в поисках самки, когда из непереносимого разнообразия вариантов не можешь наверняка предпочесть ни один (у одной — грудь, у другой — глаза, у третьей — губы и ноги или ум и зад), здесь моментально улетучилось. Все стало просто и ясно: она — моя. Это была упорная, сверхсильная, в том смысле, что я не мог с ней совладать собственными силами, сверхразумная (собственным разумом), и даже сверхсексуальная (поскольку даже помыслить себе секс с этим воздушным созданием было все равно, что использовать икону в качестве порнографической открытки) тяга к одному объекту. Такое бывает всего пару раз в жизни даже у заядлых женолюбков. И уже других женщин для тебя не существует, ты просто их не замечаешь. А если дело происходит в юности, да еще это оказы-

вається першою любов'ю, то для тебе не існує не тільки інших дівчат, але і взагалі нічого іншого в світі. Миттєво відлітають в ніщо товариші, школа, батьки, книжки, в яких не написано «про це», відлітає їда і сон. І ця монотонна однозвучна тяга переслідує тебе день і ніч, закладаючи вуха і застилая мутною пеленою очей, вона піднімає тебе з койки задолго до будильника, до того часу, коли ще можна щось розумно навратити батькам, і гонить бегом через весь місто в російській зимній утренній темряві і холоді — на іншу його кінець, щоб подивитися, як вона виходить з свого обнадіяного під'їзду в школу. І потім піти за нею, проводити її до дверей школи, йти в тридцять метрів ззаду, і замерзнути, чекаючи, і опоздати в свою школу, оскільки потрібно повертатися через весь місто назад. І робити це кожен день, поки батьки вже почнуть підозрювати тебе в чомусь непотребному, майже не змінюючи батьківщині, к щастю, в наркодилерстві тоді ще нікого не підозрювали, але щоденні вставання в шестого менше, ніж на змену батьківщині, не тягнули. Що я вважав тоді батькам? Пригадати мудрено: що я дежурний в школі, що ми зустрічаємося з друзями, щоб позаниматися спортом, і це могло звучати правдоподібно хоча б на деякий час, оскільки спортом я дійсно займався, що було майже необхідністю для хлопчика з передмістя і батьками, в принципі, одобрялось. Потім відкрилось, що це не так, батьки влаштували розшуки, а я чому-то боявся або, точніше, соромився признатися в тому, чим займався на самому справі, вважав щось інше. Чого вже соромного — бігав за дівчаткою? Тепер признаюсь...

І вона виходила в нагороду мені майже кожен день в звичайний час. Я завжди точно знав про це за хвилину до її виходу по посилюванню м'якого світла і тіней в її коридорі, який я бачив через вікно першого поверху, потім хлопала двері квартири, потім скрипела і хлопала двері під'їзду, всі ці звуки незмінно супроводжувалися переходом серця в режим кулеметної стрільби і приливом вогню во всі органи, — ось і вона. Я миттєво согрівся в мить її появи в дверях, навіть якщо приходилось простояти достаточний час, прячась за киоском Союзпечати або за деревами в її дворі, оскільки приходив завжди загодя, боячись опоздати до її виходу, бо бувало, що вона виходила трохи раніше, і тоді я бігав по дорозі до її школи, чекаючи нагнати, а не нагнавши, в розбитому стані плелся назад в свою школу. І весь день був псу під хвіст.

На більшій частині двері всі ж скрипели і хлопали вчасно, і вона виходила зі своїми розпущеними по плечам волосами і чудовою осанкою швидше балерини, ніж учениці торговельно-технічного училища, а я пристраивався за нею в тридцять метрів і умер би в ту ж секунду, як тільки вона обернулася, хоча вона, швидше за все, просто дуже здивувалася або навіть обрадувалася — бо ми вже були знайомі. І так — п'ятсот приблизно метрів волнуючого, майже щоденного переслідування, — поки за нею не захоплювалася важка двері школи. А мимо нас скрипели сагами, випарюючи через носоглотку, темні силуети сучасників, поспішаючи на свою унылу соціалістичну роботу.

Втім, капіталістична робота не менше уныла...

## 5.

Туристичної суті поїздки, де ми познайомилися, мені не вдалося зловити ні тоді, ні, тим більше, зараз, з роками, коли осыпалися могутні приоткрити цю тайну мелочи. Тепер ця затія мені здається ще парадоксальніше: чому з одного невеликого містечка в Підмосков'ї, утыканного заводами, потрібно було



ехать в другой точно такой же, только в Карелии, и упорно посещать там с экскурсиями какие-то бесконечные деревообрабатывающие производства, слушать лекции о том, как делается бумага, мебель и шкатулки из карельской березы, — все это я объяснить не берусь. Возможно, это показывает, до какой степени советский воздух был пронизан сакральными смыслами, в отличие от нынешнего буржуазного и прагматического, основанного на здравом. Этот последний в выборе каникулярного отдыха для подростков исходил бы из идеи отдыха с попутным увеличением каких-нибудь культурных знаний при помощи посещения музеев, исторических мест или отдыха на природе для подкрепления здоровья. Плюс к этому при выборе играла бы роль стоимость отдыха и его доступность кошельку родителей. Таинственные же мотивации советского времени могли включать в себя идеи «профорientации» или революционно-патриотического воспитания или чего-то еще более возвышенного, и вполне могло оказаться, что в этом деревообделывательном городе могла погибнуть какая-нибудь комсомолка или целый партизанский отряд, на что обязательно нужно было посмотреть. Но я этого точно не помню. В том ли городе под стеклами витрин краеведческого музея удалось увидеть пробитую пулей буденновку, очень красивый маузер, обгорелые письма, разбитый бинокль и потертую планшетку главного командира, а также заднее колесо от тачанки — или это собирательный образ краеведческого музея советских времен? Впрочем, говорят, что в Америке краеведческие музеи похожи на наши и там тоже можно увидеть разорванное седло генерала Кастора и шпоры времен тамошней гражданской войны. Маузеров тогда еще, кажется, не было, а то ведь — что за музей без настоящего маузера?! Мало кто не остановится, чтобы посмотреть на изящную тяжесть, чужую даже сквозь стекло, и элегантный, как нынче сказали бы, дизайн.

В той, прожитой нами социалистической жизни был один поистине мистический элемент, определявший ее суть, — это было действие, обозначаемое глаголом «давать». Все сущее — «давалось», но непонятно, кто был «даватель» и от чего зависело «даваемое», поскольку оно явно не зависело от желания принимающего или, по крайней мере, зависело не напрямую. Можно было довольно легко определить лишь низшую инстанцию распределителя, от которой далеко не все зависело: яблоня давала плоды, профком давал путевки, завком — квартиры, роддом — жизнь, суд — срок, женщины — заветное («честная давалка»), но все они были лишь исполнителями высочайшей воли Главного Давателя, который и решал основной вопрос эпохи: «давать или не давать» в глобальном, так сказать, смысле, в онтологическом. Но ни имя, ни образ его были неизвестны. Может быть, это было некое Оно, тап или Ничто, которое «ничтожит», этот вопрос хорошо бы оставить для определения профессиональным философам.

«Даваемое» при Советах почти не обсуждалось — хорошо, что «дали» или хорошо что «еще дают», — «могли бы и не дать». Так, верно, произошло и с путевкой, — она «далась» посредством профкома моим родителям на время школьных каникул. Обсуждать было бессмысленно. В Париж не давали, в Рим не давали, не давали и в Крым, давали — в Кондопогу. Выбора у родителей не было, у меня тем более, ничто от воли человека не зависело. Название города — насилие над вокализмом русского языка, запомнилось лишь через неделю переспрашиваний. Зато на всю жизнь. Район назывался Кондопожский, жители — то ли кондопожане, то ли кондопожцы, уточнять теперь не хочется. Сейчас же я склонен разрешать вопрос этой поездки в провиденциальном смысле: дали именно туда, куда надо, — чтобы там познакомиться с нею, год простоять перед ее окнами и через двадцать с лишним лет встретиться с нею снова и написать этот текст. В этом случае следствие становится причиной, как это обычно бывает, когда дело лежит в руце Провидения, пусть даже коммунистического.

## 6.

Мы разговаривали с ней в этой поездке едва пару раз, но память не оставила никакой зацепки для реконструкции сказанного. Умела ли она вообще разговаривать? Обворожительно улыбаться умела, еще и сейчас в памяти всплывает ее смех, ее улыбка. Голоса и выражения речи почти не помню. Лучше всего вспоминается, как просыпалась эта тяга к ней, как я почти не мог находиться наедине с собой, с другими, вообще — находиться вне ее присутствия или хотя бы вне состояния поиска ее. Вечерами я слонялся по коридорам даже не слишком облезлой, по советскому обыкновению, гостиницы в надежде, что она выберется из своего номера, где жила с еще двумя девицами, в холл смотреть телевизор. Если она выходила, то я с лицом, исполненным печали, пристраивался где-то рядом. Мину, думаю, делал значительную и загадочную, но — как уж получалось. А если ее не оказывалось в холлах, буфетах и коридорах — продолжал слоняться, чувствуя бессмысленность длящегося времени и существования мира в целом, лишенного ее присутствия; и — необыкновенное одиночество, которое в такой взрывоопасной концентрации чувствуется лишь в юности: хочется кричать, кусаться, разрезать себе что-нибудь из жил-вен, прыгнуть головой вниз из окна. Позднее научаешься загружать и мир, и время разнообразными предметами и занятиями, за которые удобно держаться психике, в юности ты лишен этих опор.

На завтраках, обедах и ужинах я куска не мог положить в рот, пока не находил ее в поле зрения, однако рядом старался не садиться, чтобы не участвовать в совместной процедуре чавканья, пережевывания котлеты и высасывания со дна стакана разварившейся груши от компота, поскольку невозможно было представить, как это я намазываю, например, масло на хлеб и раскрываю рот, чтобы его туда запихнуть под ее взглядом. Да лучше умереть! По существу же, мне не припоминается никаких деталей из этого периода, что лишь подтверждает исключительно романтический и дочувственный характер этой влюбленности. Больше всего помнится это очумелое состояние постоянной озабоченности и эта могучая тяга к ней — до гудения и закладывания в ухах, как будто ты находишься в самолете и он постоянно набирает высоту.

По приезде, вместо того, чтобы найти предлог для продолжения знакомства, что было бы довольно легко, я стал дежурить возле ее окон и встречать-проводить ее в школу и из школы. И делал это не из-за природной робости, а — по не вполне понятной поначалу для меня самой причине — инстинктивно опасаясь, что это чудо отстояния, этот сладкий туман отдаления, дающий возможность мелевать картину будущего по собственной прихоти и любыми красками, — исчезнет. Скорее всего, я и был влюблен именно в этот густой вероятностный туман, возникающий вокруг ее барбиобразной фигуры с расстояния тридцати метров сзади, густота которого, а следовательно, и количество счастливых вероятностей уменьшались вдвое при приближении к ней, скажем, метров на пятнадцать. Не говоря уж о том, чтобы приблизиться вплотную и пережить обман и яд реальной встречи, непереносимую трезвость встречи.

И это стояние в отдалении продолжалось довольно долго, замедляя мое собственное время непроисходимостью событий и погруженностью в созерцание ее окна. Когда мы познакомились, я был в девятом классе, то есть мне было шестнадцать лет, а ей было всего четырнадцать. Спустя год я все еще стоял перед ее окнами, отмечая незначительные изменения в композиции картины, называемой «окно возлюбленной»: клетка с канарейкой — на месте, кактусы — на месте, горшок с геранью тоже, между кактусами и геранью с некоторых пор, где-то посередине

этого «великого стояния», появилась оранжевая пластмассовая игрушка — Мишка. Кажется, у нее была младшая сестра в возрасте, когда вполне детские игрушки задвигаются подальше с глаз. В один из утренних приходов на месте оранжевого Мишки появился новый горшок с цветком, я не слишком разбираюсь в комнатных растениях, но вид и раскраску цветка помню — в положенный срок он расцвел фиолетовыми цветами. А потом сдохла и канарейка, завяли какие-то кактусы, пузатые кактусы сменились плоскими, два раза за этот срок поменялись занавески, а я все стоял. За всю последующую жизнь я ни разу не был так сильно влеком к женщине, не получая от нее никаких сигналов ответной симпатии. Вот — едва раздвигается тюлевая занавеска и появляется ее рука, потом прядь волос, потом то нос, то лоб, то подбородок, — начался процесс кормления птиц, который я наблюдал несколько раз, но чаще, к сожалению, этим занимались ее мать или сестра.

Затем был какой-то момент, когда я отъехал с родителями на отдых, а когда однажды утром вернулся поджидать ее в урочный час со стороны подъезда, а она все не выходила, я подумал, что заболела и не пошла в школу, и обойдя дом и выйдя на сторону ее окон, увидел картину, от которой тут же взбесился мой внутренний терморегулятор — мне в мгновение сделалось жарко-холодно-очень жарко-очень холодно, и так много раз подряд: клетки с канарейкой уже не было, а были совершенно другие занавески и другие горшки с цветами... Они переехали.

Я не то чтобы расстроился, я чуть было не скончался от горя, — получивства и полужелания были в ту пору мне неведомы. Первое, что пришло мне в голову — «они переехали в другой город, и я больше никогда ее не увижу». Стал думать, где достать ее адрес, и несколько дней, засыпая, мечтал, как я «брошу все», поеду куда-то там на «север дальний», почему-то думалось, что если уж она переехала, то обязательно очень далеко и на север, добираться нужно на оленях. Но вскоре все прояснилось. Оказалось, что переехали они всего лишь в другой район города — обменяли квартиру — и даже поближе ко мне, теперь не надо было так рано вставать, чтобы перед школой увидеть ее распушенные по спине волосы и стройные ноги, и я продолжал следовать за нею.

## 7.

Ритуалы человеческого общежития пританцовывают нас под посредственный аккомпанемент не всегда туда, куда нам хочется, даже если ты танцор хороший и ничего тебе, как некоторым плохим, не мешает, — не мог же я всю жизнь стоять под окном, обстоятельства подталкивали к сближению.

Оказалось, что в ее новом доме живет еще и моя одноклассница. Постоянное мельтешение под окнами возлюбленной было бы рано или поздно замечено, пересказано в классе, и я был бы зло, по школьному обыкновению, осмеян соучениками. Надо уж было либо легализоваться, либо перестать торчать под окнами. Кроме того, если раньше она жила на первом этаже, где даже сквозь густую тюлевую занавеску мне иногда доставались хотя бы мимолетные тени ее существования, а сквозь неплотно задернутую — серии мгновенных снимков шеи, волос и просунутой сквозь занавеску руки, то теперь она переехала на седьмой, наблюдение за которым стало более или менее бессмысленным: по свету в ее комнате можно было понять лишь, дома она или нет. И, наконец, самое важное: с некоторых пор она стала гулять вместе с компанией подростков, в которой были и парни, и девичьи, — ходили вместе взад-вперед, просто торчали возле подъезда или в подъезде, а я мог наблюдать за ними лишь издали. И тут меня стала грызть зависть

и ревность, от подъезда долетали частые взрывы смеха, девичьи взвизги и намеренно грубые голоса парней. У меня впервые появилось ощущение, приходившее впоследствии слишком часто: что жизнь, обогнув меня, потекла мимо. Нужно было решаться.

Лучше всего это было сделать через ту же одноклассницу, которая водила с ней дворовое знакомство, и мы быстро сговорились о посредничестве. Для женщин, после собственного кокетства с мужчинами, нет ничего привлекательнее сводничества, этой страсти они обычно отдаются с огромным азартом, а в иных случаях этот азарт превосходит даже и природную склонность к кокетству; мужчины же, кроме случаев прямого сутенерства, занимаются этим редко, обычно мужчина ревнует всех женщин ко всем другим мужчинам, в которых видит только соперников, а не товарищей в любовных делах. Одноклассница как нельзя лучше подходила для выбранной роли: она была не слишком привлекательна, поэтому особых претензий на мое внимание у нее не было, но при этом мы были во вполне приятельских отношениях. Придумали, что я к ней зайду, а уж туда под каким-нибудь предлогом будет позвана и моя возлюбленная, и мы, вроде бы случайно, встретимся. Так и устроилось.

Она опаздывала, а я нервно ерзал на старой табуретке одноклассницы, и если бы возлюбленная опоздала еще минут на пятнадцать, мои штаны на задку непременно бы вспыхнули. Сводница же моя ехидно улыбалась.

О-о-о! Она вошла, как солнце, как царица, как благоуханная роза, как цветущий многодуховитый сад, расточая чудесные запахи парфюмерного отдела ближайшего галантерейного магазина, где обычный выбор был не так уж велик — от «Шипра» через «Красную Москву» к какой-нибудь «Сирени» или «Гвоздике», и тем не менее, в условиях бедного и запахами социализма, и эти запахи казались мне благоуханием. Впрочем, возможно, что в то время мне казался благоуханием любой запах, отличающийся от запаха помойки. Так или иначе, она вошла, с запахом или без одного — я сказать по чести не берусь, но, что точно помню — обрадовалась встрече со мной и, кажется, не заподозрила нас с одноклассницей в подстроенности мероприятия. О том же, что мы уже более года встречались с ней почти ежедневно, я ей, разумеется, не сказал.

Что было потом, что же было потом? Память труднее всего удерживает это «потом» унылых прогулок вдвоем или компанией по улицам пыльного социалистического города, состоящего, кроме бесконечных одинаковых новостроек, — из груд строительного мусора, поваленных заборов с проросшими сквозь доски лопухами, дикой и неухоженной зелени кустов и деревьев во дворах, грязного водоема, большого количества безобразных складских помещений, темных закоулков и переходов между ними. Кроме того, если сравнить этот этап поцелуев, пугливых объятий, как бы нечаянных сдвигов руки с талии на ягодицы, робких и вроде бы случайных попаданий рукою на грудь, первых попыток расстегнуть лифчик (о, эти социалистические лифчики! — к тому же, по молодости, еще далеко не все типы застёжек были хорошо изучены и поддавались раскрытию движением всего одной руки), а также попыток положить руку на колено и повести ее вверх под юбку, — если сравнить это с последующими опытами тесного взаимодействия с другими женами и девицами, то, в любом случае, следует признать, что эти позднейшие были более полноценными и исполненными большего эротического или какого там — сексуального — удовольствия и даже достоинства. Все, что касается этой сферы интимного трения друг о друга с моей первой любовью, запомнилось мне, сказать по правде, не очень отчетливо и заслоняется в памяти

более яркими практиками с другими женщинами. Да и в случае с ней я особенно не стремился к прижиманиям и ощупываниям ее скудного тела, а скорее подчинялся здесь установленному природой и обычаями распорядку действий, который предполагает некоторое обязательное копошение и шуршанье по углам, чмоки поцелуев и все, без чего отношения не попадали бы в принятую тогда классификацию: «Вся гуляет с Машей». Важнейшим в определении ситуации был глагол «гулять» — то есть претендовать на исключительное право общения. Первое же время я просто осваивался с новым положением слишком близкого ее присутствия — на расстоянии протянутой руки, на расстоянии негромкого слова, на расстоянии дыхания и шепота, полуулыбки, скользких случайных прикосновений — и переживал эти замиранья «близости не вплотную» больше, чем последующие за ними опыты сплошного трения. На этом этапе взаимоотношений мне даже почему-то не мешали постоянные спутники из нашей компании, и я почти не чувствовал необходимости остаться с ней наедине.

Так или иначе, я стал участником компании юношей и девиц, центром которой была даже не она, а ее красота — некая отдельная субстанция. До нее самой, как часто бывает в подобных случаях, дела не было никому, включая, возможно, и меня. Вместе с нами, обычными подростками с окраины, передвигался по социалистическим улицам удивительный экземпляр очень удачной работы природы и, в отличие от других наблюдаемых удач творения — вида на речку Быковку с обрыва, плакучих ив Николаевского парка, закатов на западе и рассветов на востоке, — этот экземпляр всегда находился в приятной близости, разговаривал, учился в 8-м «Б» и даже получал те же самые двойки, что и менее приглядные экземпляры, — то есть все мы. Мне кажется, что это был какой-то небольшой период и в ее жизни, когда она сама чувствовала свою красоту точно так же отдельно от себя, как и все участники этих «прогулок с красотой», она тоже сама с собой гуляла или — «выгуливала» себя. Так, вероятно, бывает иногда с красавицами недолгий срок в полудетстве, когда они только начинают привыкать к новому образу себя (часто прошедшему стадию гадкого утенка), на который остальное человечество начинает реагировать весьма заметно и по нарастающей: комплиментами, конфетами, букетами, мороженым, кино, ресторанами, виллами, яхтами, а также предложениями рук и сердец вместе с виллами и яхтами. Только в это короткое время они, красавицы, еще не вполне понимают ужасную химическую силу красоты, способную ускорять процесс выработки тестостерона у мужчин, а вместе с этим делать их управляемыми, зависимыми, готовыми на все; а точнее — они, конечно, уже знают ее и замечают, но пока еще недооценивают, не научаются ею пользоваться в полной мере и превращать ее в частное предпринимательство, а то и в отрасль промышленности. Впоследствии, на закате, эта обертка бледнеет, тускнеет, осыпается, как штукатурка в брошенном доме, и тогда происходит самое ужасное для красавиц — приходится возвращаться к себе самой какова есть. Хорошо, если процесс эксплуатации красоты завершился более или менее удачно и есть на что жить...

Словом, позже мне часто казалось, что это был такой период, когда она еще недостаточно высоко себя ценила, лишь привыкала к своей высокой стоимости и позволяла общаться с собой задешево всяким придуркам... вроде меня.

Впрочем, как я втайне и ожидал, на возлюбленную мою лучше всего было смотреть издали или просто смотреть, не слушая и не участвуя в обмене скудными, возможно, и с обеих сторон, мыслями. Единственное, что иногда истребляло легкое, но постоянное ощущение пользователя дорогой и красивой вещи, доставшейся тебе не вполне по заслугам, это когда она иной раз грустно и робко улыбалась в мою сторону и делала такое опускательное движение глаз с выра-

жением так называемой «беззащитности», что мне хотелось от любви, нежности, а главное, от сострадания перевернуть, перекопать, перепахать, перемолотить, растереть в порошок и развеять по ветру весь этот дурацкий — само собой — мир ради того, чтобы она почувствовала мою опеку, твердость моего несгибаемого духа, надежное мое плечо и почувствовала бы себя, наконец, защищенной. Ведь эта так называемая «беззащитность» является химическим реагентом еще более сильным, практически ядом, который производит в организме мужчин химическую диверсию, побуждая их к действиям весьма разрушительного характера, направленным на защиту объекта обожания от предполагаемых или указанных самим этим объектом врагов. Все зло в мире от беззащитности!

В короткое время мне удалось захватить первенство в компании ее поклонников, оттеснить в сторону слабых, превозмочь нерешительных и добиться явного предпочтения у нее. Я стал бывать дома, познакомился с родителями, о которых тоже совершенно ничего не помню, кроме лысины ее отца и расплывающейся фигуры матери в узких социалистических проемах, и успешно перешел к этапу гуляния вдвоем за ручку, а также совместному посещению кино, поеданию мороженого — и далее по списку... Возможно, я тогда торжествовал некоторое время и гордился красивой подругой, но эмоционального следа в душе это тоже не оставило. Думаю, что должен был гордиться, первая любовь, как-никак, — и так удачно.

Остальных же участников совместных прогулок я припоминаю вообще смутно, за исключением будущего богатея, который уже тогда отличался повышенной вдумчивостью и последовательностью в поступках.

## 8.

Если в раю бывает зима, то погода этой райской зимой должна быть такой же, как в тот вечер, когда меня сильно избили из-за нее. Я хорошо это запомнил, потому что когда тебя бьют по голове, а в особенности ногами, вся экспозиция запоминается очень отчетливо.

Шел редкий снежок, но снежинки не падали, а витали в свете уличных фонарей. Возможно, они вообще не долетали до земли, а просто парили, причем иногда взлетали вверх. Думаю, что в раю это в принципе возможно. Небольшой пушок из долетевших все же снежинок лежал на земле, и ботинки человеческие оставляли на нем отчетливые следы, слегка смазанные со стороны каблука. И еще — была несвойственная городу тишина, будто звучащая, — только в диапазоне, который находится за пределами восприятия ухом, но ты просто чувствуешь этот звук, предслышишь его.

Вот в этом свете, в этой звучащей тишине и витании снежинок мы возвращались с нею, кажется, из кино. Улица была пустой, и я еще издали увидел четыре силуэта, стоящие невдалеке от ее дома. Я немного напряжился, но мало ли в России темных силуэтов расставлено по углам и подворотням. Это вообще один из главных признаков русского городского пейзажа и прежде, и теперь. Когда возвращаешься на родину после долгого отсутствия, это первое, что бросается в глаза, — не архитектура же, которой в русских городах давно нет, а именно это: всюду кучкуются темные силуэты молодых людей, зачастую довольно плотного телосложения, — чего-то ждут без видимого занятия. Первое, что приходит в голову, чтобы себе же самому объяснить это явление, — им просто негде сидеть: кафе и забегаловок и при Советах было не густо, а при демократах это удовольствие тоже не вполне народное. Подобные же городские картины можно увидеть в городах Южной Италии или Латинской Америки: молодые мужчины группируются от безделья, безработицы и отсутствия каких-то особенных интересов и занятий.

Где-то рядом бродит свирепая мафия. Разница с Латинской Америкой и югом Европы заключается лишь в том, что русские хлопцы стоят на холоде, где вообще-то стоять совершенно неуютно, и головы их, плотно обтянутые черными вязаными шапочками, закрывающими уши, напоминают зачехленные лампочки (русский город зимой — это пейзаж со снегом, белесыми домами и гроздьями зачехленных лампочек по углам). То есть они не просто стоят, а еще и подвергают себя испытанию холодом. Это загадка.

Словом, я не особенно встревожился — стоят и стоят, уже пару таких компаний мы прошли по пути из кино. Однако возлюбленная моя — я почувствовал это — неожиданно напряглась, ссутулилась и стала нервно прихихикивать. Мы поднялись на седьмой этаж, я хотел было прощаться у двери, но она завела меня в квартиру и не хотела отпускать, уговаривала переждать. Она узнала среди стоявших одного из своих не известных мне ухажеров, парня крупного и постарше меня, очевидно, зная про него что-то еще, она сильно разволновалась. Я же таким образом понял, что эти четверо ждут именно меня, но в этой ситуации уж я не мог отступить и показать, что струсил. Мы мягко поцеловались, и вот этот короткий поцелуй я помню отчетливо, возможно, потому, что он сочетался с почти любящим взглядом. Или это я так интерпретировал вину в ее взгляде, — ведь если этот не известный мне ухажер считал себя вправе вмешиваться в наши гулянья, то какие-то там сигналы она ему подавала, а теперь, возможно, раскаивалась. Впрочем, все это могло быть домыслом, но поцелуй запомнился.

Я вышел. Страх не помню, хотя страх запоминается в жизни чаще, чем все остальное — чем радость и счастье, — значит, он был незначительным. Возросши в шпанском рабочем районе, в уличных противостояниях, я чувствовал себя довольно уверенно. И даже не потому, что был способен раскидать в одиночку несколько хулиганов, хотя навыками уличного драчуна обладал достаточными, а, скорее, потому, что мог успешно на любом этапе подключаться к этому изысканному дискурсу русской подворотни: «А ты, ёптыть, Косого знаешь, да? — Сам-то я Косого не знаю, но знаю Серого, которому Косой лепший кореш, а названный Серый корефан самому Бобону, с каковым махались мы плечом к плечу, утратив всяческое гуманное представление о назначении человечества, и против клешевских, и против раздолбаевских и живота своего не щадили, не щадили живота-то, короче, в натуре, то есть хоть очко и играло, но член с пропеллером не пролезал, и махаловка закончилась полной нашей викторией...»

Ведь в те легендарные позднесоциалистические времена насмерть или до калечества забивали редко, так что, кроме необходимых физических навыков мордобоя, успех уличных противостояний и препирательств еще верней зависел от умения вести эти «беседы», «разговоры разговаривать». А в беседах всегда есть огромный простор для фантазии, маневра и компромисса.

Но на этот раз пространный дискурс не задался, а как-то сразу соскользнул к проклятым вопросам. Примерная суть беседы может быть восстановлена лишь пунктиром:

- Отрекись, падла!
- Не отрекусь.
- Бамс, бамс!
- Отрекись!
- Никогда!
- Ах ты, сука!
- Бамс, бамс, бамс.
- Уй-я...
- Опять — бамс, бамс. Кувылк.

Более полно подробностей беседы я, к сожалению, не помню. Вполне возможно, что какой-то, более сложный, обмен аргументами все же присутствовал, не бывает же русского мордобоя без хоть рудиментарного обмена аргументами. Помню, что в какой-то момент я решил оторваться и убежать, что обычно не использовал как прием в дворовых рукопашных битвах, а тут как-то, ввиду бессмысленности и унизительности происходящего, решился. Выждав момент, как-то отвлек собеседников, толкнул одного на другого и побежал. И я бы непременно убежал во всякий другой раз, но не в этот... Как назло, именно в этот дурацкий день мне пришлось в голову надеть на улицу новые ботинки на кожаной подошве — решил покрасоваться перед возлюбленной. Жители северных стран без дополнительных описаний могут легко себе представить, что значит бегать в ботинках с кожаной подошвой по снежному насту, жители же южных пусть поверят на слово — не убежишь. Да даже и решиться на беготню в таких обстоятельствах можно было лишь в поврежденном состоянии сознания после пары ударов по мозгам. Пробежав несколько шагов, я рухнул, а тут подоспели и поверенные в сердечных делах моего неожиданно объявившегося соперника; они же, в отличие от меня, были обуты более сообразно обстоятельствам — в ботинки на толстой микропоровой подошве, которая мало того, что не скользит, да еще и очень удобна, когда дискурс задействует все конечности, что и произошло.

Как всякий юноша, возраставший в заводских районах советских городов, я прекрасно владел специфической координацией движений, необходимой человеку, которого бьют ногами, да еще толпой: нужно поджать колени к груди, закрыть лицо руками, но не напрягаться, а мягко перекатываться, чтобы принимать удары вскользь и не по одному месту. Тогда почти не больно. И если не будут бить кирпичом по голове или резать ножом, что случалось довольно редко, то наутро можно даже в школу пойти как ни в чем не бывало.

В конце концов они устали, а уходя, мой соперник даже нагнулся и похлопал меня, лежащего, по плечу: «А ты ничего парень, не трус...». Забавная уличная солидарность во вражде: «Хоть мы, типа, и бьем друг другу морду, пусть даже и ногами, но ведь без злобы же и уж тем самым гораздо ближе друг к другу, чем те, кто этого по разным причинам не делает». Что, в целом, правда.

Я чувствовал себя победителем и притирал шрамы сражений перед зеркалом при помощи всегда присутствующей в нашей квартире для таких случаев бодяги — средства, ускоряющего исход синяков. В дверях вздыхала моя бедная матушка, а из-за ее спины заинтересованно посверкивал цыганскими глазами младший брат. Его подобные увлекательные приключения ожидали лишь года через три-четыре, пока же он находился в возрасте казаков-разбойников.

## 9.

Залечив синяки, я наведалься к возлюбленной и был встречен, как герой, вернувшийся из дальнего похода с победой и завоевавший тем самым право на руку и сердце Прекрасной Дамы. Несчастный мой соперник отступился, чего я, честно говоря, не ожидал. Я уже готовился к длительной войне и размышлял, кого из своих друзей смогу привлечь к военным действиям. Сдаваться я, разумеется, не собирался. Но он вдруг отстал — сыграло ли тут роль мое упорство или, что скорее, нежелание моей возлюбленной иметь с ним дело и ясное предпочтение меня. Он был чистой шпаной довольно брутального вида, а я — хоть и шпаной, но поблагодобнее.

Я же решил воспользоваться благоприятным моментом и приступить к следующему необходимому этапу ухаживаний — к поцелуям, но не к тем скользким, полутоварищеским чмокам, одним из которых она наградила меня, прощаясь в тот райский снежный вечер, когда мне набили морду, — такими мы с ней уже



обменивались, а к настоящим — с обниманиями и захватом слизистых оболочек партнера внутрь своих слизистых оболочек и проворачиванием их там в течение некоторого времени, а также просовыванием своих в обратную сторону. Что я вскоре и совершил и, скорее всего, в подъезде.

О, эти просовывания! Эти — сначала прижимания, потом ощупывания, скольжения по чулку вверх или по спине вниз до восхитительной выпуклости плоти... О, эти изворачивания, торопливые сдергивания, сползание, возня с пуговицами, какая резинка тугая! Как бы не порвать на ней последнее, ажурное — родители не простят! О, это усиливающееся возбуждение от неудобства положений, от напряженного ожидания открытия двери квартиры № 75, откуда пахнет прокисшими щами, или № 77, где начинается скандал и вот-вот хлопнут дверью, но — наплевать, нужно лишь захватить одной рукой её ногу под колено, поднять её вверх....

Черт, но это уже другой процесс... Мы же всего лишь о поцелуях.

Поскольку обстоятельств этого целования и эротических переживаний, его сопровождающих, я опять же не припоминаю, то подъезд — это просто самое вероятное место, где могла свершиться эта значительная в жизни всякого человека акция — первый поцелуй. Ведь жителям тех же теплых стран трудно себе хорошо представить, что поцеловать русскую девушку на улице — это большую часть года все равно, что лизнуть на морозе железку. Чувственности минимум, одна демонстрация привязанности, а кроме того — эстетической терпимости и эротической широты. Ведь русские девушки зимой всегда простужены, шмыгают красными носами, сопли тоже, бывает, текут, бородавки простудные на губах вскакивают. В Европе отдаленное представление о том, какими переживаниями может быть наполнено это событие, могут составить себе лишь жители Альп или Скандинавии, да и то там обычно теплее. Уж о жителях Африки или, там, Южной Америки нечего и говорить, у них для сравнения нет ничего подходящего по ощущениям — разве что попытаться разгрызть замороженную в холодильнике куриную ногу.

А посему подъезд русской многоэтажки социалистического образца (а это и по сию пору самый распространенный способ проживания русского городского населения) — это вообще одно из самых эротически насыщенных, насквозь пропитанных чувственностью мест в экспозициях русской жизни как в прежние времена, так и теперь. По крайней мере, концентрация чувственности здесь сильно превосходит такие общественные места, как пляж, баня, а то и публичный дом, где влечения как-то размазываются по более мелким, отвлекающим ощущениям, где то жарко, то мокро или, например, постоянные безмозглые прихихикивания проституток, то все эти несчастья вместе, где нет чувства интимности, усиливающей возбуждение украдки, когда ждешь, что вот-вот откроется дверь и выйдет сосед, и все увидит и расскажет кому надо; и желание возрастает до такой степени, что оно способно преодолеть и запах кошачьей мочи в подъезде, и запах близкого мусоропровода, и даже отвратительной запах стирки времен русской гастрономической катастрофы во все советское время, которой здесь несет из всех щелей. А стены подъездов сплошь расписаны руководствами наподобие Камасутры и даже комментариями к ним: «Маша Мише не дала, а у Вовы в рот взяла». Довольно часто здесь можно увидеть и подробные антропометрические данные всех особей женского и мужского полу в возрасте от 13-ти до годов, эдак, 25-ти — 30-ти, проживающих как в этом подъезде, так и во всех подъездах близлежащих домов.

Нигде эротические игры не бывают составлены из столь невообразимой, бурлящей помеси ощущений: из досады на отсутствие собственной жилплощади, распирающей плоть похоти, торопливости, преодоления брезгливости с проскользнувшим сожалением о невозможности, но желательности душа и необходимости почти гимнастической подготовки. Случайно ли в русских эротических

сборниках и на сайтах есть специальный раздел — «в подъезде»? То есть секс в русском подъезде отнесен к какой-то особенной разновидности сексуальных удовольствий (или извращений) — вероятно, наряду с изменой, инцестом, групповой и изнасилованием. Да и то правда — не каждый это сможет даже и в физкультурном отношении!

Словом — все должное свершилось, и нигде, кроме как в подъезде, оно произойти не могло. Напомню, что речь в нашем тогдашнем случае шла всего лишь о поцелуе и ни о чем другом, хотя сексуально модернизированному поколению нынешней молодежи, возможно, это и покажется непривычным пуританством или даже платоническим фундаментализмом (извращением).

О, затем было множество женских губ, — и при мимолетном только воспоминании об иных организм чувствует притекновение тепла во все важнейшие его части, но от тех начальных поцелуев с моей первой возлюбленной ничего не осталось в памяти ума и организма. Я вообще не помню ее губ, — видимо, это была не самая важная часть ее тела и облика.

И здесь пленка в кинопроекторе нашей юности начинает заедать и потрескивать, затем промельнула строчка «...Шосткинского химкомбината...», которую сменило расплывающееся на весь экран горящее пятно, а затем — только треск работающего киноаппарата и пустой экран с пляшущей сероватой рябью. Но если отвернуться в темноту зала и зажмурить глаза, а потом, чуть-чуть погодя, повернуться вновь, то можно на мгновение увидеть на экране идущий в тридцати метрах спереди девичий силуэт — в короткой юбке, с длинными волосами по спине и отличной, но поразительно несексуальной фигурой компьютерной куклы, исполненной в 3-D графике. Ни лица, ни запаха, ни звука. Я даже не помню, почему мы расстались.

## 10.

Нужно было еще по меньшей мере десять лет, которые и прошли, а знать, прошло их и больше, чтобы Барби советского образца медленно повернулась на экране памяти ко мне лицом, и расстояние при этом сократилось до, примерно, пяти метров, — и у нее оказалась чудесная грудь не менее чем 4-го размера, по советской же классификации, великолепии которой подчеркивалось глубоким вырезом платья, позволяющим увидеть долгую разъединительную полосу (сколько должно быть стараний разместить их соответствующим образом в лифчике!), столь же лучистые, как и в юности, глаза, правда, немного уменьшившиеся в размере относительно лица, что происходит практически со всеми глазами на свете — они почти никогда не увеличиваются по мере проживания; алгоритм же моргания остался прежним, и даже следы «распахнутости» были еще очень заметны (впрочем, подозреваю, что эта самая «распахнутость» есть просто специальный косметический эффект загнутых вверх, как у кукол, ресниц), наивности, пожалуй, — тоже, но уже появилось в них нечто новое, если не печаль, то, совершенно очевидно — вдумчивость в тревоги существования и еще очень ясно — точное знание собственной цены. Кроме того, я впервые узнал о наличии у нее шеи, которая была не менее прекрасна, чем остальные фрагменты моей первой возлюбленной, но прежде ее закрывали распущенные волосы, которые ныне были забраны в тяжелый нетугой узел, и красота этих волос в узле поразила меня до головокружения и желания немедленно закурить. Вместе с шеей, совершенно новой чертой ее облика, еще был небольшой двойной подбородочек, который ее совсем не портил, а был еще в той начальной стадии разрастания, когда он лишь украшает облик зрелой женщины; и еще были полновесные и полнокруглые бедра, сочетав-

шиеся с невероятным образом оставшейся тонкой талией, — и если взглядом скользнуть от нее вверх, то узость талии подготавливала неожиданность впечатления от груди — оно было столь же убийственным, как в юности от ее «распахнутых» глаз, только тогда это было воздействие свежести и полудетской-полуангельской прелести, а здесь — совершенной женственности, распирающей корсеты плоти, словно это была сама аллегория чувственности. Стоило ей, поведа плечами, сообщить великолепной груди легкое колыхание, как все мужчины, в поле зрения которых она оказалась, или смотрящие на нее в подзорную трубу, должны были бы падать замертво от резкого гормоноизлияния в мозг.

Мне захотелось уже не только закурить, но и моментально напиться от тоски и не-тебе-принадлежности всего этого, а еще точнее — от когда-то упущенной возможности того, чтобы все это принадлежало именно тебе. Я быстро сделал несколько рефлекторных глотательных движений подряд.

Так мы и встретились с ней — случайно, в электричке рязанского направления, идущей от Москвы. Я к этому времени вернулся домой после десяти лет скитаний и испытаний себя и сделался запоздалым студентом гуманитарного института, начав вести совершенно иную жизнь — простую, бедную и книжную, с ежедневной ездой из пригорода в Москву для учебы. И вот однажды, возвращаясь из института в конце месяца мая, я был озабочен экзаменами и сидел, опустив нос в книгу с, допустим, каким-нибудь Джойсом или того хуже — Гомером, а когда взгляд оторвался от страницы, то он наткнулся на эту самую грудь, которая притягивала любой взгляд окрест и которая размещалась, слава богу, не ровно напротив, а наискосок через проход, да еще и через лавочную секцию — расстояние достаточное, чтобы притягательность объекта не потеряла силы, но и для того, чтобы не встречаться взглядом с глазами над грудью, если не захочется. Ей, видимо, и не хотелось, поскольку она явно убирала свои глаза, когда я, взглянув выше полушарий, почти с ужасом обнаружил во владелице этой выдающейся плоти свою первую любовь и попытался организовать встречу взглядов.

Вот и уткнись так в случайную грудь в электричке! Безопасней для самочувствия было уткнуться в пасть злой собаки или в бригаду контролеров, будь я безбилетником.

А когда электричка трогалась и набирала скорость или когда притормаживала перед остановками — чудесная грудь 4-го размера в глубоком вырезе летнего платья отвечала ей продолжительным колыханьем. И каждому случайно нашедшему ее глазами становилось совершенно очевидно, что в этой пригородной электричке рязанского направления происходит лишь одно событие, сопоставимое (в контексте вечности) с шелестеньем свежей листвы за окном, — это колыханье груди не менее чем четвертого, повторяю, размера в глубоком вырезе летнего платья моей бывшей возлюбленной, не обращавшей на меня ровно никакого внимания!

А все остальные — пассажиры, попутчики, путешественники, ездоки, да и просто дураки дурацкие — лишь допущены о сём свидетельствовать и запомнить это на всю жизнь. А кто по какой-то причине ничего не заметил, тот тем более дурак. Ведь это колыханье по своему экзистенциональному напряжению сопоставимо лишь с просовыванием, а то и превосходит его. Нет, даже точно превосходит, причем существенно...

Она поднялась на выход за две, примерно, остановки до моей, а это могло означать лишь одно — она жила не на прежнем месте и, стало быть, была уже замужем (в России той поры незамужние девушки редко меняли местожительство, да и трудно было ожидать ее незамужности при таких внешних данных), — грудь ее в последний раз глубоко колыхнулась, мягкие шары перекатились в своем ложе, и на них отразились солнечные блики и перекладина оконного стекла

электрички; а затем, опустив глаза, чтобы не встретиться с моими, медленным поворотом плеч она извлекла свою волшебную грудь из поля моего зрения на следующие десять лет, но намертво вморозила ее в мою память. И все эти годы, прошедшие без встреч и даже сожалений о ней (слишком много всего произошло и со мною, и со страной, где я прежде жил), если я случайно вспоминал ее, то после секундного промелька кадра, на котором от меня удалялась, пружиня, угловатая девочка-подросток, тотчас же на экран вываливалась полновесная грудь в цветном изображении, исчерканная перекладами и бликами от окна, и уже не отступала, пока памяти было угодно возвращаться к этой женщине. Именно эта мягкая тяжесть слегка запотевших от тесноты корсета шаров из электрички рязанского направления, следующей от Москвы со всеми остановками где-то в конце 80-х, тотчас же и вывалилась перед моим затуманенным портвейном мысленным взором в конце апреля 2002 года, как только она назвала свое имя во время звонка в редакцию и обеспечила тем самым моментальный приток тепла в нужном месте организма. А наутро, пия аспирина после выдающихся вливаний портвейна, произошедших и от праздника, и от неожиданного волнения, я пытался в виде какого-то эксперимента осуществить просмотр более ранней версии изображения моей памяти — с девочкой-подростком, но — тщетно, сплошное удушливое култыханье этой проклятой груди заслоняло все на свете. Ранняя версия оказалась надежно стерта десять лет назад — в электричке.

И эта картинка тогда же сделалась одним из самых чувственных образов моей жизни, пугающих своей мистической неотвязностью и «слепыми наплываниями». Правда, если на Набокова «слепо наплывала» Россия, то на меня ее грудь. Каждому свое.

Но и этот образ приговорен был погаснуть.

## 11.

Любопытство или любознательность, как ни назови, — страсть, становящаяся иной раз сильнее таких очевидных, как пьянство, игра на деньги и любовь, и, как всякая страсть и стихия, легко переплескивается через края неглубокой миски здравого смысла.

Женщины моего возраста, даже если учесть, что она была на пару лет моложе, редко выглядят привлекательно, особенно русские. Мне стоило более серьезно отнестись к выбору картинки для рабочего стола моей памяти: коллаж из женских грудей, солнечных бликов и перекладыни окна вполне достоин того, чтобы с ним сначала жить, а потом умереть, ни о чем не грустя. И надо же было мне решиться на его неминуемую перемену! Слишком часто, при обращении назад, память подсовывает такие изображения, на которые лучше бы не смотреть, тем более ночами. Ведь смысл жизни, особенно в нашу эпоху визуального разврата, в каком-то смысле, можно представить в виде существенного положительного баланса счастливых картинок в памяти по отношению к отвратительным. А счет произведет в самом конце: справедливый Бог каким-нибудь волшебным способом извлечет из твоего усталого сознания «дембельский альбом» твоей жизни и, хмурясь, не спеша перелистает: у кого в результате проживания намалевалась одна дрянь или абстракционизм какой-нибудь — пошлют обливаться кипящей смолой в аду, меня же, с ее колышущейся грудью, послал бы сразу в рай, это точно.

А теперь уж даже не знаю, куда пошлют?

И особенно опасно проделывать эту операцию обновления картинок со своими прежними любовями, все это изначально обречено на провал, причем на худший вариант изображения будут перезагружены оба компьютера — и ваш и ее.

Но мысль о том, что я завтра снова смогу запросто увидеть свою первую возлюбленную, совершенно лишила меня чувства экзистенциальной безопасности, осталась одна бессмысленная страсть к познанию и что-то вроде тоски по молодости. Память же о том, как она отвернулась от меня в последний раз в электричке, придавала этому чувству оттенок мстительности — теперь вот сама просит о встрече — ну-ну...

Мы уговорились встретиться с ней через пару дней в центре города. Надо ли говорить, что все эти два дня, как только зажмуришь глаза, — мягкие шары выныривали из тьмы сознания, как буйки от потонувшей подводной лодки, и начинали невыносимо перекатываться, а затем — уж совершенно по-свински — сталкиваться друг с другом и долго-долго колыхаться. И ничем было не унять видения, примешь стакан коньяку — так вообще, кроме этих шаров, ничего становится не видно из окружающего тебя мельтешения живых и неживых объектов.

12.

Грудь из четвертого размера переросла, должно быть, в седьмой и произвела бы впечатление просто парализующее, если бы не две ошибки в дизайне. Она принадлежала природе и коррекции уже, видимо, не поддавалась: выступающие роскошные объемы груди съедались расплывшей частью, находившейся под нею, — на узкую девичью талию не было уже и намека, — и затем эта плоть, почти не увеличиваясь, переходила в бедра, также потерявшие свою выраженную возбуждающую овальность. Вторая ошибка была самодеятельной: вся грудь была наглухо затянута плотной кофточкой под горло — водолазкой. И я не сразу понял смысл этой грубой ошибки, обычно ведь женщины очень внимательно относятся к драпировкам, обтягиваниям и обнажениям и — вплоть до возраста полного износа — ежели у женщины есть хоть один фрагмент плоти, претендующий на то, чтобы служить сексуальному возбуждению мужчин, то, будьте уверены, именно его вам покажут в первую очередь. Здесь же таковым оставалась, несмотря ни на что, несомненно, грудь. И лишь чуть позже, приглядевшись внимательнее, я понял и эту уловку: подбородок моей возлюбленной преодолел за эти годы стадию двойного и подбирался к тройному, а высокий ворот водолазки был как раз попыткой это скрыть, впрочем это не всегда удавалось: то одна, то две, а то и все три складки при неосторожных поворотах переползали через край воротника. От чудесных волос не осталось и следа, на голове было что-то крашеное, короткое и бесформенное. И лишь в глазах, обратно пропорционально всему остальному уменьшившихся в размерах, я тотчас же узнал знакомые огоньки из юности, тогда, в электричке, для подобного впечатления я сидел далековато. Теперь ей было около сорока, а мне — чуть-чуть за.

Но это была моя первая любовь.

Мы побрели по родному городу, где оба выросли, где оба, с перерывами, провели жизнь, в городе достаточно маленьком, чтобы рано или поздно встретиться снова, и достаточно большом, чтобы встретиться лишь два раза за жизнь. Моя жизнь в последнее время была на виду, газета пользовалась популярностью, и она лишь уточняла детали, поэтому большую часть времени я расспрашивал её. Как не сомневался никто из нас еще в юности — она поступила в свой техникум, затем в такой же институт, много где успела поработать еще в советское время (здесь она с невыветрившимся почтением назвала ряд советских организаций, состоящих из нескольких корней, один из которых непременно был «торг» — «Райпромторг» или «Промторграй», запомнить было мудрено), а нынче у нее сеть обувных магазинов в городе или, точнее, магазин один и кроме него — обувные отделы в других магазинах. Торговать обувью ей очень нравится, о, это совершен-

но не то, что торговать тряпьем или продуктами, или даже бытовой техникой, про которую нужно все знать (а это уже другая профессия); а обувь — это совершенно иное, это очень романтично, это закаты и рассветы, это туфелька милой и шампанское из нее, это — вы идете вдвоем босые, а она держит свои босоножки в руке — каблук сломался, а ты — из солидарности — тоже босой, это лакированный ботинок жениха, который твердо и уверенно стучит по ступенькам Дворца бракосочетаний, это тонкие кожаные ремешки, обхватывающие точеную лодыжку, это суперсексуальные сапоги и эротичные валенки...

К моему удивлению, от ее гимна профессии обувщика действительно повеяло романтикой и даже — бери выше! — поэзией. Оказалось, что немецкие ботинки, что были на мне, куплены в одном из ее магазинчиков, о чем я ей тут же сказал. Это ее заметно обрадовало. Но по тому, как в паузах между улыбками и захватывающим пересверком глаз с огоньками из моей юности на лицо возвращалось не нейтральное выражение, а озабоченность, можно было догадаться, что пришла она не только для дружеских воспоминаний.

На встречу я выходил из редакции и чувствовал, как молодые сотрудники весело перемигивались, поскольку все были свидетелями того, какое впечатление произвел на меня ее звонок во время верстки. Все знали, что я иду на встречу с первой любовью, так как я сам это неосторожно выболтал из-за усталости и портвейна, а за спиной балагурили, думаю, и гораздо больше, чем я замечал. Перед выходом мне попала на глаза улыбающаяся Наташа и игриво предложила привести первую любовь для знакомства с редакцией, напоят, мол, ее и кофеем, и чаем, и чем прикажете... У меня и у самого эта мысль держалась до самой встречи: приведу в редакцию, покажу кабинет, чай-кофий, можно и коньяк, пусть посмотрит на эту увлекательную редакционную суматоху, как относятся ко мне люди, как меня ценят, любят, уважают, чтут, заискивают, как слушают малейшее мое слово. Стоимость всего этого необыкновенно возрастает как раз от возможности продемонстрировать родным, близким и товарищам юности: гляньте, о други, каков я стал, а с вами вот так запросто — как и прежде. Это мелкое тщеславие — одно из самых доступных и распространенных удовольствий после еды и секса. А иногда и вместо еды и секса.

Но увидев грудь седьмого размера и все, что располагалось выше и ниже, я понял, что не стану тешить тщеславие этим способом, потому что в ее расплывающемся теле отражается и мой собственный возраст, который был, как мне казалось, не столь заметен, пока я вертелся среди молодых девиц, груди которых хоть и находились в диапазоне всего лишь от первого до третьего размеров, зато пропирали даже сквозь плотные кофточки и бюстгалтеры, как шишаки кайзеровских касок.

Мы сели в кафе.

### 13.

Пока ей несли кофе, а мне пиво, мы весьма оживленно обсуждали биографии общих знакомых и вспоминали всякую всячину. Была отличная солнечная погода, особенно радостная для людей, заждавшихся весны и лета. Я спросил о семье и рассказал о собственной. Оказалось, что мужа у нее нет.

В разводе? — спросил я.

Нет, просто живу одна.

Она нахмурилась и явно не хотела продолжать. Зато есть взрослый сын — ему двадцать один, он учится в Высшей школе милиции и, как я понял, пошел по стопам отца — тоже милиционера. И тут я вспомнил и ее брата, как мне говорили — тоже служившего в милиции. Его я знал очень хорошо, и в какое-то школьное время мы состояли с ним в одной дворовой компании. Оказалось, что брат спился,

и она с ним почти не встречается. Видно было, что и об этом говорит без удовольствия, но и очень просто — не увиливая. Я не заметил даже и стеснения. О чем спрашиваю — отвечает, о чем не хочет — говорит, что не хочет, только глаза гаснут. Эта манера производила впечатление.

— А помнишь, Ириша, как мы однажды гуляли, а на нас из твоего дома свалилось тело какого-то несчастного самоубийцы, ну, чуть не на голову, а ты подняла визг и едва в обморок не упала, — вдруг вспомнилось мне.

— А ты тогда спокойно подошел и с деловым видом взялся щупать пульс и сказал: «Кранты, надо вызвать милицию». Тогда я впервые стала воспринимать тебя всерьез. Ну-у, скажем, серьезней, чем других. Я еще подумала тогда: «Надо же — какой смелый, мертвецов не боится, ведет себя так, как будто на него трупы каждый день валяются», — ответила она, и в ее глазах засверкала огоньками удивительная машина нашего с ней общего времени.

— Да я и сам боялся, но для тебя устроил представление. Как я сейчас понимаю, щупать пульс в таких обстоятельствах уже не обязательно. Впрочем, вот видишь — выпал он на мое счастье, а так бы ты меня еще долго не замечала. Это судьба! Кстати, а я думал, что ты в меня влюбилась после того, как меня отколошматили из-за тебя, помнишь?

— Я не помню, — улыбнулась она еще шире, — колошматили же тебя. Кроме того, я в тебя вовсе и не влюбилась, а просто предпочла другим. Ты мне казался самым верным.

— А я вот помню, что после этого мы стали целоваться, — сказал я.

— А мы еще и целовались? Какой кошмар, чем мы с тобой, оказывается, занимались в детском возрасте!

Мир отчалил от нашего столика и поплыл за ее спиной, размазываясь цветными пятнами. Ясным и четким оставалось лишь ее лицо с сияющими молодыми глазами. Мне стало очень хорошо — впервые за последнее время. Наступила минута ясности и покоя, которыми мы награждаемся всего несколько раз в жизни.

«А помнишь, как ты протянул мне руку, а я не смогла достать до нее и упала в лужу, и решила, что все — хватит с меня... — А помнишь? — Нет, это было не так. — А как? Ты ничего не помнишь. — Я помню все, что надо. Я только и делаю, что помню...»

Я не стал напоминать ей ту нашу случайную встречу в электричке, напоминание могло прозвучать как упрек, а мне не хотелось ее ни в чем упрекать. Лишь прижгла мимолетная печаль и ревность, что тот ее замечательный женский расцвет достался не мне, и я его уже никогда больше не увижу, и все прошло, и в это было поверить труднее всего, а теперь вот еще — я чувствовал это! — навсегда угасает в моей памяти и та картинка из электрички. И мне останется только — впредь любоваться заставкой из тройного подбородка и располневшего живота. Какой же я дурак, какая несправедливая дрянь эта жизнь...

— Девушка, девушка, пожалуйста, еще пива и... тебе что? Кофе? И еще кофе, пожалуйста.

Да какая разница, что я запомню! Я запомню этот ясный день, этот плывущий за ее спиной мир, пусть даже она и не так красива, как была в юности и молодости, мы все не так красивы, как были в юности, как могли бы быть изначально с рождения — и что? Все это ерунда, важно, что вот мы сидим сейчас вместе с той, которую я, может быть, всю жизнь любил и носил с собой ее мысленные фотографии в разных видах, что даже еще важнее, чем настоящая, картонная, с надписью — «твоя Маша». Что-нибудь унесу и теперь, от хорошего человека всегда есть, что унести. Пусть уж не будет этого, как его... трепетанья-колыханья, да

далось оно тебе! Унесу вот эти ее печальные страдающие глаза, эту мягкую радость зрелого человека, ее еще молодой смех, это спокойствие и достоинство, с которым она говорит и курит. И пусть мы с ней, по определению, не могли бы быть вместе ни минуты — и не о чем жалеть! — поскольку мы совершенно — не просто разные, но — несомненно противоположные люди... Пусть так, но есть ведь что-то и поважнее общих интересов, и красоты даже, — всех этих грудей, ног, задниц и других частей всевозможных тел, и — даже... поважнее молодости. Вот этот огонек, например, в ее глазах, легко прожигаящий двадцать с лишним лет, и, главное, — он принадлежит не ей одной, он принадлежит нам обоим, и только нам двоим, только мои глаза зажигаются от этого огня, как будто весь остальной мир обернут против него огнеупорной тканью, — и только наши глаза, только наши...

И тут она сказала то, зачем пришла:

— Скажи, пожалуйста, а вы стихи печатаете?

— А? Что?

— Вы стихи печатаете?

Само упоминание о стихах из ее уст было столь же неожиданным, как если бы передо мной сидел священник и, вместо напоминания о вечернем молитвенном правиле, спросил, не пою ли я на ночь «Интернационал». «А надо бы петь, сын мой». Её до крайности неромантическая натура, думаю, даже стихи из школьной программы переваривала через икоту, примерно как я некогда науку химию. Сама идея попытаться организовать слова при помощи чередования ударений и ритма могла показаться ей достойной конченного человека. Лучше уж пить, как ее брат. Так мне всегда казалось.

— Если ты, Ириша, вдруг запишешь стихи, то мы напечатаем их, несмотря ни на что, вопреки своему правилу не печатать никакого «творчества», — я язвительно подчеркнул последнее слово.

Она удовлетворенно ухмыльнулась и затушила сигарету в пепельнице. Но я заметил, что пальцы ее дрожали от волнения.

— Я-то не пишу, а вот мой сын...

Она полезла в сумочку и достала оттуда папку. Сладкая мысль о едином составе зажигательных смесей в наших глазах рассеивалась во мне под действием наползающего страха.

— Мой сын стал поэтом, — закончила она мысль.

Я даже и не понял, произнесла ли она это «стал поэтом» с иронией или всерьез. Интуиция подсказывала мне, что она этим не шутит. Скорее всего, возможные смыслы могли прочитаться так: если уж мой сын, так случилось, и стал поэтом, то отнестись к этому следует со всей серьезностью, как если бы он стал директором, ну, пусть не обувного магазина, но хотя бы мебельного — без всякого разгильдяйства!

— Илюша, — сказала она с заметным дрожанием в голосе — видимо, все это давалось ей нелегко, — только ты можешь нам помочь... Нам нужно напечатать эти стихи.

Кажется, я сразу протрезвел, а мир утих и пришвартовался обратно — к спинке ее стула. Ну, конечно, единственная причина встречи спустя двадцать лет — это то, о чем она сейчас будет меня просить. А ты-то о чем подумал? Ей неловко, у нее дрожат и губы, и пальцы, она много курит, пытаюсь вспомнить заготовленные дома слова, но существа дела это не меняет: тебя спустя двадцать лет разыскала твоя первая любовь, которая некогда не захотела тебе даже кивнуть, чтобы попросить об услуге, которую ты никому не оказываешь. И тебе неловко ей отказать. Почему-то неловко, черт возьми!



Впрочем — чего особенного? Я пытался обрести равновесие и оправиться от прилива обиды и злости. Ну, пришла женщина, что-то просит, могла бы и не быть первой любовью, могла бы просто оказаться обычной незнакомой увядающей женщиной, которой от тебя что-то надо, чего сделать ты не можешь. К тебе же обращаются люди с различными просьбами по двадцать раз в день, и если ты не можешь им помочь, то так и говоришь об этом или даешь какой-то совет, где для них могут сделать просимое. Ничего особенного — каждодневная твоя работа, можно сказать, рутина. Надо только дружелюбно и ясно разъяснить, почему ты не можешь напечатать эти стихи, дать совет отправить их в литературное издание, дать адрес этого издания, в конце концов...

Но я уже чувствовал неловкость и растущее напряжение от предстоящего отказа. Стараясь быть и беззаботным, и дружелюбным, но и твердым, вздохнув глубоко, я сказал:

— Видишь ли, Ириша... Я должен тебе сразу с сожалением сказать... дело в том, что мы общественно-политическое издание, газета, а это особый, так сказать, формат, то есть мы принципиально не печатаем не только никакого художественного творчества, как там стихи или рассказы, но мы не печатаем даже ничего, написанного не нашими журналистами, ничего, что не вписывается в довольно емкий и лаконичный формат. И за четыре года мы не сделали ни единого исключения из этого правила, возможно поэтому наша газета и пользуется такой популярностью и даже приносит доход...

Я сделал короткую паузу для дыхания и для того, чтобы отогнать искушение привести ей грубоватую, но убедительную, на мой взгляд, аналогию: «Ты же вот не торгуешь, Ириша, в обувном магазине колбасой и селедкой, и даже не торгуешь продукцией Малаховской тапочной фабрики, а все больше башмаками из Италии и Германии». И — удержался. Очевидное на примере обувного и селедочного отделов становилось почему-то даже обидным в своей очевидности, как только его проговоришь словами, но никак не убеждало людей подобного склада, а часто приводило в бешенство, — опыт у меня был. С другой же стороны, подобная помесь казалась им вполне естественной во всем, что касается газет, журналов и печати в целом, не говоря уж о том, что обычно они даже не ставили под сомнение саму возможность для себя судить об этих предметах. Боже, сколько у меня было советчиков из колбасных, вино-водочных и бакалейных отделов и магазинов, а также из всевозможных канцелярий, когда я начинал издавать городскую газету! Из обувного только не было. Вот теперь есть.

Сын трудных ошибок ясно давал понять мне, что я существенно влип.

Упрямо нахмурившись и глядя в стол, она пережидала мои слова, как пережидают мешающий разговаривать поезд в метро. На словах «ни единого исключения» она криво улыбнулась. А в паузе она меня опередила:

— Я могу заплатить за публикацию, — и посмотрела мне в глаза.

— Ты не поняла, — я отвел свои, — мы не печатаем стихов, до сих пор мы не напечатали ни строчки, уверяю тебя.

Не меня кривой гримасы, она ею же и усмехнулась, а потом достала из сумочки старый номер моей газеты, развернула его и подвинула через стол прямо к моему носу. В газете были стихи. Три внушительных столбика.

14.

Если судьбе угодно будет тебя известить, то это будет сделано при любых обстоятельствах и никакой расчет и предосторожности здесь не помогут, можешь хоть все распланировать, и все равно: ты отправишь жене письмо, адресованное любовнице; тебе приспичит перед свиданием с женщиной твоей мечты, ты отойдешь за угол, а она будет подходить именно этим переулком; ты сплунешь

с досады, думая, что ты один, а попадешь на ботинок, а хуже — на галстук начальника, от которого зависит твое будущее. Ты, наконец, забудешь то, что забыть, вроде бы, невозможно, и тебя уличат во вранье. Абсурдизм таких, казалось бы незаслуженных встрясок, более всего заставляет вспоминать о Провидении и попытаться понять его настойчивые рекомендации. Ну, не счастье же, которое всегда незаслуженно, всегда пьянит и лишь отвращает от судьбы и от попыток вчитаться в ее путанные тексты, наставляет тебя.

— Я предполагала, что ты мне можешь отказать, но думала, Илюша, что ты хотя бы найдешь для этого вескую причину и не станешь обманывать меня, — она запнулась, — старую знакомую.

Мне стало резать слух это обращение уменьшительным именем, которым меня редко кто называл. Мать и близкая женщина — варианты подходящие, но я даже точно не помнил, называла ли она меня так в юности. Скорее нет. Она вряд ли тогда была в меня даже влюблена и, как это часто бывает с женщинами, просто досталась мне, как кубок победителю соревнований, кубок — как это тоже часто бывает — переходящий, неокончательный. А затем перешла дальше — к более удачливому или менее романтическому соискателю. При чем тут «Илюша»?

Я посмотрел на опубликованные стихи и, несмотря на нервную ситуацию, едва удержался от смеха, но вовремя почувствовал, что теперь всякая моя лишняя улыбка, смех будут интерпретированы как оскорбление:

Я рано проснулась, так мало спала!  
Бандиты у власти — болит голова.  
Глаза лишь закроешь — кошмарные сны,  
На трупах народа шикуют они.

Потом было такое:

Предки наших мафиози — людоеды,  
Мясо ближних у них было на обеды.  
От них люди во все стороны бежали,  
Эти люди славу добрых умножали.

И сейчас потомки древних людоедов,  
Мафиози, нас глотают на обедах  
И на завтраках, на ужинах — всегда,  
От такой еды у них теперь беда;

Тонут все они сейчас в своем дерьме,  
Жизнь опасная их, словно на войне.  
Вот такие есть поганцы и у власти,  
Развалили всю страну они на части;

Могут съесть нас до конца — рукой помашут.  
За границей на поминках наших спляшут.  
Народ добрый, наконец-то ты проснись,  
На борьбу ты с этой тварью поднимись.

Несмотря на то, что ситуация угрожала взрывом, я не мог оторвать глаз от чтения. Дальше шло мое любимое.

Погребальный марш поют у нас дома,  
Им повсюду подпевают холода.  
Оборону держит мэрия в окопе,  
Оказалось комхозяйство у них в попе.

А бюджет для комхозяйства нулевой,  
труд работников при этом дармовой.  
И сантехник, словно раб,  
Он работает за так.

Болят руки его и тело,  
Нет у власти до них дела.  
Тепло тросом добывает,  
В стояки трос пропускает.

В карман власти трос пусти,  
Детям хлеб чтоб обрести.  
Минимальная корзина слесаря пустая,  
Зато максимальная в мэрии густая.

Дочитав, я все же не сдержался и засмеялся. Вся подборка была озаглавлена строчкой «В карман власти трос пусти» с невероятно удачным перебоем ритма и скоплением согласных: «т — р — с — п — с — т», — меня всегда передергивало от эстетического удовольствия. Подзаголовок публикации тоже был подходящий: «Пушкин — рядом не валялся». И рубрика: «Народ не безмолвствует». Стихи предваряла моя заметка, я и ее пробежал глазами, поскольку эта публикация была уже делом давним, и не мог унять хохота. Поэтке было 82 года. Стихи стала писать на пенсии и в основном на такие вот коммунально-бытовые темы: кран потек, мэрия окопалась, домуправ — скотина, зажрался, кошка родила пятерых котят, соседка — стерва, мужиков водит каждый день, по ночам гудят. Своего рода — радио в стихах. Выступала перед пенсионерами на лавочках, в основном — перед собственным подъездом, поскольку ноги уже плохо носили старушку. Иногда собиралась аудитория с трех-четырёх лавочек, ведь, как я понял из ее же рассказов, компании пенсионеров тоже как-то делятся и соперничают, как и подростки. И если подростки делятся по районам и улицам, то пенсионеры «по лавочкам». Словом, к ней на слушания приходили даже посидельцы с уж совершенно враждебной лавочки по ул. Осипенко. Это ж хрен знает где — идти почти полкилометра! Это был реальный успех, почти слава.

Об этом я и написал в своей заметке, которая, вместе со стихами, представляла, скорее, репортаж с места события, а не литературную публикацию. И это был, со всеми этими оговорками, все же единственный случай публикации, да и про него я совершенно забыл именно потому, что у меня в голове эта публикация изначально проходила по графе «репортаж», а не «наши таланты». Репортаж как репортаж, только с цитатами.

Я понял, что не смогу ей сейчас объяснить всего этого. Она подумает, что я приплетаю ей какую-то невероятную «отмазку», обидится смертельно и проклянет меня навеки.

Черт, все же мне не хотелось, чтобы первая любовь прокляла меня навеки. Надо было выкарабкиваться. Ну, что там, какие варианты? Ну, допустим, он пишет хорошие стихи про любовь, например, или про что иное, про что пишутся хорошие стихи... Кто он по профессии? Курсант Высшей школы милиции... если кто-то кое-где у нас порой... Про романтику милиционерской службы. Может, ко Дню милиции приурочить публикацию? Но до него еще долго — в ноябре, а сейчас

май, и она, видимо, хочет немедленно, до ноября она меня размелет в мелкую муку. Я представлял, как будут выглядеть тягомотные стихи о пользе милицейской службы на полосах моей газеты, где все материалы, кроме новостей, подавались с известной долей издевки над городскими и губернскими властями и вообще в ироническом ключе. Если они даже окажутся хорошими, то все равно это будет совершенно неуместно, а если плохими — тем более. Да и в любом случае нас изнасилуют местные графоманы, которые только и жаждут прецедента. И так вся редакция завалена «народным творчеством» и анонимными доносами, а теперь еще к стихам старушки будут добавлять в качестве аргумента и стихи милиционера. Черт, черт! Надо все-таки что-то придумать, хотя бы оттянуть решение.

— Ну, хорошо, Ириша, ты меня застрелила, убила наповал. Но поверь, я вовсе не собирался тебя надувать, это действительно единственная публикация, больше не было. Я и забыл про нее. И это, как сказать... ну, это не вполне стихи что ли, это эээ...

Тут я не нашелся, как это определить для нее, а она понимающе перебила:

— Я знаю, мой сын пишет гораздо лучше.

— Ну, хорошо, хорошо..... Давай я возьму домой и посмотрю. А потом что-нибудь придумаю. Позвонишь мне, например, в конце следующей недели.

— У меня нет двух недель, — сказала она, — я зайду к тебе через три дня, в пятницу.

Она почувствовала мою слабость и навалилась всем своим былинным бюстом, работая им как лебедкой, — бессмысленно было даже попытаться увильнуть от встречи.

— И еще, — продолжала она серьезным тоном, — я хочу тебе сказать одну вещь, наверное, это надо было сказать сразу. Я обратилась к тебе не только потому, что я тебя знаю. Тут много причин. Я не могу тебе даже всех рассказать. Просто мой сын очень любит твою газету, всегда ее читает и удивляется, как это ты никого не боишься. Я тебе не льщу, а просто говорю правду.

То, что она не льстит, было почему-то сразу понятно. Я молчал.

— Так вот, когда я ему сказала, что знаю тебя с детства, он очень удивился, сначала даже не поверил, и очень обрадовался. А когда еще рассказала, что ты был в Афганистане, мой мальчик теперь думает и говорит только о тебе. Дело в том, что он был в командировке в Чечне и там всякого навиделся и приехал другим человеком. Он там даже был ранен, правда, легко, уже все зажило. Это стихи о войне и о его товарищах. Ты же знаешь, как это важно для него и для его товарищей, чтобы про них было написано стихами. Он говорит, что только ты можешь это понять, ты единственный в этом городе. Поэтому он очень хотел бы напечатать стихи именно у тебя.

В руки мои и ноги натек жидкий цемент, а теперь еще, вместе с тоскою, наливалось понимание того, что им действительно был нужен только я. Больше струны она не могла найти в моем организме, чтобы побренчать на ней. Я действительно понимал, как это важно для ее сына, а особенно для его товарищей, как они от этого станут сильнее и увереннее в себе, как у них от этого может даже повыситься, например, меткость при выцеливании врага или стойкость в условиях, когда стоять и терпеть уж не будет никаких сил, или, по крайней мере, будет чувство, что о них кто-то знает и помнит, а их летописец, миннезингер, вот он, мать твою, рядом ползет... Кроме того, еще я знал, а она пока нет, да я ей, наверное, и не скажу, что этот случай со стихами ее сына напоминает мне одну неприятную историю: однажды я уже отказал при сходных обстоятельствах в публикации одному своему очень близкому другу, бывшему однополчанину, подполковнику в запасе, ни с того ни с сего вдруг расписавшемуся какой-то придурковато-

патриотической ахинеей и тоже пожелавшему напечатать ее непременно у меня в газете, после чего он мне перестал звонить. И мне даже думать об этом больно, поскольку, поскольку... эх, да что там говорить! — он был мне даже больше, чем родной. Если бы я был, например, охранником какого-нибудь банка или его директором, то я легко пошел бы для него на преступление, если бы он только сказал, что это его спасет. Скажем, я открыл бы там какие-нибудь банковские закрома и отсыпал бы ему этих самых денег, сколько надо для окончательного счастья или спасения, и не испытывал бы при этом угрызений совести. А здесь я, как ни вертелся, так и не смог решиться напечатать его патетическую злобу на всех и вся, едва утрамбованную русским синтаксисом, — и даже не только из-за того, что эти высокопарные патриотические сопли бросили бы тень умственной отсталости на меня самого, издание и моих коллег, а потому еще, что я не хотел выставить идиотом своего близкого друга, пусть даже он этого и не понимал, а, напротив, считал свои сочинения необыкновенной удачей.

Тогда, в подобных же обстоятельствах, я не нашел ничего лучшего, как также попытаться ему разъяснить, что, мол, тексты не вполне соответствуют характеру издания, употребил даже это слово «формат». Но такие ситуации безвыходны в основании: автору, если он не профессионал, никогда ничего не объяснишь про «формат» и что его текст почему-то не подходит. В разговоре мой товарищ легко разбивал все мои аргументы заявлениями типа: «Но ты же знаешь, что это правда? Знаешь, да, ведь знаешь? Ну скажи?» — «Ну, правда, — отвечал я, припертый к стенке». — «Но если это правда, почему тогда ее не напечатать в твоей газете? И тебе честь, и людям польза». И он так и не понял, почему я ему отказываю после стольких лет нашей дружбы, начавшейся на войне, — ведь он-то тоже был готов для меня на все. Короткая размолвка пререросла с его стороны, думаю, даже в презрение ко мне, после того как его где-то все же напечатали, и вскоре он стал довольно известным патриотическим писателем и уже издал все, что хотел напечатать у меня, отдельной книгой, и даже внушительным тиражом. И это, конечно, лишь утвердило его в мысли, что я просто «скурвился окончательно».

С тех пор мы с ним ни разу не встречались и даже по телефону не разговаривали.

— А почему он сам не пришел? — спросил я.

— Он хотел, но я сказала, что лучше пойду я.

## 15.

Вечером, лежа в кровати, я достал аккуратно сброшюрованную в пластик при помощи каких-то дорогих канцелярских приспособлений рукопись. Уже от красочного оформления титульной страницы на меня повеяло воинственными ветрами моей собственной юности — до сведения скул: бравый мент в «краповом берете» мужественно смотрел вдаль, закатанные рукава обнажали бицепсы «как у Шварценеггера», автомат небрежно болтался подмышкой. Это был рисунок тушью, берет же был раскрашен карандашом и фломастером в «краповый» цвет. И каким-то финтифлюшечным шрифтом был написан заголовок в пол-листа — ой-ё! — «Верность долгу». Я даже зажмурился от приступа ностальгии. С вариациями, в зависимости от рода войск, сочинение могло быть озаглавлено «Верность небу (морю, полету, самолету, парашюту, танку)», а во времена моей армейской молодости героического парня любили рисовать в тельняшке, в одной руке автомат, а другой он обычно обнимал за плечи светловолосую красавицу в очень короткой юбке (приблизительный образ моей возлюбленной того же периода — матушки этого парня — советской Барби); волосы романтически развевались, на заднем плане с неба

спускалась на парашютах грозная боевая техника, да и сам воин, видать, только что спустился с неба, и тут же к нему подбежала для обнимания девица в короткой юбке (или спустилась с ним же на соседнем парашюте). Почему-то эта простодушная эстетика очень сильно действует на юношей призывного возраста. Наверное, потому что простодушная, да и мотивы вечные: любовь, пулемет, парашют и другое. Прощание славянки, одним словом. Впрочем, действует не только на юношей, и на меня вот тоже — спустя много лет — действует до патриотических мурашек по коже. Глазницы мои увлажнились, и мне примстился запах ваксы от солдатских сапог.

Я подумал о том, что прошедший социализм был, скорей всего, не эпохой пресловутого «соцреализма», а вот этого героико-романтического стиля солдатской записной книжки и дембельского альбома. По крайней мере, именно он был самым массовым и, как оказалось, совершенно нетленным: солдатские песни, юмор (его называют еще казарменным, а мне и сейчас смешно), анекдоты, эстетика глаженных сапог, выгнутой бляхи, фуражки на два размера меньше, ушитого козырька и аксельбанта во всех возможных местах, — все это будит в душе нечто древнее, рудиментарно-патриотическое. Тысячелетний запах русской казармы.

Раскрыв рукопись, я сразу наткнулся на великую русскую рифму из разряда ботинок — полуботинок, лейтенант — старший лейтенант и полковник — подполковник. Здесь она была представлена тоже необыкновенно удачно: общественный порядок — беспорядок. Вообще я не без интереса стал читать дальше, и глазницы мои увлажнялись все больше.

Строчит пулемет бэтэра,  
А мы по-пластунски ползем.  
Заглохни, стальная холера!  
Сейчас доползем и взорвем...

Подборка была сопровождена еще и натуральной фотографией автора. Такие фотографии дарят девушкам: вполоборота, в форме милицейского спецназа, в груди значки и боевая медаль, взгляд мужественный и задумчивый, плечи широкие, лицо тоже. Я даже инстинктивно перевернул ее, словно желая обнаружить надпись: «На долгую, добрую память». Надписи не было, зато глаза у парня были ее, материнские, только двадцатилетней давности. Вполне «распахнутые».

## 16.

В пятницу я сидел за своим столом в редакции и нисколько не сомневался, что она придет, причем вовремя. И она вошла, дыша духами и... бриллиантами — в ушах, на пальцах, на груди.

Как вождю краснокожего племени, вигвамы которого окружила армия бледнолицых, мне предстояло выбрать лишь между различными разновидностями смерти — славной, бесславной, славной и мучительной или бесславной, но не мучительной. В любом варианте приходится чем-нибудь жертвовать. Ночью я решил заранее вчувствоваться в самый бесславный и мучительный конец, тогда все остальные покажутся более легкими. Напечатай я эти стихи, хорошо себя почувствует только она и ее сын, возможно — его товарищи. Учитывая качество стихов, думаю даже — не все. Плохо — я и мои сотрудники (большинство из них мои же ученики, взятые в редакцию еще студентами или даже школьниками), поскольку заподозрят что-то неприличное, когда после посещения дамы с бриллиантовыми кольцами в газете появятся стихи с несвойственным не только нашему изданию, но и обычному мирному человеку пафосом в духе «умираю, но не сдаюсь» или — «враг никогда не пройдет». Кроме того, и библейская забота о «малых сих» ложилась

на сердце ответственностью: всех идиотов не перекуешь, возможно, они вообще не кююмые, но родных и близких нам идиотов мы, по возможности, должны удерживать от поступков, за которые человеку разумному стало бы стыдно.

— Тебе чай, кофий или, может, коньяку? — я улыбался как можно шире и дружелюбнее.

Она посмотрела на меня, как на ненормального: какой там чай, когда такие дела решать будем! Но попросила кофе. Пока секретарша готовила и несла кофе, мы попытались болтать о несущественном. Выходило плохо. За свою журналистскую и редакторскую карьеру я отказывал тысячам людей, в том числе и знакомым... Боже, почему же мне сейчас так тяжело! Когда кофе принесли и я, собираясь с силами, отхлебнул глоток, она, не трогая свою чашку и не желая больше ждать, начала:

— Ну как — ты читал стихи?

— Стихи... стихи я прочитал...

— Ну, и?

— Ты знаешь, Ириша, мне понравились стихи твоего сына, я вспомнил молодость, бои, там, походы и все такое...

— Значит, ты напечатаешь?

— Она почти что перебила меня, вклинившись в незначительную дыхательную паузу, видимо, это был ее излюбленный профессиональный прием — опережать поставщиков ботинок в паузах.

— Видишь ли, Ириша, стихи хоть и хороши своей непосредственностью, искренностью и близостью к правде жизни...

Я озвучивал заранее заготовленный текст из каких-то старинных, советских еще времен, литературоведческих штампов, которые, как я всегда замечал, очень понятны бывают именно людям, не особенно искусственным в искусствах, а то и вообще в грамоте. Ничего глубже убедительной бессмыслицы этих штампов довести, как правило, не удается.

— Однако они еще не слишком совершенны технически, — продолжал я, — требуют гораздо больших усилий в обработке. Твой мальчик должен больше читать других поэтов, литературу по стихосложению, поработать над рифмой, ритмом и в целом — стихом...

— А ты не мог бы показать, над каким именно стихом он должен поработать и на что его заменить?

— Ну, Ириша, это выражение такое, «поработать над стихом», не над каким-то конкретно стихотворением, а над стихами в целом. Имеется в виду практика стихосложения — рифма, ритм, образы и так далее.

— Хорошо, а ты не мог бы вместе с ним над всем этим поработать, ну, дать ему уроки литературы, что ли, ну, как английского. Не бесплатно, разумеется, я заплачу, сколько необходимо.

Не хватало мне только ввязаться в литературное наставничество ее героического сына — смешная ситуация. Последний раз роль литературного наставника я выполнял лет десять назад, давая уроки в тишине одной творчески озабоченной секретарше с грудью почти столь же трепетной, как и у моей первой любви в ту же примерно эпоху (уж не встречей ли в электричке была навеяна страсть к полногрудой секретарше в качестве компенсации?). Секретарша тоже сочиняла стихи про различные переживания. Мы упражнялись с нею в стихосложении и в других дисциплинах, постепенно все более увлекаясь этими другими дисциплинами в ущерб версификации (но отнюдь не поэзии), пока не забросили стихосложение окончательно. В данном же случае сил для наставничества я в себе не чувствовал, да и смысла не видел.

— Ириша, я не поэт, я вижу некоторые несовершенства, но сам не могу ничему научить. Есть литературные объединения, есть, в конце концов, литературные журналы.

— Но ты же больше в этом понимаешь, ты же учился на что-то там литературное и, я помню, в юности ты очень увлекался стихами. Я думаю, ты мог бы очень помочь моему сыну. Тем более, что он тебе очень доверяет. Пойми, он мало кому так доверяет, как тебе. И кстати, ты говоришь, что там много всякого брака в некоторых стихах, но есть же и такие, где брака либо вообще нет, либо минимум. Так, может быть, эти, без брака — можно было бы уже напечатать? А остальные — после переделки. Ты знаешь, на некоторые из этих стихов он поет песни под гитару.

Черт возьми, никакие испробованные веками способы коммуникации с графоманами здесь не действовали. Лучше бы парень сам пришел. Вероятно, она всерьез рассчитывала, что я должен буду напечатать не только пару стихотворений из подборки, но всю тетрадь. Она была в этом даже уверена. Волшебный облик моей первой любви совершенно угас, заслоняемый маской сорокалетней женщины с упрямым напряжением в губах и вертикальной складкой в переносье. Даже в глазах уже не было ничего от прежней возлюбленной, а тот волшебный огонек юности обернулся вдруг адским полымем в глазах маньяка.

Ух! Я вспомнил тяжелые бои под Кандагаром, остался последний патрон и последняя капля воды во фляге, кольцо врагов сужается, первый, первый, я второй, вызываю огонь на себя, умрем, но не посраим... гвардия не сдастся...

Я понял, что она тоже будет стоять насмерть.

— Ты все время спешишь, Ириша, а между тем я придумал одну хорошую вещь. Дело в том, что у меня есть один старинный приятель, мы вместе учились в университете. Он литератор, пишет на военно-патриотическую тему, бывал на войнах, в частности, на чеченской, но самое главное — он работает редактором одного военного журнала, кажется, даже ментовского журнала, — то ли «Щит и меч», то ли меч и еще что-то такое. Им такие авторы, побывавшие на войне и пишущие о ней, позарез нужны. Он даже обрадуется. И думаю, после небольшой редактуры, все будет опубликовано. Он же человек опытный и в литературном отношении, даст всяческие профессиональные советы.

— Журнал называется «Щит и меч», фамилия твоего товарища Журавченко, он типичный бюрократ. Он нам отказал и еще нахамил сыну. Он сказал, что почти каждый, кто умеет писать, может научиться и стрелять, а наоборот, мол, это правило не действует.

Я растерялся, это был мой главный козырь, заготовленный с ночи — отправить ее к приятелю, который — и это был просто подарок судьбы, что я о нем вспомнил вовремя, — работал именно в этом единственно необходимом в такой ситуации журнале. Я и подумать не мог, что этот счастливый вариант отпадет, но она правильно назвала его фамилию, — ошибки быть не могло. Удивительным было лишь то, что он им сказал, — обычно в редакциях так, действительно, с авторами не обращаются, даже если журналы военные. Но вот ведь ... даже для его «окопной правды» стихи, видимо, показались не слишком подходящими. Мог бы и напечатать, черт бы его побрал! Чай, не «Новый мир»...

— Я тебе заплачу, — сказала она тихо, — столько, сколько потребуется. Сколько это стоит?...этого достаточно?

Она назвала сумму, равную моему трехмесячному доходу. Я нервно постукивал карандашом по столу и смотрел в дальний угол комнаты, собираясь с мыслями.



Опять не переждав паузы, она удвоила сумму до шести месяцев моего существования, чтоб мне легче думалось. Боже, какой доход приносят эти обувные магазины!

— Ира, перестань, я не могу это напечатать.

— Почему?

Ее голос стал плавным и тихим, из него разом исчез напор. Мне стало ее ужасно жаль. Да хрен с ней, тиснуть, что ли, полстишка про пулеметы-бэтээры-броники-хэбэшки-подствольники и дульные тормоза ко Дню милиции с фотографией дяди Степы, пусть успокоится. Вот влип-то на негаданном месте...

— Это слишком неумелые стихи, и когда он подрастет-поумнеет, побольше прочитает, ему самому будет стыдно за них. А сейчас ему печататься еще рано. Пусть продолжает сочинять, если ему так хочется, а главное — пусть побольше читает, особенно стихов. Пусть, в конце концов, придет, мы с ним поговорим, — решил я на наставничество неожиданно для себя, — и вообще, пойми, я тебе хочу добра, я не хочу, чтобы над ним смеялись, а заодно и надо мной.

Вот этого она, кажется, совсем не ожидала и потеряла контроль над мимикой: глаза быстро выросли, рот раскрылся:

— Но это мне очень удивительно слышать, ведь его товарищам нравятся его стихи, они их под гитару знаешь как поют, — голос ее звучал почти жалобно.

— Это ничего не значит.

— Но почему же не значит?! Ведь если это кому-то нравится, значит, есть и другие, кому это может тоже понравиться, тебе даже эта публикация может прибавить читателей.

Я понял, что у меня нет больше аргументов. Все мои литературные резоны звучат как ехидные, злокозненные отговорки, поскольку и товарищей во вкусах нет, и я не литературный мэтр, и вообще — она права: если что-то кому-то нравится, значит может, а то и должно быть напечатано. Вполне возможно, что она действительно думает, что я ее как-то изощренно надуваю, что есть какая-то тайна, кроме качества стихов, которая одним открывает дорогу к публикации, а другим, более невезучим — без связей и без денег — нет. А тут, вроде, и дружеская нога есть, и деньги предлагаются, и все равно ничего не выходит. Я видел, что она лишь злобилась, не в силах этого понять. Ожесточался и я. Я, горячась, заходил по кабинету и нес уж вообще что попало без всякого смысла.

— Видишь ли, есть определенный уровень литературы, выработанный с течением времени, ниже которого это уже будет не литература, не журналистика, а обычная художественная самодеятельность, которая не для Большого театра.

— У тебя что — Большой театр?

— Нет, но и не сельский клуб.

— А бабка как же? Они же еще хуже, ну хуже ведь, да?

— Бабка это — обычная самодеятельность, фольклор, в качестве такового он и напечатан. У нормального читателя это вызовет улыбку. Но она ни на что большее и не претендует, а твой сын претендует на некое серьезное творчество, на последнее слово правды о войне, а сочиняет пока еще в духе самодеятельности. Там столько неотстраненной простодушной патетики, что это тоже вызывает улыбку. И это невозможно напечатать всерьез. Ну, с серьезным видом, что ли... Над ним будут смеяться.

— Тебе это смешно? — спросила она с вызовом и почти с гневом. — Ну хорошо, это самодеятельность. Но напечатай его тогда в виде самодеятельности, как бабку, нам все равно.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что это... потому что это неприлично. Это будет нечестно с моей стороны.

Она задумалась. А потом сказала еще тише, не справившись с голосом в середине фразы и подняв на меня свои чудесные глаза, в которых опять на секунду промелькнула наша прошедшая юность. Или просто зародилась слеза:

— Я не смогу объяснить всего этого сыну. Он этого не поймет.

Меня позвали по делу в другую комнату. Я извинился и сказал, что через пару минут вернусь, но когда вернулся, ее уже не было в кабинете. Я понял, что вряд ли мы еще увидимся.

## 17.

— Нужно было напечатать эти стихи, — сказал он ровным тоном, которым выговаривают окончательные истины, глядя мимо меня на стоящий невдалеке свой мерс. — Эй, пацаны, а ну-ка, кыш от агрегата!

Мы сидели с ним в том же самом открытом летнем кафе под зонтиками, где случайно встретились три месяца назад незадолго до звонка Ирины, и за тем же самым столиком, где потом я сидел и с ней, — это было вообще самое удобное место в кафе. Группа мальчишек резвилась в опасной близости от его блистающей машины. Услышав окрик, мальчишки исчезли. Говорил он одним лишь ртом, почти не шевелясь и не меняя развалистой позы с вытянутыми на соседний стул ногами. Двигалась только кисть руки с сигаретой — ко рту и обратно.

— И деньги нужно было взять. Ну, допустим, не все, но половину надо было взять — и напечатать. И тебе хорошо, и она бы думала, что сделала для сына все, что смогла. Впрочем, напечатать надо было в любом случае. Дело ясное.

Встретились мы опять вроде бы случайно. Я вышел из редакции выпить пива в конце изнурительно жаркого июльского дня, он подъехал на машине прямо к столику, куда вообще-то въезд был запрещен, опустил затемненное стекло, и тогда я его узнал. Улыбаясь, он подсел ко мне, заказал кофе, и мы опять почти сразу заговорили о ней. Я стал рассказывать ему всю эту историю со стихами и встречей. Кажется, мне хотелось получить от него сочувственный кивок, понимающую усмешку, подтверждающую мою правоту. Для душевного спокойствия мне нужно было именно это, и мне хотелось получить это именно от него. Только он мне и мог это дать.

— Ее сын погиб в Чечне месяц назад, даже тела не вытащили. Я знал ее мужа, он был высокопоставленный мент. Ну, ты знаешь, менты на зарплату не живут, особенно в чинах. Короче, кому-то он там не угодил, наехала служба собственной безопасности, его сдали. Стал этим, как там, — «оборотнем в погонах». На нем там много всего повисло, и все вешали и вешали. Ну а потом он умер в тюрьме от чего-то сердечного, как это обычно бывает... Сын уже к тому времени служил в ОМОНЕ и заочно учился в этом ментовском институте. В его положении лучше всего было уйти из органов к чертовой матери. Но он, несмотря ни на что, оставался, да еще и служил в самом каком-то крутом отряде, в Чечне бывали часто. Он просто хотел там что-то доказать за отца... ну, ты понимаешь... В ментовском журнале его не напечатали, думаю, не потому, что стихи были какие-то особенно плохие, а потому что твой приятель-редактор испугался фамилии, ему бы за публикацию задницу надрали. А мальцу это было очень нужно. Твоя газета действительно была их последней надеждой, напечататься в родном городе, где фамилию отца знали, сам понимаешь... Она просто не смогла рассказать тебе всё.

Я молчал и вместе с ним смотрел на его “мерседес”.

— Ты извини, конечно, я твою газету всегда читаю и покупаю... Но если, скажем, представить, что ее бы после этой публикации прикрыли на хрен, ну представь

себе такое, что, конечно, скорее, невозможно, — продолжал он, — то, как бы тебе сказать, ты только не обижайся, у тебя отличная газета... то ты мог бы спать спокойно: все самое хорошее твоя газета уже сделала. Ну так прикинуть: разве не за этим она еще нужна?

И тут у меня как-то вдруг все связалось: и его вроде бы неожиданные появления, влекущие за собой возврат в мое зрение полузабытых уже образов, и тот ее пьяный звонок в редакцию сразу после встречи с ним, и несвойственное ей, судя по тому, какой я ее увидел при встрече, придурковатое телефонное кокетство, которое никак не вязалось с ее страдающими глазами и трезвым расчетливым умом, — видимо, она этой развязной чепухой гасила страх и неловкость необходимой ей встречи. Все же я был для нее не поставщик обуви...

— Так это ты ее ко мне послал? — спросил я.

Но он не слышал вопросов, на которые не хотел отвечать.

18.

Газету мою через некоторое время действительно прикрыли. Нет-нет, это вовсе не была месть «человека с “мерседесом“», о чем вы, может быть, могли подумать. Это был в какой-то степени закономерный конец всякого русского дела, не основанного на пресмыкательстве перед властями или на больших деньгах и связях. Я даже давно уже ожидал чего-то подобного и встретил случившееся равнодушно и весело. И произошло все тоже по классическому русскому образцу: понаехали люди в масках, все перевернули вверх дном, забрали финансовые документы, унесли компьютеры и сильно напугали рекламодателей. Продолжать газету больше не имело смысла.

Как и прежде, я не часто вспоминаю о ней. Но теперь, когда это происходит, то на место ее стройных ног и длинных волос со спины, на место магического колыханья плоти и даже на место тройного подбородка, спрятанного за воротом водолазки, из каких-то неконтролируемых тоннелей памяти всегда наплывает другая картинка — молодой человек в форме ментовского спецназа с глазами из нашей общей юности. И это изображение мне хочется стереть более всего.

*Февраль — 17.06.2004*

## ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ЧИСЛА...

\*\*\*

Я согласен назвать ностальгией  
Бесконечно тягучие сны.  
Вижу лица, но лица — другие.  
И другие приметы весны.

Подступающий миг пробужденья  
Не пугает реальностью дня.  
Но сменить бы мне дату рожденья,  
Раз уж адрес иной у меня!

И, посмертные слепки снимая,  
Счет ушедшим мгновеньям веду.  
Я сегодня, что лошадь хромая,  
Сбился с шага и сплю на ходу.

Не задворки, зады, перекопы,  
Не обмылки в гремящих тазах...  
Я стою посредине Европы  
С азиатской тоскою в глазах.

### ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

Не понимая ни хрена —  
На том или на этом свете,  
Прислушался: сопит жена  
И дышат безмятежно дети.

С чего вскочил? Всему виной,  
Что было принято неслабо.  
Приснился дикий сон дурной  
И сладкая чужая баба.

Еще не кончился завод,  
В башке — сумбурное уродство.  
Сейчас будильник позовет  
На доблестное производство.

Жена проснётся — пригвоздит!  
Ему б рюмашек пару-тройку,

И пусть по радио пиздит  
Генсек про нашу перестройку.

ГРУЗИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ

*Яну Гольцману*

По дорожке — пыльной, старой,  
По тропинке — да не споро! —  
Чок да чок — бычок Цикара,  
Чок да чок — бычок Никора...

Путь неблизок, мир нетесен,  
День не скуп на свет и краски —  
От чуть-чуть печальных песен  
До наивной грустной сказки.

И неспешные отары  
Тянутся нешумно в горы,  
Где остался след Цикары  
И не стерся след Никоры.

Потому что в этом мире  
Друг — твердыня и основа,  
К двум твоим — придут четыре  
Добрых дела, добрых слова.

О добре ведутся споры,  
И про зло талдычат свары...  
Кто придет на зов Никоры?  
Кто услышит зов Цикары?

Ветка к ветке, камень к камню —  
Свить гнездо, сложить дорогу...  
Протянись твоя рука мне —  
Сразу чувствую подмогу!

И по-русски: скоро-скоро!  
По-грузински: чкара-чкара!  
Чок да чок — бычок Никора...  
Чок да чок — бычок Цикара...

*14 февраля 2003*

РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

рифма  
интонация  
метафора  
точный звук  
высокая поэзия  
жалкое стихотворство  
ремесло  
призвание

профессия  
и раньше все было то же  
что и теперь  
когда вы теряетесь  
перед эксклюзивным дистрибьютером  
не решившим проблему трансферта  
в связи с колебанием котировок...

хорошо  
если вечер дождливый  
накиньте старый плащ  
(именно старый плащ  
а не модную куртку)  
отправляйтесь бродить  
по тихим переулкам...

дробно стучат дождевые капли  
шелестит ветер  
гоня опавшие листья  
сбивая их в слипшийся ворох  
на жухлой мокрой траве  
где-то в окнах домов  
голоса  
музыка  
а здесь промячит бродячий кот  
протрусит бездомная дворняга  
(конечно вас могут избить  
за то что вас нельзя ограбить)  
но еще остается слабенькая надежда  
услышать у темного подъезда  
«мне пора»  
и  
«побудь еще немного»...

похоже  
не совсем и не все  
изменилось в мире  
можете тихонько заплакать

в конце концов  
нам всем предстоит  
умереть  
и хорошо бы сделать это  
по-человечески

\*\*\*

Рановато для бабьего лета  
В сентябре разыгралась жара.  
Видно, песенка наша не спета,  
Как нам это казалось вчера.

На рассвете туманно-бездонном  
Спор нахальных ворон у окна.

Почему наша нежность бездомна?  
И разлук не боится она.

Так скажи, что пора нам, пора нам  
Разлететься за окном...  
Я удачи считаю по ранам,  
По зазубринам в сердце моем.

\*\*\*

Упаду в тебя, как в злую воду, —  
Ты сомкнись волною надо мной  
И мою дурацкую свободу  
Преврати в холодный, гневный зной.

Преврати в неведомое пламя,  
Или в сноп трескучего огня.  
Все, что не случилось между нами,  
Вспомни, если помнишь не меня.

Посмотри ни ласково, ни строго,  
Осторожно, вскользь, из-за плеча...  
Я тебя сломаю, недотрога,  
Чтоб нежна была и горяча.

### ЗИМА В КЁЛЬНЕ

Теперь не тот пошел тевтон —  
Отвык от снега-гололеда.  
Рейн взбунтовался! — слышен стон  
Аборигенного народа.

Давай по ящику толочь,  
Какое навалилось лихо...  
Снег. Робкий. Белый третью ночь!  
Таится в переулке тихом.

Морозцу легкому я рад!  
С чего паниковать и плакать?  
Не дрейфь, снежок, грей душу, брат!  
А то все — слякоть, слякоть, слякоть...

Не тай и не черней, держись!  
Что толку в панике и плаче!  
Рейн успокоится, а жизнь  
Пойдет, хоть как-то, но — иначе!

\*\*\*

Буксир на реке завывает...  
Я вышел и сразу промок.  
Ну что ж, и такое бывает.  
И что мне полночный звонок!

---

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЁТНЫЕ ЧИСЛА...

И что мне в твоём интересе —  
Куда мое время летит!  
Ты где-нибудь в теплой Одессе,  
А здесь без конца моросит.

Здесь тусклая сырость нависла.  
Не спрашивай лучше, не зли!  
Летят перелетные числа  
И тают в осенней дали.

Недолго уже до мороза,  
Как вечер наступит — ни зги...  
Какой-нибудь Бабель с Привоза  
Тебе заморочит мозги.

Мерцает холодная лужа,  
Буксир завывает, скорбя...  
Послушай, найди себе мужа!  
Пусть он ревнует тебя!

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Они лежат в чужом доме,  
Во тьме припав друг к другу.  
Им хорошо. И потому  
Они не слышат вьюгу.

А за горячую стеной,  
За неостывшей печкой  
Дрожит от стужи ледяной  
Горячее сердечко.

Хозяйка дома молода  
И — черт возьми! — красива,  
И ей студёная вода —  
Как жгучая крапива.

.....

Две женщины, спеша, бегут  
С рассветом на работу,  
А у него — весёлый труд:  
Поест, попить компоту.

А что ж, он гость издалека.  
Как милая ни просит,  
Уедет скоро, а пока  
Воды и дров наносит.

Потом приляжет на диван,  
Натянет плед на плечи,  
Возьмет переводной роман...  
А там наступит вечер...



.....

Она-то ждет в своем доме,  
Чтоб мать и сын уснули,  
Чтобы скорей бежать к нему...

А он сидит на стуле,  
С хозяйкой бледной пьет вино  
И балагурит с нею,  
И у нее в глазах темно,  
А на дворе темнее.

Она дрожащею рукой  
В тарелку хлеб свой крошит  
И этот цепкий взгляд мужской  
Пугает и тревожит.

### БУДНИЧНАЯ ПЕСНЬ В ДЕКАБРЕ 1991

Он вставал в шесть утра  
пил чай и ел бутерброд  
с маслом колбасой сыром  
выходил из грязного подъезда  
втискивался в тряский автобус  
вылезал у проходной  
переодевался в робу  
и полсмены гонял на автокаре  
а полсмены забивал козла  
мылся в душе  
переодевался  
у проходной встречался с друзьями  
пили пиво в пустовавшей торговой палатке  
сбрасывая рыбу шелуху на грязный пол незлобиво переругивались спорили о футболе  
бегали по очереди за новой порцией пива ругали бригадира сбрасывая шелуху на грязный  
пол пили пиво курили рассказывали анекдоты про Василия Ивановича Рабиновича  
Брежнева русских пили пиво сбрасывая шелуху армянское радио чукчей грузин пили  
пиво коммунистов евреев сбрасывая шелуху на пол Сару Львовну посылали за новой  
порцией пива сука бригадир сбрасывая шелуху не выписал падла премию курили  
Васькина жена стерва пили пиво связалась с начальником сбрасывая шелуху а ты кто  
такой посылали кончай ругаться ребя пиво шелуху дочка с соседским охломоном пиво  
гады разбавляют в подвале застукали шелуху бригадир Леонид Ильич Рабинович а ты  
кто такой шелуху козел вонючий пиво ребя посылали кончай сбрасывая задираться  
шелуху шелуху шелуху шелуху шелуху  
добирался домой на карачках  
дети спали в соседней комнате  
жена злая штопала носки у телевизора  
огрызался вкалываю день и ночь посидел с друзьями сама небось полдня в ничего не  
делала с бабами в очередях трепалась надоело одно и то же  
ложился спать...

Он и теперь встает в шесть утра  
масла нет колбасы и сыра тоже  
пьет чай с хлебом  
выходит из грязного подъезда

втискивается вместе с соседом в грязный автобус  
и всю дорогу до проходной  
ругает этих сраных демократов

при коммуняхках, — говорит, — мы  
жили по-человечески

\*\*\*

Смеясь, на опустевший пьедестал  
Вскарабкался малыш... И то — не пусто.  
Народ свергать кумиров подустал  
И нового не слышит златоуста.

Талдычит про державный дух и честь  
Один. Другой — про рынок, путь к прогрессу...  
Народ, похоже, снова хочет есть  
И своего не видит “интересу”.

На сиротливой клумбе — первый снег.  
Пацан сигаает на него со смехом.  
Резвись, мальчишка! Лишь бы этот смех  
Не отозвался нам печальным эхом.

Мы не умнее. Да и не растем.  
И вечный спор уже не так клокочет.  
Хоть этим, хоть каким иным путем,  
Россия никуда идти не хочет.

Россия хочет пить и воровать.  
На то и вся желанная свобода.  
И хватит бесконечно завывать  
Про горестный и тяжкий путь народа.

А он такой, какой он был и есть.  
Люби или хули ее, Россию,  
Но мат звучит ей как благая весть,  
Убийцу принимает за Мессию.

А, может быть, я слишком желчным стал?  
Или устал от вечного витийства?  
В стране ворюги нынче правят бал.  
Но ведь они милей, чем кровопийцы.

И, может быть, и правда, ей тесна  
Понятная другим система стяжек?...  
Когда Россия вспрянет ото сна...  
Когда... Россия... Сон глубок и тяжек.

## ЛЕДОВЫЙ МАРШРУТ

### РАССКАЗ

... плохо начинается — хорошо кончается...

Вездеход выполз на колею, побежал вдоль сопок. Любимая присказка внука запуталась в мыслях Роберта, не покидает его... плохо начинается — хорошо кончается... Рассчитывали управиться за двое суток — разменяли четвёртые. Половина работы впереди. Спасибо напарничку... помог! На сухом русле по капот зарылся. Полдня собаке под хвост. На Рыбной с полным кузовом мяса опрокинулись... На озере грузились — пропал вместе с шефом. Сопки попутали! Последняя поездка у мальчика. Перевести вездеходчика в рабочие — любимый приём у Заболоцкого. Изба на Пясине всегда свободна. Четыреста километров от города. Согласится Андрюша — тут ему и конец.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Заболоцкий скоро и шефа в рабочие переведёт. Кому нужны его знаменитые статьи? Начальство не в журналы — в руки смотрит. Разве это хозяин? На Рыбной такое! стадо — о чём думать?! Все дела побоку. Это же детский лепет: план поездок менять не буду, без отчёта в Дудыпты статью не примут. Хорошо, Заболоцкий с ним не чикается: — Зарплата нужна?!.. Запчасти нужны?!.. Надеялся улизнуть от общего дела. Не вышло. Если задержат, вместе с механиком Робертом Вигонтом по милицейским кабинетам пойдёт не главный инженер Заболоцкий, а начальник экспедиции...

...плохо начинается — хорошо кончается...

Могло быть и хуже. Ни ветер, ни случайный вертолёт не рассеяли оленей по тундре. Теперь на Рыбной праздник. С трёх буровых народ собрался. И не тесно. Изба безразмерная. Дух стоит, как на армянском базаре. В кузове двадцать оленьих туш. Ещё сотня осталась в избе, в «раздевалке». После Тамариной браги с багульным корнем никто сутки спать не будет. К полудню мясо уложат на чердаке. Все лишнее — в могильник. И ни кровинки не останется на снегу вокруг избы. Только бы красноярские хулиганы Костарнов и Ложкин не придумали номера откалывать.

Пока на вешалах он и во главе. Оба, как ошкуи. Руки — что брёвна. Раздевают оленей, как кроликов. Костарнов — ненасытная утроба. Жрёт бычьи яйца ведрами. И два ведра глаз наковырял. Не пришлось бы ему брюхо, как оленю, вспаривать.

А Ложкин явно вознамерился снова изнасиловать Тамару. И Васька, ее муж, будет пулять в него из карабина. Если ничего такого не произойдёт, всё будет «эс вирт клапен!!!»

...плохо начинается — хорошо кончается...

Волчий час — половина четвёртого ночи. Пост милиции на развилке появится к девяти.

— Успею, — думает Роберт, — если проскачу сухое русло. Все лето талдычил начальству: «Перебросьте мосток по теплу. Полтора десятка шпал всего и требуется...»

Вездеход остановился там, где бесталанно в яме елозил Андрюша. Ни заехать теперь, ни выехать. Слева над снегом высохший водопад. Пройти можно справа, со стороны гор. Роберт вышел из кабины, расстегнул полог кузова, вытащил из-под оленьих туш бензопилу и пошёл вверх по склону к деревьям, проваливаясь в снег по пояс. На ходу обдумывал работу. Цепь на пиле новая. Четырех сосен хватит. Разворачиваю машину, растягиваю лебедку, вытаскиваю стволы на дорогу...

Морозило и совсем не дуло. Полная луна пробивала ночной сумрак. Деревья падали в снег, как в постель. Лапник только ухал! Роберт заглушил пилу и пошёл вниз к вездеходу. Когда стоял на гусенице и сбивал с унтов снег, краем глаза уловил на дороге колышущуюся точку. Она быстро приближалась. — Как будто никого не обгонял, — подумал Роберт. И, на всякий случай, вытащил из-под сиденья карабин. Уже виден рюкзак над головой человека, на плечах постромки, за фигурой — нарты. У вездехода лыжник остановился. Ростиком небольшой. Лет тридцать с хвостиком. Куртка ярко-красная, штаны оранжевые. Турист? В тундре полно волков. Поодиночке туристы не ходят. Промысловик? Охотник таким попугаем не нарядится.

— Здравствуй!

— Здорово.

— Стою в распадке... вездеход прошел. Пила затрещала. Помощь нужна?

— Не откажусь, — неожиданно для себя легко согласился Роберт. Вдвоем растянули трос. К упавшим деревьям пошел незнакомец. Лыжи, оклеенные камусом, на склоне не скользили. — Парень не Шварценеггер, — думает Роберт, — внук, восьмиклассник, тот покрупнее. Но этого и со спины за подростка не примешь. Уверен и краток в движениях. Ловко работает мужичок.

Лебёдка легко трогает дерево. Оживают и плывут к дороге сугробы. Роберт приглядывается к незнакомцу. Несуетлив, благожелательный. Даже слегка как бы не от мира сего. Но тундра любит осторожность. Сейчас, в самое глухое время полярной ночи, к городу со всех сторон подкрадом тянутся шатуны-старатели. Идут с рыбацких точек. Намыли золотишко. Набрали интересных камушков. Да и с партией песцов-соболей в вертолёт не сядешь. Неделями уютжат тундру. Избушки обходят. Человека шарахаются. Страх у них, как мина в мозгу. Для такого стрелнуть во встречного или в вертолёт ничего не стоит. Этот на шатуна не похож. Но чаще будешь оглядываться, целее будешь.

Распилили хлысты... Понесли к переправе брёвна. Незнакомец уверенно становится под комель. Дерево сырое, тяжёлое. Обледеневшее. Три четвёртых веса лежит на мужичке. А надрыва не видно. Что за рычаги у него под курткой? Малыш не так прост. Чем занимается в городе?

Бросили последний накат. Скрепили скобами. Стали грузиться. Роберт тронул ногой нарты. О-го-го! Неплохо упакован парень.

— Бульжники везёшь?

Мужичок и не думает скрывать:

— Песок... камушки.

— Высажу перед городом, — твёрдо решает Роберт. «Оленину» Заболоцкий отмажет. С золотишком прогремишь на весь край.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Осторожно, на самом малом ходу, перевалили через мосток. И машина покати-лась вдоль гор. Роберт снял шубу — в кабине тепло. Выложил Тamarin завтрак, завернутый в фольгу и ватин. Мясо ещё парило. Пожевали.

— Давно идёшь?

— С осени...

Роберт пристально посмотрел на пассажира.

— В круг попал?

— Не пойму... В круг или в треугольник...

— Издалека?

— Могу сказать: с Енисея. Можно — с Хатанги...

Роберт еще раз удивлённо осмотрел спокойное лицо попутчика.

— Если с осени — я бы песочек выбросил. Жизнь дороже.

— Камушки, — зевая, ответил незнакомец, — я для веса тащу. С чем из города вышел, с тем должен в город вернуться. Тепло его здорово разморило. Он засыпал. Внезапная догадка заставила Роберта резко притормозить.

— Не ты в прошлом году в одиночку на побережье двинул?

— Я.

— Василий?

— Василий.

Роберт уставился на мужичка. Вот так попутчик! Не таким его представлял.

— Неделю назад твоих по телевизору показывали. Детей трое?

— Четверо...

— Просили — найдите папу.

Василий улыбнулся.

— Моим не привыкать. Да вот полтора месяца прогулял. В тундре справок не дают. Как бы не уволили...

— Четверо детей... не уволят, — рассудил Роберт. — Тебя на Хатанге видели...

Он повернулся к Василию. Тот не ответил. Спал.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Хатанга... Хатанга... чум на берегу реки... Когда это было? Еще до рождения дочери. Седая старуха топит печку травой и рыбой. Проводник, нанявшийся к геологам за флягу солярки, одуревший, в слюнях и чешуе, валяется на шкурах. Родственники, как бакланы, провонявшиеся рыбой, сидят на раскладушках. Не дом — рыбзавод, где по-настоящему никогда не мыли. Проводника теперь не поднять. Другого не найти. Солярка уже в чуме. По закону этого народа никто уже никому ничего не должен. Радостно возбуждённый этим обстоятельством и угощением геологов, старик-хозяин вычерчивает на бумаге маршрут для дорогих гостей. Жирная линия вдоль края листа — большая река. Рядом кружочки — чумы. Параллельно ей другая река. И много-много квадратиков. Это отделение совхоза на Енисее. Старик соединяет два поселка одной линией.

— Наши бабы с их реки. Их бабы — с нашей реки. Дорога невест. Здесь, — тычет он в середину маршрута, — шибко хитрое озеро. Царство куропаток. Их царица живет. Глазастая, как городская собачка. Кто ей поверит — никогда дома не будет.

— И что делать? — спросил Роберт.

— Прямо ехать. Царицу стрелять — куропаток стрелять. В туман стрелять...

— Дед охренел, — хихикнул напарник Роберта. — В воздух палить? Патроны трать?

— Дальше поедешь, — продолжает старик, — большая река будет. Можно чум ставить, рыбу ловить, молодой бабе ребёнка делать...

Старуха у печки вскидывается. Три коротких презрительных слова летят в мужа. Роберт понимает их как — «старый дурак!» На раскладушках оживление. Старик подбоченивается. Глаза хитреют. Наверное, так и было у них лет пятьдесят назад...

Машины тогда были новые. Погода «лётная». Среди снежных застругов четко просматривались плешины накатанного зимника. По ним и шли. За двое суток проскочили десяток нешироких речушек и несколько неогигаемых, похожих на реки, озёр. До озера с острым мыском дошли без приключений. За мыском озеро заворачивало почти под прямым углом. Дальний берег парил. Впечатление было

такое, как будто под сугробами скрывалось небольшое сельцо и хозяйки дружно топили. — Тёплые источники, — подумал Роберт.

Достали бур. Измерили лёд. Убедились, что ехать можно. И уже когда тронулись, Роберт вспомнил слова старика и подумал, что сейчас увидит нечто сверхъестественное, и ему стало немного не по себе.

Прибрежный «дымок» был тяжёлый. Высоко не поднимался. Плотной полосой стекал в неширокий распадок. Туда же уходил и едва различимый зимник.

Вездеходы пошли на подъём. Видимость несколько снизилась. Воздух был сладковатый. Открывалась широкая лайда. Дорога вела к горному кряжу. Почему он не был виден с другого берега? Если это горный массив, ехать прямо было бы безумием. Роберт открыл двери, оглянулся на идущие за ним машины. Оба вездехода поворачивали влево, туда, где долина освещалась робким февральским солнцем. Высокие тальники, как вешки на снежной пустыне, показывали путь в обход каменных нагромождений. Роберт ещё раз взгляделся в абрис гор. Очертания их несколько изменились. — Это не скалы!.. Он выскочил на снег. Взмахами рук остановил вездеходы. Было не холодно, но лица у всех стали серыми, как в пятидесятиградусный мороз. Сменщик, который жалел патроны, почему-то стоял с карабином.

— Смотрите на сопки, — сказал Роберт, — они дрожат. Это туман. Надо ехать прямо...

— Поедем туда, откуда можно выбраться.

— Вы с ума сошли...

— Ты сам рехнулся...

— Вспомните, что сказал старик. ..

— Ты, фриц недобитый! — взъярился вдруг напарник, — не вздумай слинять с продуктами. Зарою в снег. Вас всех надо было в снег зарыть!

Им явно овладевал страх обречённости.

— Стреляй, — сказал Роберт и пошёл к машине.

— Предупреждаю! — раздалось сзади. И... выстрел!!!

И сразу как будто сугробы поднялись вверх, как будто порыв снежной бури накрыл людей. Сотни куропаток снялись и заполнили пространство вокруг. Ни до, ни после Роберт не видел такого количества птиц. Это было необъяснимо прекрасное и жуткое зрелище. Он не раз охотился на эту глупую птицу. Бывало, десяток убивал, прежде чем снималась вся стая. Не мог один выстрел поднять их всех сразу. Птицы без единого взмаха крыльев взмывали ввысь, но потом, словно подхваченные неведомым порывом, пикировали на вездеход. Если бы вместо стальной машины были олени или собаки, они сошли бы с ума от налётов пернатых камикадзе и вдребезги разнесли бы нарты. И вдруг Роберт за стеклом увидел почти человеческие глаза совы. Птица пристально посмотрела на него и исчезла. Он выставил в окно карабин и стал стрелять, следуя совету старика. Машина не проваливалась. Сугробы садились. Кряж исчезал. Уходил в сторону. Через несколько сот метров и куропатки исчезли. Оба вездехода шли за ним. Пробежав пару километров, Роберт остановился. Все собрались у его вездехода. Смотрели друг на друга. Что это было? Оказалось, все пятеро видели сову с человеческими глазами. Тому, кто стрелял, померещилось, что сова сказала: «Давай патроны!» Он снял патронташ и выбросил в снег. Все, кроме Роберта, смеялись до колик. Роберт стоял, сжав кулаки. Голова болела. А когда пришли на базу, настояя, чтобы напарника убрали из экипажа.

— Не исключено, — прикидывает Роберт, — что и Василий попал в ловушку на «дороге невест». Что с ним было? Когда пройдем милицейский пост — расспрошу.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Последний подъём перед развилкой, восемь двадцать утра. Трое суток не было ни снега, ни пурги. Даже снегоочистительной техники не должно быть на

площадке. Вездеход взлетает на взгорок. То, что видит внизу Роберт, заставляет его резко притормозить. Две милицейские «мигалки» и «рафик» с надписью «Телевидение» ждут свою добычу. Его заметили. Машут жезлом — иди сюда, дорогой! И вездеход на малых оборотах катит вниз навстречу неминуемой беде.

Машины чужие и «менты» незнакомые. Лейтенант, чья машина две зимы стояла в гараже экспедиции, отвернулся, не замечает Роберта. К вездеходу идёт грузный майор. Молодой сержант заходит за машину справа. Будет проверять кузов. Майор крутит в руках путёвку.

— А это кто? — указывает на Василия.

— Василий... известный путешественник.

— Кто? — переспрашивает майор и трогает жезлом плечо Василия.

Тот просыпается, моргает. Одаривает всех: и майора, и подошедшего журналиста добродушной улыбкой. Ищет под курткой документы. Журналист ошарашенно смотрит на Василия. Снял и протёр очки. Снова одел.

— Вот так штука! Я тебя проводил и я тебя встречаю. Тебя весь Таймыр ищет, а ты путешествуешь автостопом.

— Да, — сказал Василий, — путешествую...

— На Сухом ручье подсел, — уточнил Роберт, — помог переправу навести. Без него не знаю, что бы и делал.

Молодой милиционер отстегнул брезент и заглядывает в кузов. Суетливо ищет фонарик. Освещает всё, что там нагромождено. В лучах фонаря мелькает его довольная физиономия.

Телевизионщик зовёт операторов и увлечённо поясняет майору, что Василий скоро пойдёт на Южный полюс. И три месяца одиночного путешествия по тундре для него обычная тренировка. Подходит сержант. Наступает самый драматический момент рейса. Журналист остаётся для Роберта последней надеждой. Он тихо шепчет Василию: «Спасай, браток!» — и ведёт операторов к нартам с песком. Василий оказался сообразительным человеком. Распаковал поклажу. Прояснились такие детали путешествия, что Роберт на миг забывает и о милиции и об оленях. Телекамеры работают. «Вот это сюжет!» — восхищается очкарик. Майор отзывает его в сторону. Оба о чём-то энергично спорят.

— Вы не должны этого делать, — доносится до Роберта.

Вытащили «мобильники». Разговор с городским начальством идёт непросто. Минут десять стоят друг против друга, как петухи. Наконец журналист хлопает майора по плечу и оба идут к вездеходу.

— Обещаю, — заверяет очкастый, — через три дня увидите всё по ОПТ. Вся страна увидит.

Операторы ставят рядом Роберта, майора и Василия. Майор в центре. Василий не достал ему до плеча. Операторы предлагают путешественнику запрыгнуть на гусеницу. И кладут руку майора Василию на плечо. Всем троим приказано улыбаться.

— Ну, Вигонт! — говорит майор после съёмки, — ещё раз попадётся, увидишь и Северный полюс, и Южный.

Вездеход, как на крыльях, летит к городу. Бывают же в жизни чудеса!!!

...плохо начинается — хорошо кончается...

Домой Роберт попал только к обеду. Долго выгружали мясо. Поставил и бегло осмотрел вездеход. Снова вернулся в склад. Отрубил задок оленя. Набросал ведро рыбы. Отнёс в УАЗик шефа.

— Из своего берёшь? — спросил, косясь на Василия, кладовщик.

— Из общака. Если бы не он, всё это сейчас варилось бы... в столовском котле.

А я бы сидел в «обезьяннике» ментовском.

Поехали к Василию. Занесли в квартиру его долю. И домой!.. Как всегда, в этот час дома никого. Уснуть бы... Небогатая квартира Василия, четверо детей,

старенькая мебель, гитара на тряпичном коврикe не даёт ему покоя. Всегда думал: именитыми путешественниками становятся состоятельные люди. Оказывается, важнее не упустить время. Не перегореть. Сорок лет назад он не сомневался, что пойдёт через полюс в Америку. Убежит из страны. Для этого и приехал в пятьдесят шестого нужда в побеге отпала. Но остановиться уже не мог. Хотелось доказать всем, что это возможно. И если бы не встреча с будущей женой, наверное, доказал бы.

Потом родилась дочь. И он стал думать, что можно не вернуться, остаться во льдах. Нельзя было оставить семью без приличного состояния. Снова копил деньги. И, где-то уже в тридцать пять, вдруг осознал, что для самоуважения ему достаточно служебных поездок по тундре на вездеходе. А в сорок он понял, что броска через полюс не будет никогда.

А началось всё с потерявшего рассудок на Крайнем Севере деда, Карла Оттовича. Его привезли доживать к старшей дочери Грете, матери Роберта, в таёжное село на Чулым. «Сынок, — говорил он внуку, — копи деньги. Купишь большой бинокль. Ты первый увидишь их...» он скрипел чёрными корнями зубов и бесслёзно горевал о чём-то несбывшемся. Роберт любил деда. Жалость холодной волной обволакивала всё внутри. Слов деда не понимал и не придавал им значения. Душевнобольные всегда живут в непонятном для других мире. Но, со временем, периоды тяжёлого безумия становились короче. Дед отходил от недуга. И тогда Роберт узнавал страшную историю своей семьи.

Отца в сорок первом затолкали в вагон неожиданно, в чём стоял. Так и сгинул в бескрайних просторах за Уралом. У деда на сборы были сутки. Мудрый дед от многого отказался. Но взял плотницкий инструмент, рыбацкую снасть и мамину швейную машинку. В вагон для перевозки скота вместился почти весь их небольшой хутор. Немного осталось в памяти Роберта от того двухнедельного «турне». Помнит, что спали рядом с туалетом. За ширмой, на ведре, постоянно кряхтели и пукали. «Дед, — просил Роберт, — меня дразнят, что я воняю. Три человека умерло. Давай перейдём на их место.» Дед сидел на полушубке. Полушубок лежал на рыбацкой сети. В одну сторону свисала бахрома от грузил. В другую — бахрома из поглавков. «Пусть смеются, — ответил дед, — Ты хочешь, чтобы бабушка от духоты умерла? Пойди, посиди там.» Роберт пошёл и понял, что дед прав. «Пусть смеются, — рассудил он, — здесь воняет больше.» Спал он вместе с тётей Ирмой, старше его на десять лет. В жару Ирма была прохладной, как вода в пруду. Когда в Сибири попали в буран и не хватало соломы согреть вагон, Ирма стала тёплой, как брюхо коровы, которую они оставили дома в изгороди. «Как ты это делаешь?» — спрашивал Роберт. «Все женщины так умеют», — смеялась Ирма.

Была она непонятно какой: то ли рыжей, то ли белой. Вся в веснушках. Даже глаза. И все веснушки смеялись. Роберт мог смотреть на неё часами.

Через много лет мама расскажет ему, что у деда под сетью была проломлена доска. Об этом не знал никто, ни односельчане, ни сопровождающий теплушки. Когда становилось душно, дед незаметно открывал «форточку» и через сеть в вагон поступал свежий воздух. Через пролом в полу на остановках он прослушивал случайные разговоры у вагона. О том, что в Ачинске будут высажены двадцать пять женщин для работ на таёжной ферме, дед узнал задолго до этой станции.

Мама Роберта, Грета, неминуемо попадала в их число. Ирму деду удалось «отбить». Ей было только шестнадцать. «Уж лучше бы пошла со мной, — жалела потом мать, — как-нибудь, да выжили бы».

...плохо начинается — хорошо кончается...

Три телеги на вокзальный перрон в Ачинске пригнал однорукий мордастый возчик. Погрузили вещи, посадили детей. Не всем хватило места. Роберт половину



сорокакилометрового пути прошёл, держась за мамину руку. По чёрным грязным улицам выползли на поле. В чернозёме тонули колёса. Надрывались вместе с лошадьми, выкатывая на твердь телеги. Вдоль Чулыма дорога пошла каменистей. Въехали в тайгу и сразу увидели работу недавней бури. Сосны лежали полосой. Немало поперёк дороги. Возница извлёк старые вожжи. Деревья охватывали за вершины и разворачивали вдоль колеи. «Не ленись! — покрикивал возница на женщин и сам тянул что есть мочи, — дождь пойдёт — детей загубим...»

Роберт пробовал помогать маме. Потом шёл, держась за её руку, пока не уснул. Разбудила тряска. Приснилось, что им с мамой нужно стянуть на обочину дерево. «И-и-и-эх! — стал кричать изо всех сил мальчик, — не ленись!» И проснулся. Наяву было — как во сне. Снова женщины освобождали проезд от повала, а возница командовал ими. Роберт сполз с телеги и стал рядом с мамой.

Вечером появился ветер и пошёл холодный дождь. Выпрягли лошадей. Ночь просидели под телегами. Снова шли по раскисшей дороге. Зашли в кедровник, остановились, набрали шишек. Стало веселее. Несмотря на усталость, темнота тайги не пугала Роберта. Высокие кусты красной смородины, как костры, горели среди деревьев. Обочина была усеяна грибами. Из кустов выпархивали крупные тяжёлые птицы. Два раза на дорогу выскакивали козы. Видели лося. «Зимой, — радовался мальчик, — приедет дед. Сделаем лыжи. Купим ружьё, пойдём на охоту. Летом с бабушкой и Ирмой будем ходить за грибами. Ирма увидит, как легко прыгают козы и будет смеяться».

Ещё одну ночь спали под телегами. Наутро небо очистилось, тайга зарыжела, засияла. Выпал тёплый, почти летний денёк. Чулым отошёл влево. Тайга — вправо. Начались бескрайние луга. Дошли до большого стада коров. А вот и коровник с изгородями вокруг. Из одного из них, над которым красный флаг, вышел враскоряку невысокий старик. «Гутен таг, — сказал он на немецком, — меня зовут Фердинанд. Идём пить чай».

Слова старика произвели на женщин необыкновенное действие. Они плакали, целовали Фердинанда. Потом пили чай с ягодой и молоком, но недолго длился нечаянный праздник. Со скорбью глядя на измученных женщин, старик сказал: «Скоро из села придёт паром. Надо нести молоко. Если не пойдём, расценят как саботаж. И расстреляют.»

...плохо начинается — хорошо кончается...

В девяносто шестом году Роберт приезжал в село хоронить мать. В семье дочери от второго брака старуха дожила до восьмидесяти пяти лет. Хоронили на немецком участке кладбища. Между могилами дедушки и отчима. После похорон Роберт взял у свояка ружьё, лодку и поплыл на другой берег. Красота летней тайги ошеломила его. На ферму не пошёл. Отметил только, что пустые коровники почернели и осели. Трава и немалые уже деревца, как домкраты, завалили строения в разные стороны. Знакомая тропа вдоль быстрой Гремячки не заросла. Поднялся по ней в тень сосен. Вершины млеют от зноя. Стволы золотятся. На затянувшихся шрамах, нанесённых деревьям сборщиками живицы, как бриллиантами, сверкают капельки смолы. Спустился в груздевый лог. Лесной ковёр, как и прежде, вспучен тысячами чёрных красавцев. Повернулся к черничникам. Через каждый десяток метров из-под ног срываются рябчики. Прилёг, чтобы не смять кусты. Стрельнул глазом под листья по склону. Чёрный стоит склон. И птицам, и человеку — всем хватит. Далее вверх, к Красному камню. А вот и просека. Мать писала: «Начали геологи ЛЭП, да бросили».

Прямо на Роберта, расправив широкие крылья, тяжёлый как индюк, летит глухарь. Ш-ш-ш! — над головой. За ним снова — ш-ш-ш! И ещё, и ещё. Что у них, гонки что ли? Стоял, замерев. Сколько раз такое вспоминал на Севере. Под камнем внизу — малинники. Вытащил из футляра бинокль. Ага! Одна чёрная спина, вторая...

Медведи лакомятся павшей малиной. Ничего с тех пор не изменилось. На двадцать вёрст видна с Камня тайга. В детстве ходил и за пятьдесят. Тёмные массивы на склонах — это кедрач. Чуть светлее — сосняк, берёзы. Там и белка, и соболь, и медведь, и марал. И везде — ягоды, грибы. Брусника, черника, малина, заросли смородины. Леса черёмухи, шиповника, боярки. Покосы нетронутые. В поймах — чернозём на лопату. Чулым полон рыбы. В прогретых солнцем мелких старицах можно смотреть рыб, как в аквариумах. На дне Чулыма антрацит, как булыжники, катается. И нефть, говорят, нашли. Половина человечества за счастье почитала бы жить в таком краю. Если бы с умом да с заботой о человеке, а не так, как было. Навешали на баб и дойку, и мойку. И навоз, и сено, и воду, и дрова, и снег. И детей, и огороды, и бидоны те проклятые, что все жилы вытянули, все внутренности им попортили. Побила работа женщин, как град пшеницу. В первый день стали бабы падать. Отнесли бидоны на пристань, упала одна и не встала больше. Сгорела на соломенном тюфяке, как бабочка на огне. Потом пришла очередь Фердинанда. Несчастный старик, разлучённый с семьёй, мучился многими грыжами. Вены и жилы на руках и ногах выпирали, как зашитые под кожу мячики. Мошонка висела почти до колен. Бандаж на поясе успокаивал грыжу кишечника. Прямую кишку пальцем в зад заталкивал. Насмерть был подорванный человек. Нетяжёлую делал работу. Отбивал литовки, следил за упряжью. Плотничал. Берёгся как мог. Да, случилось, забылся. Ринулся, не дожидаясь женщин, поднимать завалившуюся телегу с сеном, и умер в одночасье. Что-то разорвалось внутри.

Половина доярок — русских, немок, беженок-белорусок — за войну под берёзы полегла. А после войны стали умирать от рака. До шестидесяти немногие дожили. А до восьмидесяти, кроме мамы, никто. Винили воду. Потом слухи пошли о неизвестных испытаниях в тайге. Но, годы спустя, встретил Роберт немца, сосланного в Казахстан. И у них рак всех баб на фермах покосил. Надорвались люди. Маму спасла швейная машинка. Полгода была скотницей. Потом посадили народ обшивать. Конечно, пособила и красота её породная. Горько об этом вспоминать, но не раз Роберт прихватывал бригадира в своей комнате. В одном исподнем. Бригадир утонул — участковый стал захаживать. Потому и старое ружьецо подарил подростку, чтобы реже малец дома бывал.

Случилось, подслушал Роберт мамин разговор с Богом:

— Майн Гот! Помилуй меня, грешницу. Честно тебе признаюсь: боюсь болезни этой страшной и сына не могу одного оставить на земле. Помилуй и прости меня, Господь наш.

Может, и услышал Бог молитву грешницы Греты?

...плохо начинается — хорошо кончается...

Деда с семьёй в Красноярске посадили на пароход и повезли вниз, на Север. Навстречу бежали берега. Вначале лысые сопки, лесостепь. Километров через сто потянулась тайга. Тёмная вода за бортом неслась быстрее парохода! «Вот так течение! Вот так сила!» — удивлялся дед. И радовался, что угадал, взял сети. В редкие тёплые часы стояли с Ирмой на палубе и приглядывали на берегу местечко поудобнее для жизни. Вон на горке домики рассыпаны. И причал есть. Не здесь ли нас высадят? Нет, несётся пароход мимо...

Прошли Енисейск... Туруханск... Зелени стало меньше, желтизны больше. Остановились в Игарке. Грузили стройматериалы. Дед щупал игарскую землю. Закончились сибирские чернозёмы. Холодная, не для пахаря почва. Куда бежим? Зачем? На какую работу? Грузим доски — значит на пустое место спешим. На зиму глядя. И пожалел старик, что Ирма вместе с сестрой не сошла в Ачинске. Дудинку прошли не задерживаясь. Река разлилась, словно море. Холмистый, без единого деревца, берег припорошен снегом. Льда на реке нет, но озёра блестят молодым ледком. По тому, как нервничает капитан (ему до морозов надо вернуться в Красноярск),

по тому, какой лес погрузили в Игарке: обзол, горбыль, кора да сучки — старик заключил, что плыть им ещё не близко, никто их там не ждёт. И для тех, кто решил их судьбу, две сотни немцев и латышей — всё равно, что эти доски на судне. Пропадут — не жалко.

Ещё в Красноярске дед одел семью в полушубки. На воде жарко не бывает. И наступивший жестокий холод, хотя пугал их, но не мучил. Не все были столь предусмотрительны. Безделушек набрали — о зиме забыли. Теперь за мазутную телогрейку отдавали последнее. Народ начал умирать от холода и истощения. К мёртвым привязывали припасённый на такой случай груз и топили в реке. Капитан спешил...

Ветер становился всё несноснее. На палубе обмораживались, в трюме и каютах мороз леденил пальцы, в летней обуви ноги коченели. Пароход стремительно летел в зиму. Все мысленно готовились к смерти. Дедушка рассказывал Роберту, что в день высадки на берег случилось неожиданное потепление. Ветер переменялся, всё вокруг засветилось, снег заблестел, вода покрылась тысячью зеркал. Навстречу южному ветру потянулись гуси. Летели над рекой клиньями и радостно кричали.

— Семьями летят, — позавидовал дед. И так захотелось ему ещё раз, хотя бы раз, побывать в своём доме. И чтоб семья была как раньше.

...плохо начинается — хорошо кончается...

В тридцати метрах от парохода, на снегу у воды стоял хорошо одетый военный с рупором в руке. Над ним, на откосе, небольшая рубленая избушка. Над крышей — красный флаг. Значит не баня — комендатура. И ничего больше вокруг — ни барачков, ни палаток, ни чумов. Снежная пустыня.

— Умрёшь, — думал дед, — никто могилу не выроет. Мерзлота как бетон, будешь валяться, пока звери не обглодают. Если здесь есть звери.

По тихим вздохам земляков, стоящих рядом, старик понял, что и они думают о том же.

— Эй, на берегу, — кричит капитан, — начинай разгрузку! Принимай людей! Забирай груз! Не могу ждать ни минуты!

Военный поднимает рупор:

— У меня пять лодок. Спускай десять человек...

— Ты, я вижу, не торопишься! Давно бы сам на воде был! Ждать не буду! Доски сброшу в реку!

— Тогда и людей сбрасывай! Они в снегу жить не будут.

Этот простой довод слышат все. Значит, есть у человека расчёт, а у них шанс на спасение. Переселенцы встряхиваются, оживают. Измученные, голодные, в большинстве больные, начинают двигаться, думать. Без крика и толкотни. Ни одна доска, ни один ящик не упал в воду. Человеческая толпа вытекла на берег и на снегу началась осознанная работа. К вечеру плотники закончили каркас длинного невысокого барака. Но чем будут накрывать крышу и закрывать стены — так никто и не понял. На четырёх лодках восемь гребцов притащили с недалёкого острова два десятка брёвен. В этом месте енисейская пресная вода встречается с солёной, и морские приливы завалили северную сторону островка плавником. Деду тоже дали лодку. Они с Ирмой, недалеко от берега, за два просмотра, взяли полтора центнера белой рыбы. Люди напилили дров, развели костры, варят уху. Как завтра — неизвестно, сегодня — жить можно.

Сколько Роберт помнит, дед никогда не говорил о людях ни слишком хорошо, ни слишком плохо. Изречёт: «Все мы люди...», — и на том подводит черту. Только о том военном, Иване Вавиловиче Баранове, когда вспоминал, голос его дрожал. Под трибунал пошёл человек, но людей спас. Из двухсот тридцати двух зиму пережили сто девяносто шесть. А погибнуть должны были все до единого.

...плохо начинается — хорошо кончается...

В тот день, у костра, решили латыши проверить характер коменданта. Бригадир плотников, отчаянного вида ломовик, спросил в упор:

— Ты чекист?

— Чекист, — спокойно ответил Иван Вавилович.

— Не боишься? Нас двести — ты один.

— Тебе мой пистолет нужен? — усмехнулся Баранов. — Зачем? Пулю себе в лоб пустить?! Думай, как выжить, смерть сама придёт.

Спокойствие Ивана Вавиловича несколько смутило латыша, но уступать ему не хотелось.

— Тогда объясни, почему мы строим барак на буграх и ямах, а рядом ровная площадка? Лишний кубометр досок тебе не нужен? Или у чекистов всегда так? (Он покрутил пальцем у виска.) Чем каркас накроешь? Что-то я у тебя в комендатуре брезента не видел.

— О брезенте разговор будет завтра. Ровно в шесть придёшь ко мне. И вы, Карл Оттович, — сказал он дедушке. — А на первый вопрос ответчу. Построить дом и под туалет бочку не поставить, значит через неделю всё засрём. А женщины письки отморозят, рожать не будут, — он встал. — До завтра!

Иван Вавилович придумал взять оленей на переправе через реку. Сейчас на Таймыре, во время осеннего отстрела, по этому методу работают все охотничьи бригады. Следуя вековому инстинкту, дикий олень каждый год мигрирует по одному маршруту. У нешироких, но достаточно глубоких рек оленей ждут охотничьи засады. Вожак входит в воду и плывёт в окружении эскорта из десяти быков. В эту группу стрелять нельзя. Вот олени на вашей стороне. Вожак стряхнулся, огляделся вокруг, призывно хоркает. Стадо, как очумелое, бросается по сигналу вожака в воду. Гремят выстрелы. Северный олень не тонет. Ворсинки меха наполнены воздухом. Вода окрашивается кровью. Туши, похожие на клочья грязной речной пены, плывут по течению вниз. На перекате или в узком месте их вылавливают, тут же ошкуривают. Может быть, Иван Вавилович сам придумал такую охоту, может, где-то видел. Или рассказал ему кто-то. Но план его удался вполне. Бригадир плотников, спортсмен-стрелок, чемпион Риги, не истратил зря ни одного патрона. За несколько часов было столько оленей убито, что шкур хватило не только на крышу и стены, но и пол ими застелили. Деду поручили делать сани. Людей сняли со всех работ. Путь от лагеря до переката стал похожим на дорогу от муравейника до скопища дровяных гусениц. Заложили тушами один холодный тамбур, потом другой. И вместе с рыбой, с попавшими в петли зайцами, с вонючими тушками песцов, которые тоже съедались, с птицей, прилетевшей в мае, и куропатками, которых ловили в сугробах силками, люди дотянули до навигации. Половина лишилась зубов. Люди пухли, умирали, замерзали, терялись в пурге, тонули в полыньях, но большинство дождалось первого парохода. На нём прибыли новые переселенцы. Выгрузили мешки с солью, деревянные бочки для засолки рыбы, солярку, пять небольших баркасов, ящики с консервами, мешки с мукой и сахаром.

Высокий усталый мужчина в кожаном пальто несколько раз обошёл вокруг барака. Зашёл внутрь, заглянул под здание.

— Такого чуда не видел. Молодец! — похвалил он Ивана Вавиловича. И вдруг резко повернулся к нему.

— Кто стрелял?

— Пакалнс. Латыш, профессионал, — не стал врать Иван Вавилович.

— И где он? Живой?

— К сожалению, умер.

— При каких обстоятельствах?

— Гнался за оленем. Попал в пургу, провалился в «линзу», отморозил ноги. Умер в бараке от гангрены.

— Повезло ему. Крупно повезло. Винтовку принёс?

— Принёс.

— Как же ты, Баранов, оружие своё боевое доверил врагу? Фашисту, боевику Урманиса. Не ожидал от тебя.

— Товарищ полковник, — сказал Иван Вавилович, — у всех у нас был один враг — холод и голод. Понимаю, допустил ошибку. Хочу искупить вину на фронте. Вот рапорт, — протянул он конверт полковнику.

— Не знаю, как фронт, но трибунал, я тебе, гражданин Баранов, гарантирую...  
...плохо начинается — хорошо кончается...

Человек предполагает, Бог располагает. Кто-то думал: без ружей и сетей, без крыши над головой, без продуктов и тёплой одежды, в конце сентября и, тем более, в октябре, вблизи Карского моря люди не смогут прожить и недели. Но судьба решила по-своему. Цепочка случайностей, связанных между собой только промыслом Божиим, позволила ста девяносто шести человекам дожить до лета, до навигации. Карл Крафт догадался взять в неведомую дорогу рыбацкие сети. Капитан парохода как бешеный спешил в пункт назначения. В толпе переселенцев оказался снайпер. Олени пришли к реке с опозданием. Накануне отстрела, ночью, прибежав к переправе и не увидев следов стада, Иван Вавилович воздал хвалу судьбе: «А всё-таки Бог есть!»

И то, что на пути несчастных, замученных, преследуемых людей в трагический для них момент оказался бывший сельский учитель и председатель колхоза, без содрогания поставивший на карту собственную жизнь и спасший людей, — разве это не промысел Божий? Когда нам плохо и страшно, мы просим о спасении. И если оно происходит, мы говорим о Боге и о судьбе. Мы не задумываемся, зачем свершилось спасение, и так ясно. Чтобы нам было хорошо. Но если у нас душа в равновесии и вдруг случается непоправимая беда, мысленно мы обращаемся к Богу с вопросом — за что? И забываем задуматься — зачем?

Роберт часто задумывался: за что Бог отнял у стариков любимую дочь, лишил их разума? Какую заповедь нарушили? Возлюбил ближнего своего, как самого себя? Разве не кормил дед весь лагерь рыбой? Не делился лишним куском, оставляя себе только необходимое? У него был один полушубок, одна шапка, одни валенки. Всех спасти он не мог. Господь не требует: умри сам — спаси ближнего. Дед был не сын Божий и даже не апостол. Простой человек. За что же он наказан? И зачем? Или Господь проверял его для какой-то высокой миссии на небесах? Что ж, дед сдал экзамен, не стал мстить за дочь. Не порадовал дьявола. И жениху Ирмы не разрешил сжечь комендатуру. А может, через судьбу деда дан знак его потомкам: стремитесь — и сбудется. Сил у вас хватит!

...плохо начинается — хорошо кончается...

Между арестом Ивана Вавиловича и гибелью Ирмы было пять навигаций. Закончилась война. Построили ещё три барака. Переселенцев много не прибавилось. Прежней скученности не стало. На берегу построили склады. Рыба взвешивалась и сдавалась. Часть шла в магазин, остальную увозили зимой самолётами. Летом рыбу солили, за ней приходили катера.

Комендатуру вынесли за посёлок. Дом срубили как крепость. Жили в нём семеро военных. Милиция или пограничники — понять было трудно. Присутствовали при загрузке морских судов и самолётов. Проверяли документы. В комендатуре отмечались переселенцы. Без работы военные не сидели. Командовал капитан. Средних лет, среднего роста. Ничем не примечательный человек. Молчун. Удивляли только ноги. Даже дедушка, крупный мужчина, в сапогах капитана мог утонуть.

Эти сапоги без устали носились по лагерю. По несколько раз в день капитан заглядывал в каждый барак. Кружил вокруг складов и магазина. Что-то вынюхивал в гараже и дизельной. За четыре года народ так и не привык к нему. При появлении его вздрагивали и настораживались. Капитан лично проверял почту. Сам он придумал для себя это занятие — или оно вменялось ему по должности, но в лагере все знали, что капитан прочитывает их письма и старались лишнего не писать.

Ещё в первую зимовку Иван Вавилович связался по радиации с товарищем из своего ведомства, и тот сообщил адрес старшей дочери. Дедушка написал Грете. Письмо сдал уже новому начальству и неожиданно получил его обратно. Сводная сестра бабушки нашла его в туалете капитана, где делала уборку. Больше дедушка Грете не писал. Но когда приносил коменданту рыбу, тот беззастенчиво и лицемерно сочувствовал: «Что-то дочь не пишет?» Дед искал возможность передать письмо, минуя комендатуру, но такой случай не представлялся.

В декабре сорок седьмого года дедушка привёз с реки улов. Пять мешков сдал на склад. Полмешка Ирма взяла домой. Вторую половину дедушка понёс в комендатуру.

Комната капитана была закрыта. В казарме шумели. Все семеро, в том числе часовой с повязкой и капитан, босой, без сапог, играли в карты. Рыбе обрадовались. Под спирт нужна строганина. Пригласили к столу деда. Он отказался. Дома была одна бабушка. Ирма понесла рыбу жениху. Ждали долго. Вот и ночь. Ирмы нет. Почуяли неладное, вышли на поиски. Слабая с утра метель к ночи набрала силу. Видимости почти не было. Жених Ирмы поднял народ. Проверjali бараки. Искали в снегу. Следы замело. Пошли к комендатуре. Часового нет. У крыльца нарты. На них солдаты возят от проруби воду. Дед присел. Всмотрелся в снег. Слабо заметный след полозьев уходил к калитке. От калитки к берегу и дальше вниз. Ветер дул на реку. И на спуске, под берегом следы не замело. Кто-то в огромных валенках отступал к реке, шагая между полозьями. Пятками вперёд. Человек сдерживал нарты на склоне. В отпечатке валенка, слегка притоптанная, лежала Ирмаина голубая любимая лента для подбора волос! Дед бросился к проруби. Не снимая полушубка, ощупывал, пока рука доставала, лёд изнутри. Может зацепилась дочка за заструг? Вытащим. Откачаем. Не может она так просто исчезнуть. Вода только сверху казалась тихой. Рука чувствовала её мощное течение. Кто же удержится на такой быстрине? Но разве не он сам выдумал, что Ирма в этой чёрной воде? Надо бежать домой. Она уже дома. Как она будет смеяться над ним! Верить фактам было страшно. На лёд, рядом с дедом, упал Ирмин жених.

— Отец! Иди домой... Её уже нет. Они набросили на неё мешок. Изнасиловали в комендатуре. Сейчас крыса учит, что говорить прокурору. Отец! Просто так они не умрут. У нас был ребёнок, мы ждали дочку. Один выполз на крыльцо, мы зарыли его в снег и привалили брёвнами. Мы убьём их всех. Я сожгу их...

И бросился к лагерю.

Новая беда накатила на деда. Он сам хочет убить их. Но прилетят на самолётах, не станут разбираться. Покосят всех из автоматов. И старых, и малых. Внутри русских ещё гремит война. Они готовы убивать...

Не ощущая мокрого полушубка, он дошёл до комендатуры и прислонился к воротам. От лагеря бежали с топорами молодые парни. Жених Ирмы нёс ведро. Солярки в гараже предостаточно. Через час от комендатуры останутся только головешки. Дед поднял тяжёлые от налипшего льда руки.

— Стойте! Ирма — моя дочь. Именем Бога прошу вас, не множьте смерть!

И только сейчас осознал, что дочери у него больше нет. Он сел на снег. Домой его привели, как пьяного.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Первой стала терять рассудок бабушка. Она выдумывала сны.

— Видела Ирму. С ребёнком. Подплыла к нашим сетям и запуталась. Иди, Карл, проверь сети.

Дед зовёт кого-нибудь из молодых и идёт на реку. Рыбы много. Почитай, в каждой третьей ячейке по муксуну. Широкие, горбатые. До четырёх килограммов весом. Нитка забита морскими ракушками. Выбирает дед сеть и каждый взмах для него как пытка. Всё ждёт: вдруг, и вправду, маленькую девочку с сетью поднимет. Или в лунке лицо Ирмы покажется. Рыбу на лёд бросает, сеть чистит по привычке. И новый взмах и новая пытка. Две сети проверит — как будто неделю по тундре отшагал. Рыбу дед не берёт. Не едят теперь старики рыбу. И от этих сетей им одно только горе. Поговорили люди в бараках. Предложили хорошую цену. Продал дед сети.

Но на этом бабушкины сны не закончились. Стали ходить по родственникам и знакомым. Послушают новости. Попьют чай. А потом: «Были на реке? Сети проверяли? Не погадался вам ребёнок? Маленькая девочка? Женщину в реке не видели?» Мороз идёт у людей по телу. Женщины за занавеской прячутся, чтоб старики слёз не видели. Как-то зашли к приёмщице рыбы: «Тебе, Татьяна, девочку маленькую не сдавали? А Ирму нашу? Она крупная. Можно принять за нельму». Татьяна чуть в обморок не упала.

Так дожили до тепла. Появились забереги. И река очистилась. Пошли вверх по Енисею американские лесовозы в Игарку. С грузом возвращаются — их на лодках местные встречают. Предлагают шкуры, икру, балык. Что охотникам надо? Винчестеры, патроны, радиотовары, тёплые лёгкие куртки. Идёт торг на воде. Товарами и заказами люди обмениваются. И все довольны.

Приснился бабушке сон. Сказала ей Ирма: «Оденьтесь с папой, как местные. Садитесь в лодку, скажите, что больны. Вас американцы на корабль поднимут. Расскажите им, как вы страдали. Есть тёплые острова в Америке. Там спокойнее». Дед подумал: «План хорош. Может, и вправду с Ирмой повидаемся. Надо попробовать. И время есть. После Победы переселенцы отмечают в комендатуре один раз в месяц».

Незаметно взяли лодку. Пошли вниз вдоль берега. Через два часа были в стойбище ненца Яптунэ, рыболова и оленевода. Деда в стойбище знали. Говорили: «Карл — большой рыбак, большой плотник, большой механик и большой колхозник». Если в лагере к снам бабушки относились как к сумасшествию, то ненцы выслушали её с пониманием. Ничего удивительного. Есть Бог воды. Царь подводного мира. Когда человек тонет, значит, Бог зовёт его к себе. Обидеть Бога — навлечь беду на весь род. Брат должен притопить брата, выпавшего из лодки, отец — сына, сын — отца. Дочь Карла была красивой бабой. Бог забрал её в жёны. Она сейчас богато живёт. Они долго всматривались в фотографию Ирмы и пообещали старикам, что всё сделают, как те просят. А если увидят в воде белую женщину, выполняют любую её просьбу.

На следующий день встречали лесовоз. Дед забинтовал руку. Бабушка голову. Как будто у неё болят зубы. В одежде из шкур они ничем не отличались от хозяина лодки. Опустили трап. Старики поднялись на палубу. Как договорились, лодка сразу ушла к берегу. Молодой матрос сделал знак: молчать! «Доктор делай, торговать не делай», — сказал он тихо и показал глазами в сторону. К ним шёл человек с военной выправкой.

— Я представитель Советского государства. Кто вы такие?

Дед снял шапку.

— Я, сынок, немецкий переселенец.

— Что вы хотите?

— Уплыть в Америку.

Военный внимательно осмотрел стариков и пригласил в каюту. Слушал, не перебивая.

— Всё ясно. Вы помните Баранова? — спросил у деда.  
— Ивана Вавиловича? Прекрасно помню, — подтвердил дед.  
— Его присудили к расстрелу. Помиловали и отправили в штрафбат. Хотя — что такое штрафбат, вы не знаете. Если я разрешу вам эмигрировать, меня тоже приговорят к расстрелу. А штрафбатов уже нет. Единственное, что я могу вам обещать — передать письмо дочери.

Он дал дедушке перо и бумагу. Дед написал Грете.

В детстве Роберт не один раз перечитывал эти странные строки. Дед сообщал, что они с бабушкой живы и здоровы. А Ирму бросили в прорубь солдаты. Теперь она живёт в реке или в море. Не исключено, что она стала женой морского царя. Ирма зовёт их на тёплые острова в Америку. Но их в Америку не пустили. Надо сообща подумать, как собраться вместе и уехать туда, где жить будет спокойнее.

Русский, как вспоминал дедушка, оказался неплохим человеком. О чём-то поговорил с американским начальством. Проводить стариков пришёл даже капитан. Все прощались с ними за руку. Спустили шлюпку. Нагрузили в неё коробки с одеждой и продуктами. Всё, что дали американцы, дедушка оставил в стойбище. Ничего им не было нужно, кроме воспоминаний о своей семье.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Письмо от Греты пришло неожиданно быстро. Сестра бабушки рассказывала, что комендант, когда читал письмо, бесновался, как дьявол. Потом смеялся как сумасшедший. Письмо он сжёг, но, так как был теперь всегда пьян, оставил недогоревший конверт. На нём — почерк Греты и адрес дедушки.

На следующий день деда вызвали в комендатуру. Лицо у капитана — багровосинее от постоянных выпивок. Глаза красные. Взгляд — больного, заискивающего перед врачом.

— Скоро сдохнет, крыса, — подумал дед.

— Народ говорит, — врал комендант, — вы серьёзно больны. Я предлагаю отдохнуть, пожить в тишине, в уединении. На побережье бригада начинает промысел белуги. Дом на острове готов. Конечно, это не тёплые острова Америки, но всё же... Соглашайтесь, Карл Оттович. Присмотрите за молодыми. И нам спокойнее будет. Эрна Францевна поедет поварихой. За два сезона хорошо заработаете.

— Подумаю, — ответил дедушка.

Вечером, как всегда, отключили в лагере свет. Барак затих. Дедушка, как в молодости, нашёл под одеялом руку жены и своими пальцами обнял её пальцы.

— Надо согласиться, — сказал дед, — пусть Бог простит, но я у крысы снял со стены карту. Если идти за пароходом на восток, до границы четыре тысячи пятьсот километров. До полюса — полторы тысячи. Да от полюса до Америки, думаю, столько же. Это нам не под силу. А от острова до Норвегии, называется Шпицберген, всего тысяча четыреста. Три месяца идти на северо-запад.

— Я не дойду, — тихо прошептала бабушка.

— Я тебя не брошу, — сказал дед.

— Знаю, что не брошишь. Я согласна.

На следующий день дед пошёл к друзьям в стойбище. Ненцы посоветовали идти месяц строго на север. Потом — на запад.

— Ты идёшь — и лёд идёт, — пояснили опытные люди, — в море, бывает, в ноябре выйдешь — к середине зимы на место придёшь. В море умки много. Голодный не будешь.

Дали деду две пары нижнего белья из пыжика и две пары верхнего из камуса, унтайки, глубокие рукавицы и нарты. Лыжи он решил сделать сам.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Волею судьбы, в девяносто восьмом году Роберта как знатока тракторной техники вертолётом забросили на остров, где Крафты провели последние месяцы



совместной жизни. Остров был многоэтажный. Внизу — широкая песчаная прибрежная коса. На приливной волне покачивалась одинокая лодка. Выше — обширная терраса с жилым домом под крутым откосом. В иллюминатор Роберт рассмотрел только окна и крышу дома. Наверху — ровное плато. На нём — вездеходы, трактора, вертолётная взлётка. Опытным взглядом механика, проработавшего на Таймыре четыре десятилетия, он подметил большую отдалённость жилья от места работы. Зимой, в пургу, можно промахнуться и уйти чёрт-те куда, в Карское море. Об этом он сказал встречавшему его бригадари старателей, невысокому косолапому мужичку с чёрными от татуировок кистями рук.

— Понимаешь, дом перенести — так ловко стоит, — рассудил бригадир, — рядом ключ и не замечает. Для техники у дома место есть. Только — сам увидишь. Здесь немцы жили. Говорят, два старика. Такую красоту произвели, что я и в России не видел. Грешно такое ломать.

Действительно, спустившись с плато, Роберт замер. Дом окружали бесчисленные клумбы, отсыпанные плодоносной землёй. Ни одна из грядок не повторяла форму другой. Золотоискатели усадили удивительное поле диким луком, черемшой, укропом, редиской. Была даже грядка с картофелем. И всё зеленело.

Человек, пролетевший сотни километров над диким, голым, необжитым пространством, не мог не почувствовать, что здесь побывали неординарные руки и высокая душа. Невозможно было предположить, что такую работу за два коротких лета сделали тяжело психически больные старые люди. Роберт, знавший историю этого поля, подумал — это памятник Ирме! Дедушка рассказывал, как он высмотрел под горкой торфяной пласт. «Неплохо бы завести огород, — подумал, — надо посоветоваться с Эрной».

Бабушка увидела в случившемся перст Божий. Всё исполнится: семья соберётся вместе, Ирма с внучкой вернётся к ним, если они выполнят Его волю.

Дед приступил к добыче плодоносного грунта. Киркой откалывал куски мёрзлого торфа. Бабушка грузила их на волокушку, сделанную дедом из листа жести, и, впрягшись вдвоём, они тащили груз к дому.

Роберт был в дедовой штольне. Нынешние хозяева острова, догадливые на готовенькое, закрыли вход дверью — и получился прекрасный мерзлотник. Замка не было. Роберт вошёл. Высота — пригнуться не нужно, потолок — полукругом, с обеих сторон — полки, между ними — узкий проход. Смерил длину шагами. Больше десяти метров. Удивительно, на что способен человек! Дед называл штольню ямой, огород — цветочницей. Никогда не приукрашивал свой труд, даже скромно принижал его. Ещё одно своё изобретение называл уменьшительно — воротком. Оно тоже сохранилось на острове. На берегу бухты, на высоких опорах настилен бревенчатый помост. Над помостом хитроумно закреплён деревянный круг, напоминающий барабан для перевозки электрокабеля. Солнечные часы? Следы прошлых цивилизаций? Золотоискатели никак не могли определить предназначение этого сооружения. Всё объяснялось просто. Охотники били белух. Вытащить на сушу полутонную тушу им было не по силам. Рубили в воде топорами. Вода от крови становилась красной, как отражение заката. Смотреть на это для дедушки было невыносимо. «Мы люди, — думал он, — и для нас видеть муки, кровь и смерть людей тяжело. Ирма живёт среди рыб. Она для них как сестра. Горько ей видеть такое». Для стариков мысли о дочери и внучке стали наваждением.

— Конечно, — думал дед, — остановить убийство ему не по силам. Но сделать что-то, чтобы в море меньше лилось крови, он должен.

С упорством обречённого собирал дед на берегу выброшенные приливом брёвна. Он построит ручной ворот, и четверо молодых мужчин смогут легко поднимать зверя на разделочную площадку.

Так случилось, Роберт не удержался, признался, что он внук тех немцев, что жили в этом доме. И рассказал всё, что знал о жизни Карла и Эрны на этом острове. Суровые мужики, в большинстве знающие, что такое рискованная жизнь, горе и несвобода, молча слушали его.

— Если можно, — попросил Роберт, — хочу побыть в комнате деда один. Одну ночь.

Бригадир, ни слова не говоря, встал и вынес из маленькой комнаты свои вещи.

Железных коек было две. Над одной из них от того времени осталась вышивка на полотне: веночек и готическим шрифтом изречение из Библии. Это, конечно, койка бабушки. Дед, уходя на Шпицберген, не снял вышивку со стены. Чтоб слово Божие и впредь помогало всем живущим в этом доме. Значит, и он не возьмёт эту память о бабушке. Роберт вспомнил рассказ деда о последнем её дне.

Белухи долго не было. Трое истомившихся охотников ушли за оленем, за гусем — что попадётся. Старики, натаскавшись волокуш, отдыхали. Обоих одолевали нелёгкие мысли. Внезапно в комнату ворвался оставшийся в доме охотник:

— Зверь в бухте! Карл Оттович, выручайте!

Один в море он идти не мог. Дедушка отрицательно качнул головой. Все знали, что он дал зарок не рыбалить и не охотиться на воде. Сесть на вёсла вызвалась бабушка. Набросив телогрейку, натянув сапоги (другой одежды у неё не было), она вышла из дома. Но вернулась. Забыла гребёнку. В работе волосы выбьются из-под платка. Поискали гребёнку и не нашли.

— Плохо будет без неё, — сказала бабушка на ходу и ушла к берегу.

Дед наблюдал, как удалялась лодка. Вот она уже далеко, где мелькают над головой тёмные спины. Охотник встал. Поднял карабин. Сейчас над водой полетит звук выстрела. И вдруг второй человек поднялся. Ветер донёс далёкий крик:

— Ирма-а-а!

Бабушка взмахнула руками и бросилась в море. Охотник присел. Лодка завертелась на месте. Больше никто не видел его Эрну.

— Немало жило людей в этом доме, — подумал Роберт, — но если попробовать — вдруг найду...

И он стал внимательно осматривать комнату. Гребёнка лежала за ножкой кровати. Старинная. Полукругом. Матового цвета с жёлтыми пятнами. Между зубьями остался небольшой пучок седых волос. Осторожно снял его. Завернул в газету. «Положу на могилу деду, — подумал, — а без гребёнки бабушке плохо.» Пошёл на берег и, как мог далеко, забросил её в море.

...плохо начинается — хорошо кончается...

В сентябре катер за охотниками не пришёл. Отзимогорили. Задержались ещё на сезон. А дедушка вызвался остаться ещё и на зимовку. Он готовился к побегу. Солил, вялил, молот на мясорубке оленьё мясо. Мешал с жиром и костным мозгом. Запасал топливо. На тонкие пряди распустил пеньковую верёвку. Напитал соляной. Закатал в нерпячий жир. Нарубил свечек. На судке из жести укрепил консервную банку. С дырочками для поддува. Свечу поставил в банку. Сверху кружку с водой. Десять минут — и вода согрелась. Немного — всего стакан. Но руки и душу согреть можно. С нартами пришлось повозиться. В торосах удобны узкие и длинные. Те, что сделали в стойбище, не годились. Дедушка сладил новые. На кухне стояли ящики из слоёной американской фанеры. В них привозили консервы. Фанеры хватило на небольшую пирогу. Фанеру обтянул шкурой нерпы. Лодку поставил на полозья. Обручами от бочек «подкова́л» сани. И тоже «обул» в мех. Нагрузил. Нарты едут и не тонут.

Дедушка всегда опасался отморозить на реке лёгкие. Особенно волновался за Ирму. Зимой на реке тихой погоды не бывает. Лёд понижает температуру на пять-десять градусов. Молодёжь такая неосмотрительная.. Для себя и дочери

дед придумал и скроил маски. Из овчины, мехом внутрь. Крепились как очки — петлями за уши. Маска прикрывала нос и щёки до глаз, подбородок до шеи. У рта — узкая прорезь. В самый жестокий мороз дед с Ирмой дышали тёплым воздухом. Мех не примерзал к коже. Ирма вначале отказалась примерить маску. Потом, хохоча, надела. Ради маскарада. Они с отцом смотрели друг на друга, как две обезьяны. Ирма хрюкала. Дед порывивал.

— Папа, давай поцелуемся, — предложила Ирма.

Потянулись друг к другу, не рассчитали и стукнулись носами. Даже бабушка, всегда серьёзная, рассмеялась.

— Доченька, — думает дед, сшивая новую маску, — я так хотел, чтобы не мёрзли твои веснушки.

Последние годы с рассудком дедушки происходило нечто странное. Всё, что касалось конкретных хозяйственных дел, продумывалось и делалось дедом, как всегда, тщательно. Со свойственным ему учётом всех обстоятельств, со следованием логике и здравому смыслу. Но неожиданное исчезновение дочери, образовавшаяся беспредельная пустота, жестоко травмировали психику стариков.

Тот участок мозга, который контролирует любовь, гордость, восторг, радость — уводил дедушку из реального мира в никогда ранее не свойственный ему мир грёз. Когда впервые бабушка сообщила, что Ирма запуталась в сетях и надо спасти её, у старика мелькнула мысль, чтостряслась новая беда. Теперь с Эрной. Но, поднимая сеть и всматриваясь в тёмное дно лунки, поймал себя на ощущении, что и сам ждёт-не дожждётся появления дорогого лица. Надежда с каждым днём глубже вращалась в его сознание. И он не хотел расставаться с ней.

Бабушкиным снам и домыслам теперь верил, как реальности. Видения трупа, в телогрейке и валенках, пожираемого огромными ненасытными енисейскими налимами, больше не посещали его. В мыслях старика Ирма с внучкой парили в голубой воде. Среди рыб и водорослей. В узорчатых длинных рубахах. Они сами были как рыбы. Им было лучше, чем на земле. Когда Эрна прыгнула в море, у деда только на долю секунды зародилось сомнение — пожалела... освободила... Потом мысль свернула на другую, проторенную тропку. Бабушка нужна Ирме присмотреть за внучкой.

— Видел ты мою дочь? — спросил он бледного после пережитого охотника, поднявшегося к дому. Тот знал о болезни стариков и соврал, глазом не моргнув:

— Видел.

— Звала старуху?

Охотник вытянулся на цыпочках, призывно поднял руки:

— Звала... вот так...

Старик улыбнулся:

— Теперь они счастливы.

...плохо начинается — хорошо кончается...

В конце октября у деда появилось твёрдое убеждение, что кто-то наблюдает за ним, и как только он спустится к морю в полном сборе, тот немедленно остановит его и сдаст властям. Дед ждал пургу. Относительно тихая погода и сорокоградусный мороз стояли полторы недели. Потом температура стала резко повышаться. За сутки дошла до минус десяти. Окружающая тишина наполнялась шуршанием снега. Позёмка полетела по льду белыми лентами. Ветер поднял снег выше окон и окончательно закрыл доступ свету. Отдельных порывов ветра уже не было. Пространство выло и гудело непрерывно. Всё обещало чёрную пургу. Сердце деда наполнилось радостью. В полной темноте, сносимый ветром, он спустился в залив и пошёл на север. Ветер дул в спину. Нарты раз за разом оживали, догоняли его и били в ноги. Дед прибавлял шаг. Снега вокруг было столько, что временами не хватало воздуха и он задыхался. Но шёл и шёл, потеряв счёт вре-

мени и желания остановиться у него не было. Пока не упёрся в торосы. Перевалив через несколько гребней, решил отдохнуть. Ночь была не только вокруг, но и на бабушкиных часах. Установил вешки. Прислонил лыжи к гребню, набросил сверху оленью шкуру. Ножовкой напилел настных кирпичей. Обложил миниатюрный чум. Внутри расстелил другую шкуру. Привязал к ноге потяги нарт. Положил рядом купленный у охотников карабин и, счастливый, уснул.

Компаса у дедушки не было. Его заменяли две полутораметровые вешки с обожжёнными на костре концами. Такими, издалека приметными, знаками охотники метят в тундре капканы. На стоянках он ставил вешки так, чтобы прямая, их соединяющая, сохраняла направление на север.

В тундре Роберт не раз наблюдал, как гибнет человек, потерявший ориентир. А вместе с ним наблюдательность и самообладание. Не придёт на помощь случай — и находят труп, объединенный песцами. Во льдах и океане единственный ориентир — звёзды. В звёздах дедушка не разбирался. Он доверял вешкам и своему упорству. Тридцать дней он будет идти строго на север. Его спасла болезнь. Он не боялся ледяной бесконечности, как лунатик не боится ходить над пропастью. На шестой день торосы закончились. Далеко впереди, в сумрачном пространстве полярной ночи, появилась густая, более светлая полоса.

— Парит. Разорвало льды, — понял дедушка, — выдержит ли лодка его и груз?

До трещины шёл долго. И вышел к фарватеру, пробитому недавно прошедшим ледоколом. Стометровой ширины борозда завалена вздыбившимися льдами. Большинство льдин засыпаны снегом. Старый это снег или новый, наметённый, дед не понял. Нигде между льдинами воды не было. Но над фарватером стоял туман. Дед взял вешки, рюкзак, карабин, лыжи и топорик и стал переправляться. Нарты остались как ориентир направления. Переполз одну льдину. Поднялся на другую. Заметил большой обломок льда. Напрягся, скатил вниз. Обломок проломил внизу тонкий лёд. Ледокол прошёл недавно. Дед по опыту знал, что на каждом судне может оказаться представитель органов. Судьба его пощадила и на этот раз. Перебрался на «другой берег». Поставил вешки и вернулся за нартами. Потом устроил чум, согрел воду, перекусил. Горячую кружку завернул во влажную маску. Вытер насухо лицо. Привязал нарты к ноге и провалился в сон.

К очередному фарватеру дед пришёл через две недели. Здесь лёд был вспахан в начале зимы. Перебраться на «другой берег», не разгружая нарты, не удалось. Северная сторона превратилась в крутой ледник. Дед принялся топорм вырубать ступени. Вырубал основательно, на полную ступню. Груз поднял. Стал поднимать нарты. Соскользнула рука. Нарты, как маятник, качнулись. Развернули деда. Он не удержался и оборвался вместе с нартами. Ударился о лёд головой и потерял сознание. Когда очнулся, долго не мог вспомнить, кто он такой, где он. Медленно приходил в себя, с удивлением рассматривал льдины, нарты, ступени на льду. И вдруг всё вспомнил с неожиданной ясностью. Лагерь, гибель Ирмы, остров и Эрну, летящую в море. И то, что он лежит на дне глубокого ледяного рва и скорее всего погибнет, тоже осознал. Не лучше ли быстрее подняться наверх и застрелиться. Господи, за что? И вспомнил лагерь. Первый пароход в сорок втором году. Все на берегу. С конвоем идёт арестованный Иван Вавилович. Люди опустили головы. Прощаются. У женщин на глазах слёзы.

А вот они с Ирмой в ту страшную зиму тащат по Енисею сани с рыбой. Далеко, у другого берега, чёрная точка. Он видит плохо. Ирма присматривается: человек. Ползёт! Сбрасывают рыбу на снег. Спешат. Это латыш. Весь как кусок льда. На шее, на ремне, винтовка. Руки, ноги — не гнутся. Грузят его на сани. Что-то хочет сказать. Ирма склоняется к губам: «Не теряйте... винтовку... Вавилыча... расстреляют...»

В бараке постелена последняя шкура. Народ сидит плотно. Тихо. Только снаряды начинает распеваться пурга: у-у-у!.. Сейчас сорвёт шкуру. Перевернёт барак.

Хорошо, что он догадался поставить укосы. Оу-оу-оу!.. Ничего у ветра не получается. Мало-помалу, всё шире, громче и веселее в бараке начинает звучать русская, немецкая, латышкая речь. Был святой день спасения. Бог милостив!

Дед сел. Пополз к ступеням, вытащил нож. Загоняя его в трещины, пошёл по ступеням вверх. Поднял нарты. Упаковал груз. Наклоняться было больно. Голова кружилась. Сколько он был без сознания? Кровь под шапкой налипла сухим коржом. Вешки в глазах двоились и плясали. Что-то плохо он видит. Определил направление и пошёл... на запад, к Новой Земле...

...плохо начинается — хорошо кончается...

По расчётам деда, шли тридцатые сутки побега. Завтра он повернёт на запад. Произвёл ревизию провианта: полпуда фарша, три банки американской сгущёнки, сто три свечи, два литра солярки, семьдесят два патрона. Три патрона пришлось истратить. Отгонял покушавшихся на нарты медведей. С самого начала он допустил оплошность. Смазал лодку нерпичьим жиром. И свечи были в этом жиру. Зверь издали слышал желанный запах и шёл за дедом по пятам. Два раза удалось прогнать медведей криком, свистом и ударами топорика об алюминиевую кружку. Три раза он стрелял. Зверь встречался всё чаще. Шёл попутно с ним. Как думал дед, на север. Начиная понимать окружающую его ледяную пустыню, дед сделал вывод: впереди есть открытая вода. Через несколько дней он действительно увидел первую трещину. И, хотя это была всего лишь извилистая черта на льду, дед приготовился встретиться с более серьёзным сюрпризом. Черта уходила в торосные поля. Дальше, у горизонта, над торосами висели полосы тумана.

В мире ещё не придумали аттракцион, равный по сложности передвижению с грузёной нартой в торосах. Тем более, что дед старался сохранить направление. Приходилось тянуть нарты руками, ползти с ними по снегу и льду, перетаскивать груз через льдины на руках. За день он прошёл не более двух километров. Заметил ещё несколько трещин. Таких же, как и первая, почти незаметных в снегу. Потом торосы снизились, стали как невысокие круглые холмики. Идти было легче. Дед решил пройти ещё немного. А вот и первая широкая полынья. Около метра в ширину. Он использовал нарты как мостик. Когда возился у полыньи, заметил мелькнувшую из-под льда косматую мордашку и любопытные круглые глазки. Он знал, что это нерпа. Но подумал про Ирму. Преодолев трещину, дед зашёл за холм и присел по нужде. Из торосов вышел матёрый медведь. Лёг на край трещины. Лапой прикрыл морду, другую опустил в воду и замер. От снежного наноса не отличишь. И вдруг снежная гора резко взлетела вверх. Взмах опущенной в трещину лапы... Победный рёв. Нерпа с разодранным телом взмыла в воздух и упала на край льдины. Не успел медведь добежать до неё, как она перевалилась на бок и сползла в воду. Медведь замер над полыньёй, но протиснуться в тесную щель не отважился.

— Так и человека разорвёт, — в ужасе подумал дед и, не надевая порток, стал кричать на медведя. Тот, озлоблённый неудачей, взглянул на человека и сделал прыжок в его сторону. Дед успел схватить карабин и выстрелить. Медведь встал на дыбы. Дед выстрелил ещё раз и ещё.

— Ты убийца! — кричал дед.

Медведь лежал в пяти шагах и не шевелился. Дед побежал посмотреть, кого же убило это чудовище. Нерпы в воде не было. Лёд был в крови, но вода была тёмной. Почему она так близка теперь? Неужели прилив? Значит, рядом земля! Дед долго всматривался в густой туман впереди, ничего похожего на землю не видел. «Сколько брать мяса? Судя по всему, впереди широкие разводья. Вон как парит. Перегружу лодку. Хотя, можно перевозить по частям». Уложил в нарты окорок, отдельно — кусок на строганину. Неплохо бы попробовать жаркого. Утоптал снег,

поставил судок, на него сложил куски жира. Не пожалел, капнул солярки. Вешку приспособил под веретело. Недожаренное получилось мясо, но сырого вкуснее. ...плохо начинается — хорошо кончается...

По расчётам деда начинался декабрь. Зима вошла в силу. Мороз давил без жалости по всему живому. Первый этап побега кончен. Дед решил следующий день отдыхать. Подкормиться у медвежьей туши. Как всегда, прежде чем лечь, установил вешки, привязал к ноге нарты. Среди сна почувствовал, что медленно опускается вниз. Потом ощутил натиск ветра на стены «чума». Выглянул наружу. Лёд вокруг слабо потрескивал. Пошёл к медведю, нарубил ещё мяса. Решил осмотреть трещину: не увеличилась ли? Трещины не нашёл, осталась малозаметная трещинка на льду.

— Был отлив, — догадался дед, — и льды сомкнулись.

Поднялся на невысокий торос. Ветер угнал туман. В трёх часах хода, впереди, была земля. Берег обрывистый, грозный, на самой верхушке — силуэт избы.

— Если изба промысловиков, — подумал дед, — она может быть пустой.

Достал часы. Скоро полдень. Час стоял на торосе, стараясь высмотреть какое-то движение вокруг избы. Ничего не заметил. Собрал нарты, пошёл к берегу.

— В отлив, — думал дед, — перетащу в избу всю тушу. Путь ещё долгий, патроны надо беречь. Подремонтирую нарты, сменю полозья, почию одежду. Растрепались унты...

Из дверей избы выбежали два человека с ружьями. Солдаты!!! Спускаются на лёд:

— Руки! Кто такой?

В тот год на Новой Земле высадилось много военных. Большинство жило на юге и в центре острова, где предполагалось провести сверхсекретные работы. На север, куда вышел дед, направили небольшую группу пограничников. Если бы у деда был бинокль, он заметил бы, что дом собран из казённых блоков. Такими материалами охотники не пользуются. Хотя — и в этом случае судьба его была предreshена. У пограничников были мощные бинокли. Они заметили его ещё тогда, когда он убил медведя. И слышали выстрелы.

Первым допрашивал деда нестарый ещё лейтенант с жалостливыми глазами. Хмурился, старался быть строгим, но это у него не получалось.

— С этим можно разговаривать, — решил дед и рассказал ему всё без утайки.

Лейтенант рассматривал сидящего перед ним старика.

— Похоже, сошёл с ума, — решил он. — Сколько ему лет? Девяносто? Сто? Сам, как мертвец. А какие сказки плетёт: дочь утопили, жена сама прыгнула в море. Теперь живут как рыбы. За два месяца прошёл с Енисейского залива до Новой Земли. В декабре!!! Хотя — не с Северного же полюса он явился? На вид столетний, а какого медведя завалил и не дрогнул.

— Проясни, земляк, — старается быть серьёзным лейтенант, — жена в море, дочь в море. Зачем тебе себя истязать? Сиганул за старухой — и вся семья с тобой!

— Был разговор, — признаётся старик, — позовут — так прыгну. Мать позвала, мне не показывается. Кто-то должен на земле остаться, мало ли что...

— Почему на Шпицберген? Россия, что ли, мала?

— Россия нас побила. Ни за что. Мы никогда не будем жить как раньше.

— Ни за что, дед? Так не бывает! У тебя половина семьи утопла, а у меня сгорела. Вся. И тоже ни за что. За тобой завтра прилетят. Подлечат. Не будешь болтать лишнего, к дочери отправят. А мне куда деваться?

Роберт измерял дедушкин маршрут. По Карскому морю прошёл он почти пятьсот километров. Было ему тогда семьдесят четыре года.

...плохо начинается — хорошо кончается...

Роберт не может остановить разбежавшуюся память. Наконец уснул. Но спать пришлось недолго. Разбудил внук.

— Дед, ты спишь?

— Сплю.

— Ты приехал?

— Приехал.

— Встречаю тебя второй день.

— А в школу кто ходит?

— Сегодня воскресенье. Дед, подари ружьё.

Роберт открыл глаза.

— Зачем?

— Я волков видел. У Сухого ручья.

— И что?

— Сидел на дереве.

— А волки?

— Стояли вокруг, крутили хвостами.

— Это не волки — собаки.

— Я тоже думал — собаки, стал слазить, а один как бросится! Чуть не стянул меня с ветки.

— Дикая собака хуже волков. Не верь, если хвостом крутят.

— Подаришь ружьё?

— Придётся.

— Спи, дед. Первое слово дороже второго.

Ошарашенный Роберт сел на кровати. Он думал:

— Внук — ребёнок, но проснулась горячая кровь Крафтов. Остаётся только молиться за него...

...плохо начинается — хорошо кончается...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Знаменитый путешественник Василий в детстве, в одиночку, поднимался на пики Кавказа. Потом были Северный Урал, Тянь-Шань, Таймыр, дикие хребты Дальнего Востока. В российской команде, идущей к Южному полюсу, был штурманом. Торил лыжню. Один раз доверился непрофессионалу. Некто «новый русский» привёз из Австрии в Норильск дельтоплан с двигателем. По просьбе милиции, он и Василий вылетели на поиски пропавшего в тундре человека. Облетели заданный район. Возвращались в гараж. Пилот не смог сбросить скорость, и они врезались в бетонное здание.

Василия Рыжкова на Таймыре помнят.

Роберт на пенсии. Живёт в Красноярске. Собирает документы для отъезда в Германию. Внук заканчивает школу. Бредит Севером. Тренируется в Саянах. Сам смастерил нарты. Иногда неделями живёт в тайге. Непройденных маршрутов на его век хватит.

## ЗАПИСКИ ЩУКИНА

### РАССКАЗ

Щукин возвращался электричкой. Перед Москвой, прихватив сумку с товаром, он вышел в тамбур покурить.

Там стояли двое.

— Сумку оставь, и вали, — сказал один, надвинувшись на Нестора.

— Мужики, не надо бы, а?

— Ты что, не понял?

— Еще не поздно, — сказал Щукин. — И, надеюсь, вы оцените данный акт милосердия. Александр Македонский, отпуская на волю пленных индусов с их боевыми слонами, сказал: «Ступайте и расскажите всем о славе и величии греческого царя». А я вам скажу проще. Если еще раз замечу ваши поганые морды, накажу.

В ту же секунду Щукин ощутил удар, перед ним вспыхнули искры.

Похожие огни он любил наблюдать у реки, когда давали салют. При этом душа подполковника Щукина наполнялась непонятной гордостью за державу, которая обобрала его до нитки и выбросила на дно жизни. Только в дни праздников народа он стоял на мосту, а теперь лежал в жиже из снега и липкой дряни. Грохотали колеса, хлопала дверь. Пассажирам он был неинтересен: кто еще может валяться в тамбуре, кроме бомжа или алкаша...

Когда огни перед глазами погасли, Щукин обнаружил, что у него украли сумку. Интересно, кто, размышлял он, милиция? Вряд ли. Те бы сначала документ спросили, а уж потом по морде.

Он встал, отряхнул шапку, и выяснил, что челюсть вывихнута. Еще убытки. Двенадцать блоков «Явы золотой», купленных у оптовиков по полтиннику, это шестьсот рублей. Плюс то, что он мог получить с перепродажи — то есть десять рублей с блока, — еще сто двадцать. Но, главное, одолженные на раскрутку шестьсот долларов.

Одежда промокла, кожу стягивал холод, спина чесалась.

Выйдя на перрон, Нестор вздохнул и побрел в вокзальный туалет. Там пахло хлоркой, мочой и гуталином. Щукин посмотрел на себя в зеркало. Из-за перекоса его лицо съехало в сторону злобного изумления. С такой внешностью, да еще без регистрации, далеко не уедешь.

Некоторые граждане брились перед зеркалом и также с отвращением смотрели на свои лица, опухшие от водки и дальней дороги, хотя их никто пока не бил.

Щукин вынул карандаш, зажал его зубами и резко повернул. Вспыхнула боль, челюсть хрустнула, но встала на место. Он заперся в кабинке, снял джинсы, тельняшку, принялся выжимать их над унитазом, укоряя себя. Ну, не болван? Кто же прячет баксы в сумке? Лучше бы за пазуху или в ботинок. А теперь ни денег, ни товара.

Поскольку Щукин увлекался историей, он уважал Цицерона и верил в несокрушимую силу риторики. В туалете, обсыхая у батареи, он стал сочинять речь для кредитора. Вот, к примеру, если б тот призвал его к Лобному месту. Проект пла-



менел метафорами и цитатами, как клумба в городском саду, и мог поколебать самого черствого заимодавца, но не мясника из Апрелевки. К тому же и финал выглядел слабовато. Перед заключительными словами «...так что, пожалуйста, не отрубайте мне голову» требовалось внедрить мысль о том, что денег-то у него все равно нет и не скоро предвидится.

Он так увлекся, что не заметил, как рядом возникла работница туалета, толстая брюнетка с усами.

— Слушайте, мужчина, — молвила она, уперев руки в бока, — я за вами давно наблюдаю. Вы зачем пришли? Сделали свое дело — уходите. Мы закрываемся на уборку.

— Да, да, конечно, — согласился Щукин, неохотно отрывая спину от тепла.

В метро Нестор ездил по чужой пенсионной карточке, которую когда-то выменял за бутылку водки. Шаря по карманам, он вспомнил, что пропало кое-что важнее денег. От этого у него даже кольнуло в боку и по спине поползли мурашки. В сумке на колесиках остались паспорт гражданина Украины, но главное — тетрадь с записями впечатлений от быстротекущей жизни. То есть дневник, который он вел уже много лет, назвав «Записками Щукина», чрезвычайно им гордился, никому не показывал и мечтал когда-нибудь издать за свой счет. Он спускался по эскалатору, нащупывая ступени ватными ногами. Но когда раскрылись двери вагона, поезд проглотил Нестора вместе с его мыслями — то есть выключил аналитическое сознание и понес в Сокольники.

Московское метро еще и не на такое способно.

Настя, встав на табурет, как раз развешивала белье на кухне.

Устроившись у окна, Нестор стал смотреть на ее ноги. Ноги были так себе, среднего качества, как сказали бы в бывшем его батальоне, не для господ офицеров. К тому же, когда она приподнималась на цыпочки и отрывала ступни от тапочек-зайцев, Нестору были видны мозоли на ее пятках. Щукин, разглядывая наросты, похожие на янтарь-сырец, думал о том, что за комнату он платил Насте целых полгода, и неужели не хватило на педикюрные щипцы.

Да, так надо бы и записать в дневник: «Похожие на янтарь-сырец».

Она просила подать прищепки, и Щукин подавал, стараясь вложить деревяшки прямо в ее красные ладони. Настя, сопя, закидывала на веревку лифчики, кофточки и трусики, какие Щукин не раз видывал на Черкизовском рынке, где сбывал свои сигареты. Передавая прищепку за прищепкой, он не без тревоги ждал, когда она спросит про деньги.

Покончив с бельем, Настя позвала к чаю, и они принялись окунать в кипяток пакетики. Нестору всегда казалось, что такую расфасовку нарочно придумали, чтобы отучить людей от сердечного обряда чаепития. Не нужно колдовать у самовара, как любят русские, греть ладони о чайник на циновке по-японски или смотреть в глаза гостю, наполняя чашку, как принято у англичан.

Щукин снова подумал о сумке. Он представил, как воры развязывают шнурки и видят добычу — тугие блоки «Явы золотой». Деньги они, конечно, пропьют. Сигареты выкурят или сбудут у другого вокзала по дешевке. Паспорт с одесской пропиской и просроченной регистрацией выбросят на помойку. А его тетрадь, обкурившись, станут читать вслух, хохоча и вырывая страницу за страницей. Вот что в особенности обидно.

Нестору захотелось восстановить в памяти хоть какую-нибудь запись — ну, например, про то, как служил в спецназе, потом воевал добровольцем в Приднестровье или про то, как матросил на речной барже, но не смог. А могла бы получиться книга.

Настя, наблюдая, как Щукин пьет чай, закусывает печеньем, отламывая его по кусочку, как подбирает со стола крошки в ладонь, думала, что хотя мужик он и безденежный, но неплохой, совсем не злой и еще не старый. Только морщина на лбу, похожая на восклицательный знак, и усы искрятся. Ну, так это у многих искрятся, от переживаний судьбы. Она разглядывала его плечи, руки с крупными ладонями, как у землекопа или шахтера, острые коленки, обтянутые джинсами, и на мгновение представила, как он обхватывает ее ручищами и валит на постель. После развода с бывшим мужем-прапорщиком ее уж давно никто не обхватывал и не заваливал.

При последней мысли Настя почувствовала секундное обмирание организма и даже жар, но, быстро взяв себя в руки, произнесла в строгости:

— Итак, Нестор Иванович, кажись, сегодня у нас пятнадцатое?

От этого «кажись» ему всегда становилось дурно. Но теперь он был готов ко всему. Поэтому, уставившись в окно, где шевелились черные ветки, Щукин покорно молвил:

— Я помню, Анастасия Георгиевна.

Настя достала блокнотик.

— Значит, за февраль и март. Сто долларов. Или в рублях, если хотите.

— Мартовские календы еще не наступили, — мрачно заметил Щукин, не отрывая взгляда от окна.

Она уронила руки на колени.

— Что вы хотите этим сказать? Какие календы?

— Вы не поверите даже, — молвил Нестор, краснея, хотя говорил чистойшую правду, — но меня обокрали.

— Обокрали?!

— Ну, да, в электричке. Сумку с товаром укатали. А в ней деньги, паспорт. Нынче даже не знаю, как быть.

— Как быть, как быть, — передразнила Настя, вставая. — Все, Щукин. В таком печальном случае собирайте манатки и уходите.

Чтобы потянуть время, он убрал со стола чашки, свою и Настину, вымыл их, поставил в сушку, протер стол.

— Пакетики не выбрасывайте, — приказала Настя, бдительно следя за Щукиным, — слишком жирно по одному разу заваривать. — И Щукин послушно привязал их сушиться над плитой. Издали они напоминали мокрых мышей.

— Вы, может быть, не в курсе, Анастасия Георгиевна, — сказал Щукин, — но мне и собирать-то нечего. Из манатков есть только карманные шахматы и книжка «Жизнь двенадцати цезарей».

Настя смотрела на Щукина мрачно, исподлобья, подперев голову ладонями.

— Вот вы, Анастасия Георгиевна, наверняка эту книжку не читали. А если б прочли, то узнали б, какая сволочь был император Нерон. Я вам даже больше скажу: хуже самого поганого подмосковного мента. Хотя подмосковный мент — самый злой в мире и хуже украинского, уж вы поверьте.

— Вы мне, Щукин, зубы не заговаривайте, — сказала Настя, шлепнув ладонью по столу. — Катитесь-ка лучше вместе со своими шахматами и цезарями ко всем чертям, пока я на самом деле милицию не вызвала!

— Примерно такой исход событий я и предвидел, — констатировал Щукин тоном полководца, проигравшего сражение.

Тут Настя заявила, что комнату она лучше вьетнамцам сдаст. Они хотя по-русски ни бум-бум и водку не пьют, потому что не могут ввиду природной слабости, зато тихие и платят вовремя.

— Водку они пьют, только настоящую на драконах, — возразил Щукин, служивший военным советником во Вьетнаме. — А платят от страха. Их так запугали, что они готовы платить всем подряд, лишь бы не война.

— Не ваше дело.

— Хорошо, — согласился Щукин, опершись о дверной косяк, — я уберусь. Шахматы возьму, буду дальше задачи разгадывать. А книгу о цезарях вам оставлю, на добрую память.

С этими словами он бросил ключи на стол, и Настя услышала, как в передней, щелкнув, затворилась дверь.

Нестору было некуда идти, и он устроился во дворе у песочницы.

Дул не сильный, но холодный ветер. Он обернулся. Единственно, что хоть как-то прикрывало спину, был железный щит с изображением ребенка. Ребенок полз на коленках, как собака, среди луга ярких опиумных маков, испуганно глядя на Щукина, а надпись гласила: «Все лучшее — детям!»

В Настином доме горели окна, кое-где мерцали телеэкраны, по которым передавали счастливую жизнь.

Нестор застегнулся, натянул на голову капюшон и попытался рассуждать системно.

Пропали паспорт, дневник, его выгнали из квартиры. Это плохо. Зато жив, и это хорошо. Угряз в долгах. Апрельский мясник пошлет своих шестерок по электричкам и рынкам — искать Щукина. Если его найдут, будет плохо. Но осталось пятьдесят рублей, и это еще куда ни шло. Руки-ноги целы, значит, есть свобода передвижений — тоже плюс. Минус в том, что плечо все еще болит после ранения. Особенно в непогоду.

После полуночи ветер утих. Щукин засунул ладони в рукава, поджал под себя колени, после чего его перестало знобить, и он незаметно уснул.

Ему сразу же приснился дивный сон, будто он в старом зале и вокруг сверкают люстры. Вдруг объявляют, что Нобелевская премия по литературе присвоена неизвестному доселе автору из России, Нестору Щукину. Господь милосердный, думает он во сне, да ведь это никак не меньше миллиона! И Насте хватит, и мяснику, и сумку с «Явой золотой» искать не надо, пусть подавятся! Гости аплодируют. Нестора просят к микрофону. «Ваше Королевское Величество, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа! — начинает он. — Мог ли я, офицер запаса, а ныне простой торговец сигаретами, мечтать, что окажусь в самом Осло, где будет замечен мой скромный труд «Записки Щукина»!..»

В этом месте Щукин, к сожалению, проснулся.

Перед ним — Настя Филимонова, в платке поверх тертой шубки. Она протянула ему сверток.

— Зябко? Вот, хоть свитер возьмите, от мужа остался.

— Обойдусь, — сказал Нестор, отвернувшись. — Я, Анастасия Георгиевна, хоть нынче человек без адреса, но мое самолюбие уязвлено вами до последней степени крайности.

— Самолюбие? Нет, вы посмотрите на этого охламона! — воскликнула Настя, обращаясь в темноту, словно за ней была не помойка, а сверкающий зал в Осло. — За комнату не платит — и еще обижается. Берите теплую вещь, вам говорят! Пока не передумала!

Нестор развернул сверток и понюхал свитер.

— От него казармой пахнет.

— Чудак вы, Щукин, я же его в химчистку носила.

Он похлопал себя по карманам, достал сигареты, закурил.

Настя уселась рядом, плотнее укутавшись в платок.

Окна в доме напротив гасли одно за другим. Люди, насмотревшись телевизора, укладывались спать. Нестор вспомнил про раскладушку в Настиной квартире, про

наволочки со штампом «МПС», пахнувшие карболкой, про тяжелое, ватное и почему-то всегда чуть влажное одеяло, которое он любил натягивать до подбородка, и ему стало грустно.

Вдруг Настя сказала:

— После ухода вашего я задумалась...

— О чем? — насторожился Щукин.

— О разном... Вот живет человек рядом, знаете ли, и понемногу привыкаешь к нему, как к коту.

— Это уж вовсе обидно, Анастасия Георгиевна, — сказал Щукин, дыша на ладони. — Кот, хотя и чистошерстное животное, но жрет безмерно, чем нисколько на меня не похож. Зачем вы кривите душой? Гай Юлий Цезарь тоже кривил, за что его и зарезали у дворца, как свинью.

— Зарезали? — Настя посмотрела на Щукина с ужасом.

— Ну да.. Вы, очевидно, о другом думали, но съехали на кота.

— Вообще-то о другом, — успокоившись, согласилась Настя.

— Так о чем же именно?

— О вас. И обо мне... Если вы, Нестор Иванович, не дребедните и вас на самом деле обокрали, то денег с вас я нескоро получу.

— Логично, — согласился Щукин.

— С другой стороны, люди мы одинокие, и каждый из нас томится печалью неутоленного сердца.

Щукину показалось, что он уже слышал это в каком-то сериале.

— Что касается меня, Анастасия Георгиевна, то я томлюсь не столько сердцем, сколько желудком.

Настя на некоторое время умолкла, перебирая кисти вязаного платка.

— Я перед тем, как вас искать, кролика разморозила, — сообщила затем она, заглянув в синее лицо квартиранта.

Щукина заинтересовал проект с кроликом, и он встал.

— Вы же собирались его на Пасху разморозить?

— До Пасхи далеко, а пост еще не начался.

Стоило Щукину представить тушеное мясо, лицо его свело судорогой и рот наполнился слюной. Он даже сплюнул, чтобы избавиться от видения, и снова закурил, хотя и не хотел.

— К вашему кролику, Анастасия Георгиевна, я не смогу прибавить даже хлеба батон. У меня, правда, сохранились целых пятьдесят рублей, но булочная уже закрылась.

— Тогда хоть пива купите, — сказала она. — Как раз бутылки на три хватит. В ларьке всю ночь дают.

— Вам же с утра в депо?

— Завтра у меня выходной, — сообщила Настя гордо. — Я со сменщицей договорилась. Хотя после нее мойщики никогда вагон нормально не моют. А кому нравятся грязные трамваи? Вот вам, к примеру, нравятся?

— Не очень-то.

Поздний ужин задался, и Нестор, в майке, трико и тапочках, наслаждаясь теплом кухни, обсасывал ребра кролика.

— Волшебная еда. Такую еду, Анастасия Георгиевна, могли подавать лишь в Риме при императоре Августе.

— Откуда вы все это знаете? — спросила Настя, ковыряясь в зубах ногтем и допивая пиво.

— Прочел у Плиния Старшего. В ту пору закуски подавали на миниатюрных галерах, которые плавали в фонтане. Гости возлежали вокруг. Захотел закусить — дерни за веревочку. У вас случайно нет фонтана?

— У меня есть ванна, — строго сказала она. — И нам туда давно пора. Или передумали?

— Нет, нет!.. Но, может, сначала — вы?

— По отдельности с мужиками я уже пробовала, — со знанием дела отозвалась Настя, расстегивая халат. — Потом начинаются сюрпризы.

— Не понял...

— Вдруг вам что-то во мне не понравится?

— Мне в вас, Анастасия Георгиевна, все нравится, — сказал Щукин, неотрывно глядя на белое тело женщины.

— Это с непривычки, — объяснила Настя и, проведя пальцами по стриженной голове Щукина, ушла раздеваться.

Нестор снял трусы, повесил на крючок, отодвинул занавеску у ванны и восхищенно заметил:

— Даже не знал, что бывают такие водители трамваев! А то напялят на себя шмоток, а что там, под шмотками, сразу и не разберешь...

Утром молча, не глядя друг на друга, жарили яичницу, потом пили чай. Нарушив эту застенчивую тишину, Нестор изрек:

— Должен признать, что ты женщина замечательная.

— Прекрати, Щукин.

— Нет, в самом деле. Такие гетеры бывали только во дворце кесаря Калигулы, хотя он их не очень уважал, поскольку был еще и пидором.

— А кто такие гетеры? — насторожилась Настя.

— Ну, это вроде придворных купальщиц.

— Ага, ага...

Сам удивляюсь, как это за целых шесть месяцев я тебя не разглядел.

— Это комплимент? — спросила Настя, счастливо смеясь и вытирая руки о кухонное полотенце.

— Наподобие, — сказал Щукин, тоже сияясь улыбнуться.

Ему вдруг захотелось сделать для нее что-нибудь значительное. Например, если б остались деньги, сбегать к ларьку, купить шоколаду. Или починить кран в ванной. Или, больше того, покрасить окна и переклеить обои. А потом лечь на диван, закрыть глаза и ждать, пока Настя не подкрадется и не поцелует, как ночью. Но вчерашнее несчастье, когда рухнули последние надежды хоть немного заработать, раздать, наконец, долги и зажить по-человечески, камнем лежало на душе, не давая расслабиться.

Щукин наблюдал за движениями Насти, как ловко она расставляет тарелки в сушилке, подметает линолеум, и пытался разгадать, с какой стати, уже выгнав, она вновь пошла искать его. Пожалела? Или влюбилась? Хуже, конечно, если влюбилась. Нестору не хотелось связывать себя никакими чувствами, и любви женщины он боялся не меньше, чем своей, хотя уж, признаться, никого после смерти жены так и не полюбил.

Покончив с уборкой, Настя уселась напротив Нестора, привычно подперев голову ладонями.

— Мне, наверное, пора, — сказал Щукин.

— Куда ты собрался? — забеспокоилась Настя. — Если насчет комнаты, даже не думай. У тебя и так неприятности. Считай, что не должен мне ничего. И вообще... остался бы, если хочешь?

Щукин надел куртку, натянул на голову шерстяную шапку и погладил Настю по щеке. Он вроде бы впервые заметил, что глаза у нее не серые, как ему раньше

казалось, а голубые. Как у фирменной куклы Барби. Только живее и выразительнее. Данное наблюдение ему также захотелось занести в дневник, если б его не украли.

— Это из-за денег? — спросила она. — Сколько ты должен, кому?

Не дождавшись ответа, Настя махнула рукой, опрометью выбежала в свою комнату, вернулась с конвертом, вытряхнула на стол купюры, пересчитала.

— Вот, почти десять тысяч рублей, все, что у меня есть. На Турцию копила.

— Тогда я знаю, что мы сделаем.

На вокзале Нестор с Настей увидели рекламу, сверкающую, как новогодняя елка. Надпись гласила: «Выиграй поездку в Бразилию, страну, где растет табак для «Явы золотой!»»

До посадки оставались минуты.

Щукин разглядывал витрину.

— Чем меня в особенности удивляет Россия, Анастасия Георгиевна, так это тотальным враньем. Во-первых, никто ничего не выиграет. Это факт. Во-вторых, табак для «Явы золотой» растет не в Бразилии, а в лучшем случае в Болгарии...

— Будто бы у вас на Украине не врут, — возразила Настя.

— В Одессе, — строго поправил Нестор, подняв вверх палец, — у нас шутят. Это не одно и то же.

...Тело Щукина, которое лежало в тамбуре посреди лужи крови, нашли под утро, когда бригада машинистов осматривала вагоны перед выездом из депо на маршрут.

*Щёлкино, 2004 год.*

## ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ

### РАССКАЗ

Был июль.

Улица лежала в кружевной тени. Перед невысоким крыльцом толпились люди, в основном молодые, нервно смеялись, курили, сидели прямо на вытертых ступенях; при его приближении встали и расступились.

Он прошел сквозь живой коридор. С ним здоровались — опасно и подобострастно; одним кивком ответив на все приветствия разом, он вошел в здание, и запах разогретой пыли сменился запахом пыли холодной.

Прохлада.

Экзаменационные списки на стенах. Запах пота и духов. Здесь тоже толпились, и тоже приветствовали его, и женщина в зеленом шелковом платье, видимо, мама кого-то из абитуриентов, нерешительно задала какой-то вопрос — и отстала, напоровшись на его взгляд.

Он прошел в застекленные двери, и запах холодной пыли сменился другим, давним, как эти стены, и совершенно неопределимым.

Лица. Приветствия. Гладкие ступени цвета лежалого льда. Снова приветствия. Из залитого солнцем коридора он шагнул в темный зал, где посреди прохода стоял стол с настольной лампой. Освещенная сцена была пуста.

— Можем мы наконец начинать?

Он опустился на дожидавшийся его стул. Счастливые обладатели мобильных нажали каждый на свою кнопку. Нежный электронный писк, мгновенный зеленоватый свет, дальше — тишина.

И — приступили.

Вчерашние подростки скрипели старыми ступеньками сцены, на трясущихся ногах входили в пятно света и говорили чужими голосами, повторяли заученные слова, смотрели перед собой, но видели только белые пятна прожекторов — таким ярким казался им свет среди темного зала. Их останавливали, умышленно сбивали с толку, давали им новые задания — он молчал, откинувшись на спинку стула, и только иногда мучительно щурил маленькие воспаленные глаза.

Вот на сцену вышла высокая, светловолосая, в безвкусном макияже девушка; чуть напрягшись, он разглядел ее талант, небольшой и цепкий, как шуруп, и ее характер, похожий на стенку из толстого оргстекла. До времени выдержит, потом даст трещины.

Он сощурился — силуэт девушки расплылся перед глазами, он увидел ее судьбу. Окончание института, год работы в плохоньком театре-студии, неудачное замужество, двое детей, нищета, контора, в которую она устроится секретаршей, и только потом, лет в сорок, удачное знакомство с...

Он не стал смотреть дальше.

— Спасибо. Следующий...

Движение тяжелой бархатной шторы. Шаги по лестнице; среднего роста юноша в желтой как лимон рубашке.

Минуту он слушал монолог Карла Моора, потом, поджав пальцы в ботинках, увидел талант юноши — кусочек бетона размером с горошину. Брак предварительной консультации. У парня нельзя было принимать документы.

Смотреть судьбу юноши он не стал.

— Спасибо. Следующий...

Шептались члены приемной комиссии. Возможно, кто-то захочет взять парня в желтой рубашке на свой курс. И отчислит — через год, через два...

На сцену поднялась маленькая чернявая девушка в назойливо-алом платье. Его тронули за рукав; да, он знал, что именно эту *надо* брать. Его предупреждали.

Он улыбнулся краешком рта. Девушка читала легко, как по маслу, ее натаскивали лучшие педагоги.

Он прищурился.

Талант был, но заурядный, как вареное яйцо. Стиснув зубы, он увидел ее судьбу — сразу после института папа устроит ее в лучший театр, и она проработает несколько сезонов, играя роли второго плана, потом ей наскучит — и ее устроят куда-то еще...

Усилилась боль в груди. Левая рука привычно нащупала на столе аптечную упаковку.

— Спасибо...

Он смотрел их одного за другим.

Попалась девушка с талантом ярким и твердым, как огромный самоцвет. Преодолевая головокружение, он посмотрел ее судьбу — и увидел блестящие роли в дипломных спектаклях, отсутствие столичной прописки, и провинциальный театр, и больного ребенка, и долгую жизнь, ушедшую на добывание лекарств...

Прошла первая пятерка. Вполголоса обсудили, расставили оценки в экзаменационных листах; он только подписывался. Коротко кивал, один раз отрицательно покачал головой.

Прошла вторая пятерка.

Их таланты были, как камушки на морском берегу, как осколки янтаря, как шлифованные стекляшки. Изредка попадались самородки покрупнее; их носителей ожидали годы нищеты, жизнь в гримерках с женами и маленькими детьми, разводы, роли, успех, амбиции, роли, водка...

Запустили третью пятерку. Первой на сцену поднялась девочка в светлом платье, маленькая и тощая, почти без косметики, с короткой толстой косой на плече. Девочка остановилась, опасливо глядя в темный зал, часто заморгала, привыкая к прожекторам — и внутри у него дернулась, затрепыхалась ниточка.

Много лет назад, вот так же сидя в темном зале и просматривая чередой идущих юнцов, он увидел Алину. Теперь ее имя известно всем, у кого в доме есть хотя бы радиоточка, но дело ведь не в славе; тогда ей было семнадцать, она поднялась на сцену, невзрачная и напуганная, он посмотрел — и увидел ее изнутри, а потом увидел ее судьбу-фейерверк, судьбу солнышка, взлетевшего в зенит естественно и легко, согревающего всех, до кого можно дотянуться, и понял, заранее ликуя, что вот оно, вот, наконец-то...

И сейчас, глядя на девочку с косой на плече, он поверил: вот оно. Снова. Как хорошо, что я еще не умер.

Девочка начала читать какие-то стихи, у нее был звонкий «тюзовский» голос, и был талант, похожий на большой орех в слое золотой фольги. Она вошла во вкус, оставила волнение, члены приемной комиссии разглядывали ее более чем заинтересованно — а он откинулся на спинку стула, слепо шаря на столе в поисках аптечной упаковки.

Померещилось. Показалось. Не то. Он слишком устал. Нет, она будет учиться, и будет даже работать, но все это — не то...

Третья пятерка прошла.



— ...Перерыв?

Он подписал последний экзаменационный лист. Перед глазами стояла пелена; спускаясь по лестнице, он случайно скользнул взглядом по лицу той чьей-то суетливой мамы в зеленом шелковом платье — и увидел надежды, не сбывшиеся в мамашинной жизни, и страстное желание устроить судьбу хотя бы дочери, той самой, что зачем-то поступает сюда вот уже третий год, — и снова не поступит.

Помнится, Алину тоже не хотели брать. Он сам ее вытащил, на свой страх и риск, хоть и был тогда — никто, молодой преподаватель...

Теперь он шел в кафе.

Он знал всех официанток в забегаловке напротив. А они знали его норму.

Он ускорил шаг.

И уже будучи на противоположной стороне улицы, у самых дверей кафе, — услышал, как на втором этаже покинутого им здания один коллега сказал другому:

— Спился... Жаль.

## УВЕРЕННАЯ НИКА

### РАССКАЗ

Мы трахались как взрослые собаки, а спали как щенки: хоть и касаясь друг друга, но свернувшись каждый сам по себе. И взрослым собакам, и щенкам — всем было хорошо. Прелесть интеллектуальных занятий была нам знакома, но не застила простых собачьих радостей: попить, покушать, порезвиться, лизать богам лапы и бездумно глядеть на невозможную луну. Меня звали Ника.

Моего чуткого мальчика звали Владислав: он был очень нежен со мной, и он был лучше всех, кого я знала. Мы жили в неожиданно нам доставшейся родственной квартире: комната и кухня, ванная и коридор для игр, а что ещё надо — то есть, я имею в виду, а что ещё бывает, — то есть, а что ещё может быть? Незаметные соседи промелькивали пару раз в выходной, пару раз вечером; утром мы их не видели — они уходили затемно — мы любили утро. Поутру город такой sereneкий и трогательный — плакать от счастья хочется, как жить хорошо. Мы даже завтракали рано: рано позавтракаешь и снова бежишь на улицу (у нас и удобства во дворе были, все говорят — некомфорт, да нет, не настолько: просто смешно, забавно, когда знаешь, что всё это ненадолго с тобой и не навсегда, скоро жизнь изменится к лучшему, но нравиться она должна, так мы считали, уже сейчас. Мы даже записки друг другу на туалетной бумаге писали, до того нам пофиг были все условности, так нам свободно и удачно жилось). Через месяц Владик пошёл на работу.

Я сидела дома, ну, это так говорится, а на самом деле и по магазинам ходила, и по делам, и пройтись... Однажды встретила со школьной подругой, та не сразу узнала меня, восхищалась, как ты похудела, а мне смешно: не виновата, говорю, нет, таблеток не пила, ем всё подряд. Стала с тех пор на себя обращать внимание, как бёдра там, а как грудь, и такое было счастливое время, что всё почти мне нравилось: свеженькая, и Владика я была всегда пожалуйста, вот только он... Ну, я и устроилась.

На работе на первый взгляд не до шалостей, а побегаешь, приживёшься — и понимаешь: всё то же самое. Молодая стайка, все ласково так, «ребята», — словом, детский сад какой-то, так мне повезло. Постоянно какие-то сборища, кофе, клиенты с пирожными, но больше всех мне нравился наш самый-самый начальник, просто по-дружески или не по-дружески, а как старший, и по секрету, конечно, — никому я ничего не говорила, летела, сломя что попало, после работы домой, Владик там, милый там, хороший, дома не так весело время бежит, зато уют, покой, говорят, спокойствие, маленькая семья. Семейное всё у нас хорошо было, Владик ходил на курсы, и я, на работе наперебой убедили, поступила на заочный. Надо значит надо: купила калькулятор, тетрадей, а дальше? В школе-то я сообразительной была, а через пять лет оглянулась — такую в себе нашла простоту, проезжай и не сворачивай. Владик то да сё, потыкался, но сам, ги-ги-ги да помощи, такой же: подобрались, значит. Мне стал помогать Павел Викторович: на работе он обязательно задерживается, начальственно выходит в зал, вполголоса интересу-

ется положением, а у меня положение тяжёлое, я студентка, мне надо учебный отпуск давать, и за обещание в сессию захаживать на работу почаще... Можно подумать, я собиралась! Всё случилось как-то само собой, и подробно объяснять такие вещи незачем: мы гуляли и в дождь, и в ветер по пустынным переулкам. Павел Викторович, что называется, делился накопленными сведениями о жизни. Это я пока исключительно в прозаическом смысле: считал, сколько на его веку открылось вокруг служебных романов, рассказывал, что у Ленина в голове, как в старом чайнике, была сплошная накипь, и водил меня смотреть на бюст какого-то Кошкина. Странная штука эти бюсты: и зачем у них нет рук? Если бы руки свисали, было бы гораздо смешней.

«Хорошие дела быстро не делаются», — любил повторять Павел Викторович, и вот теперь я не могу понять: то ли то, что у нас с ним произошло, было исключением, то ли... В ноябре наш отдел заступал на дежурство, и я в первых рядах. Дежурному полагается ждать, пока уйдут сначала все фанатичные пользователи компьютеров, потом все неисправимые трудоголики, потом все самые несчастливые мужья — в общем, это до позднего вечера, а обед у нас в двенадцать, последний кофе — в три, вот и стряслось, наконец, что-то невообразимое: ещё сидели в секторе неразлучные коллеги Серёжа и Олежа, а начальник отдела уже пригласил бедную проголодавшуюся дежурную почаёвничать в свой кабинет. Этим своим определённым мужеством Павел Викторович меня по-настоящему тронул: мы сидели друг перед другом, подчинённая перед начальником, и болтали, не включали верхний свет, я смеялась, мы смотрели в окно, а из наших рабочих окон во все стороны далеко видно — и всюду город, и просторная городская околица, и дымка, и огни... Когда я спохватилась, что помещение уже, может быть, давно без присмотра, то так оно, конечно, и оказалось. Вслед за мной зашёл Павел Викторович. «Эх, Ника-Ника, — приговаривал он, — эх, Ника-Ника...» — всё было опять как-то очень, как Владик, только сильнее, только старше и мудрее, а я всё не... вместе, вместо, и небо расползлось, и веко околицы взметнулось, венчики ближних деревьев завертелись, взбивая придорожный дым, поплыли ночной — темнота в темноте — радугой, всё кончилось, слёзы кончились, прохладные, гладкие пальцы сплелись электрический танец-разряд на моей спине, гладили меня, касались шеи, щеки, я прижала их к губам и поцеловала, а город говорил: «Ну, что ты, ребёнок... Ну, что ты...» — возможно, говорил он мне.

В июне я сдала свои первые экзамены: победила, значит. Владик работы после курсов не нашёл, а на старой становилось всё неприличней: теперь он сидел в своём счету, перестелил на кухне линолеум и читал книги по астральной психологии — многое у нас совпадало, и мы решили завести ребёнка. За девять месяцев с деньгами должно было что-то устроиться, так мы думали, а вышло не девять, а больше, то есть вообще ничего не вышло, ничего у меня, наверное, не получалось; с Павлом Викторовичем у нас был серьёзный разговор, что я молодая, у меня всё впереди, что он жалеет и не будет, я охотно плакала. Пошла в санчасть, легла в кресло, хоть и не люблю; колола витамины, вела температурные графики, неслась куда посылали, делала за ползарплаты рентген, потому что для Владика будущий ребёнок неизвестно почему стал очень многое значить, и немедленно за оставшуюся плюс премия — в стационар. Муж приходил не так чтобы часто, но голодать не пришлось: через три дня в соседней палате появилась школьная подруга Настя, та самая, кругленькая, с проблемным абортom; не успела она оттемпературить, как уже встала на ноги и пришла ко мне общаться — вместе наступать смысл событий, как Владик бы сказал.

Моя история про линолеум и психологию её развеселила и успокоила: «Господи, — сказала Настя, сравнивая наши случаи, — хочешь, не хочешь — деньги тебе же», — и расхохоталась, у неё-то уже были двое, мальчик и мальчик. «Потолстеть тебе надо, — говорила она. — Мужа не бойся, они это любят», — и я соглашалась,

брала на колени ледяную кастрюльку и кушала чужие котлетки, голубцы, перец фаршированный с маринованными помидорами и фаршированные помидоры с маринованным перцем, отчего в моём неприспособленном желудке образовывался тугой холодный ком плохо пережёванной еды, и мы шли на процедуры, где я немного отогревала живот в ванночке, не совсем для этого предназначенной, теперь надо было перевернуться наоборот, еда мешала мне дышать, а молоденький врач с двойной макушкой отрешённо копался где-то там, в известных местах, поверяя неприглядной практикой то, чему его по благу и за деньги учили в самом дорогом институте города. К нему же по окончании курса я пришла на итоговый приём, с итоговым же конвертом. Дописав розово-сиреневую справку (бьюсь на оклад, бутафорскую), он поднял глаза и едва уловимо поморщился, как будто бы, поглядев в моё лицо, с неизбежностью вспомнил что-то совсем профессионально другое.

Лечение, по его словам, дало весьма интересные и, в сущности, неплохие результаты, что, впрочем, совершенно не значило, что теперь я могу забеременеть, хотя и обратное пока ещё не было никем доказано, — так, по крайней мере, гласила наука устами этого юного застенчивого взяточника, которого, по утверждению Владика, «как и всё в мире, тоже можно понять». Я сдала кровь на анализы, пришлось и Владика помучаться; ещё ничего не было известно, когда зашла посумерничать Настя, с которой мы за пару предыдущих прошедших дней, чего я никогда не могла бы предположить, достигли большой степени откровенности, благодаря чему и смог у нас состояться ключевой объяснительный разговор следующего нелицеприятного содержания. «По-детски вы как-то живёте, — сразу сообщила мне Настя, — вот что я поняла!» — и на мои робкие попытки выяснить, чем же коренным отличается от нашей не детская, а взрослая жизнь, сказала как отрезала: «Движением!» У них, у нормальных взрослых людей, по её словам, постоянно что-то происходит, что-то меняется, — но не как у меня, «сшила» на «помыла», а из прошлого в будущее: «Даже у таких невысоких и компактных, как собачка», — «Комнатных, как собачка?». — но она меня не слышала, принялась рассказывать, как жутко они залили соседей, когда отвалился бачок (зато появился развод поменять всю сантехнику), что буквально через неделю смехотворный муж уронил банку заплесневелого варенья в новый унитаз (который теперь заклеен и подтекает, но Настю и это радует: «В следующий раз будем умнее, купим полноприводный»), а ещё они с мужем Игорем регулярно двигают мебель и на барскую ногу скандалят по понедельникам. Хотя последнее, на мой детский взгляд, не было признаком каких-то замечательных изменений, Настя и мебелью, и скандалами гордилась особо, — мол, это уже знак качества, не подделка: «А жить иначе — просто инфантилизм какой-то! — говорила она. — “Спокойно и тихо” значит “вообще никак”. Ну ничего, ребёнок вас быстро научит... Повзрослеете!»

Возражать стало, в сущности, нечего, да и незачем. В моей жизни тоже что-то происходило, какая-то поступательность, — и даже, казалось бы, появилась своя скромная, такая обичная, цель, — но ведь и разница между мной и Настей существовала неоспоримо: вопиющая, если к ней прислушаться, разница, объяснить которую, попробуй я об этом думать, было не легче, чем — в Настиных глазах — повзрослеть. Дело близилось к выписке. Явился чрезвычайно нарядный мой муж и произвёл на Настю большое впечатление: «Какой он у тебя, Вероничка, — восхищённо шептала она мне, — тоненький, худой...» — «Куцый, что ли?» — «Дура ты, Верик, хоть и замужем! Это он когда-нибудь будет куцый, а сейчас пацаний. Я, знаешь, — сказала она почему-то в прошедшем времени, — очень таких любила...» — муж, слава богу, мялся за стеклянной дверью; мы с Настей обменялись телефончиками и поглядывали на него теперь очень похоже: «И, наверняка, понимающий», — но если добавить, что меня к тому времени спорадическая сверхчуткость Владика порядком задолбала, это был даже не комплимент, так

что с пронизательной школьной подругой я поспешила распрощаться, и мы с таким хорошим со всех сторон Владиком пошли послушать, как юный, но поднаторевший оракул будет толковать наши бестолковые анализы, и, несолоно не евши, вернулись: «Не готовы», — поехали было домой, но обнаружили отсутствие моей заурядной сумки, Владик побежал в палату. Вышел минут через десять, поклажа на плече: «Быстра твоя Настя», — сказал только (видно, успела и обнаружить, и к себе переташить), а во вторник я причапала за результатами: принял меня, выручая заболевшего молодого специалиста, профессор, академик, паук, был участлив, бережен, нетороплив. Несмотря на это, хватило пяти минут, чтобы надежды Владика... — «Видишь ли, девочка», — профессор начал (вероятно, очень популярно и доходчиво) объяснять механизмы и условия, каких я, к невеликому стыду, ни понять, ни запомнить не смогла, сосредоточив всё своё студенческое внимание на выводах, а выводы были совсем, совсем не утешительны — существовало, впрочем, ещё несколько способов, которые, ввиду явной экзотичности... ни я, ни астролог Владик столько не зарабатывали. Оставалось только выслушать учёные слова ободрения, — их заслуженный доктор, в далёком прошлом жгучий брюнет, произносил, тем не менее, как бы смущаясь — пока я не догадалась, в чём дело, и он не надел на грамматически правильную лысую головуakraхмаленный сизый чепчик, отчего прокашлялся и принялся вещать не в пример солидной. Выходило, что надо верить, надеяться, копить деньги, а покуда не отчаиваться и заниматься любимым делом. — «Кстати, у вас есть хобби?» — китайцы за всех нарожают, людей и так (унылый взмах рукой). — «Полагаю, вы не очень увлекаетесь философией? Ну, это к лучшему, — говорил сумасшедший профессор. — И без философии понятно, что детей надо делать между делом. У них будет своя жизнь, а у вас — уже есть — своя, и нечего её класть исключительно на алтарь продолжения рода. Нечестно, обнаружив себя в тупике, принимать ребёнка за ответ и выход, и когда выхода вдруг не оказывается...» — но что мне было до его клинической мудрости, умирала маленькая мечта.

## 2

Всего-то три станции ехать, но на второй зашли, — да что там, ввалились в вагон они: пьяные муж и жена, а с ними ещё парочка (помоложе, пожалуй, но и похуже), и дети — дети под ногами и вокруг, никак не меньше шести, семи? даже восьми — через одного в серых обновках, голосащие и спорящие, помыкающие поминутно младшенькими и отбивающиеся от понуканий старших, треплющие в карамельных ручонках игрушки бог весть какого предыдущего поколения: может, этих вот горланящих, шатающихся и громко смеющихся взрослых (шестой час — с рынка на электричку и домой, прямо-таки «покидая Лас-Вегас»). — «Ну, знаете, милая, с другой стороны, мы ведь должны быть им благодарны. Разве тот, кто думает, рождает? Надо же прирастать хоть кем-то, а иначе — с чьих налогов получать пенсию?»

Странная зима: мир бледен, как распечатка на загнанном ксероксе. Изредка вглядываясь в привычные, без любви и памяти родные окрестности, я иду домой и думаю о разном. Дом — давно не тот, жизнь тоже не та, и когда преодолены четыре пролёта скрипучей лестницы и закрыта на ключ неприметная дверь, не стоит — то есть пора, но не хочется, — больше делать ничего: ни готовить ужин, ни гладить рубашку, ни стирать платки и носки, — остаётся только согреть себе чаю и ждать обсыхающей куколкой.

Где-то в доме занимаются любовью, а у нас скрипят половицы. Спокойный, почти уверенный, тянущий ритм, а в конце — восемь-девять заполошных раз, будто удалось вырваться из строя, из тела, из (воображается) чужого, пусть повсе-

местного и вселенского, но внешнего ритма — и выпасть, как мечталось героям одного аргентинского писателя? ан нет, — пару ударов в прежнем темпе и всё... «Всё это — обман; точнее, самообман обещаниями; обещаниями себе невесть чего, потому что, во-первых, выпасть нельзя, а во-вторых, и выпадать-то, по видимости, некуда», — вот что я научилась думать этой зимой, но много ли в том радости?

Когда-то, в дни наших встреч, Владик казался мне так умён, так недосыгаем, и в то же время так снисходителен, так понятлив — увы! я пережила не лучшие минуты, пытаюсь объяснить ему причины нашего бесплодия. Никто из нас не знал нужных слов — и дело даже не в объяснениях: никакой верной, или красивой, или попросту тёплой мысли мы не нашли, чтобы утешить друг друга, а то единственное, что умели, так не вполне подходило к несчастному случаю, что Владик запаниковал. Не знаю почему, но он счёл себя всюду виноватым и бросился громоздить несправедливые оправдания, — а оправдания всегда несправедливы, если того, в чём приходится оправдываться, нет и в помине не было. Нежный муж то ругательски ругал условия, то ссылался на подставы светил; вспыхивали и злобно гасли невнятные обвинения... В этой панике, среди воронкообразного, засасывающего, — словно серая вода на дне ванны, — хлюпа и визга мне вдруг всё обрыдло: я больше не любила Владика, не хотела от него ребёнка, но ещё больше и себя, и всех жалела. У мужского страха и впрямь не глаза велики, а язык: я и вздоха не могла вставить в мужнин лепет. Когда же возможность прояснить ситуацию всё-таки представилась, мои бесцветные разуверения (видит Бог, не до них мне было в тот вечер) он принял с исключительной лёгкостью и — замкнулся, отодвинулся. Словно издалека приходилось мне наблюдать, как муж проявлял несусветную деловитость в своём астрологическом соискательстве, писал то восторженные, то надутые письма. На смену счастью в жизни появилась скорость: мир не то чтобы перемещался туда, где не был, но закружился дурной каруселью, — из столицы вернулись родственники, мы сняли комнатку подальше-похуже и под истерический выходной седьмого ноября, в предпоследний день тёплой осени, переехали.

Комната, так называемая «гостинка», и после уборки осталась прокопчена, тускла и почти ужасна. Впрочем, теперь у нас был туалет, отчего в маленькой и тусклой недоквартире неизводимо пахло больничным коридором, — на этом пустейшем пункте моя хваленая приспособляемость дала трещину: я стала гулять вечера напролёт, наматывала то пыльные, то слякотные городские километры. Павла Викторовича нарочно водила по самым людным Пушкинской и Немецкой улицам, но ему, подозреваю, это казалось лучшей конспирацией. После визита в больницу и общения с Настей Владик называет меня исключительно «Вериком» и подкатывает к Верике с известными предложениями исключительно редко, а сам, бывший затворник, пропадает не сказано где. Подругу я как-то окликнула у гостиницы «Город»; Настя то ли поперхнулась, то ли прыснула: «Гуляем?» — потащила в продуктовый. Разглядывали продавцов-практикантов, говорили о превратностях. «Муж — фигня, — снова давала советы кинолог Настя. — На тебя, маленькая, все и так западать будут». Павел Викторович по-прежнему нетороплив, обстоятелен в рассказах, мудро непритязателен в выборе тем. Я перешла в другой, густонаселённый отдел, составляю для них таблицы и гороскопы, институтские зачёты художественно, но всё легче и легче сдаю, нахваталась, в пятницу звоню маме, убираю, в денежную субботу хожу на рынок, по воскресеньям мою полы; честолюбивый Владик мечтает о звании магистра, которое дают где-то в Испании, а у меня мечты нет, — а без мечты нельзя, без мечты могут жить только временно и случайно счастливые. Движение, которого было мало, из нашей жизни исчезло вовсе; остались тяжёлые, не разносимые ветром споры по выходным. И пусть та, собачья жизнь кажется мне теперь... пусть она мне теперь едва кажется, я всё

же хотела бы в неё на минутку вернуться; по первой квартире я часто плачу, — пока проходящий супруг, обложившись книгами, мужественно торит свой путь в никуда: умнеет ли? Меняемся ли? Наверное, кем ни обернись, я так и буду вязать этот свитер вечно (сложный узор, который, запутавшись в счёте или приноровливаясь к размеру, я уже неоднократно распускала, но каждый раз начинала ровней и лучше) — кое-что я вижу теперь слишком ясно, и, может быть, я теперь умная, потому что поняла: глупый человек не должен быть несчастлив. Несчастливый глупый человек — как незаслуженно наказанный ребёнок. Больно смотреть: Господи, за что?

«Тётя Верни-ка, тётя Верни-ка», — старательно здоровается соседская девочка, неслышно переступает высокий порог и глядит на ломтики батона в тостере с жалостью и опаской, как на уши попавшихся зверушек. Мы идём к столу, раскладываем было тетрадки, но замираем у окна. В густых рождественских кустах перед домом, сторонясь человеческих тропинок и вытянув длинную пушистую шею с крохотной головой, пасётся невиданное шерстяное существо. Меня захлёстывают удивление, восторг и нежность, и не отпускают, даже когда экзот оказывается большой припорошенной собакой, которая, наоборот, расхаживает, пригнув к земле крупную голову и подняв поисковый хвост, — и мы бежим во двор и гладим сестричку, не боясь ошибиться, по спине: поперёк, чтобы наверняка.

## **НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ**

### **ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ**

**ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН (1770 — 1843)**

#### СЕРЕДИНА ЖИЗНИ

Край, полный буйных роз  
и желтых спелых груш,  
над озером навис;  
и лебедь, захмелев  
от ласк зеркальных уст,  
к бестрепетной воде  
склонился головой.

Мне страшно: где найду  
я стылой зимой цветы —  
о, где? — и солнечный луч,  
и благодатную тень?  
Стены стоят,  
глухи и холодны.  
Флюгером ветер скрипит.

#### ПАМЯТЬ

Дует норд-ост, любезный  
мне из ветров, поскольку  
он — пламенеющий дух  
и сулит добрый путь мореходам.  
Что ж, иди и приветствуй  
волны дивной Гаронны  
и сады Бордо,  
где с отвесного берега вниз  
тропа спешит и в поток  
глубоко ныряет ручей, а за всем следит  
благородная сверху чета —  
дуб и серебристый тополь.

А еще мне помнится ясно, как  
роща вязов над мельницей  
клонит пышные кроны,  
во дворе же растет смоковница.  
По воскресным дням  
ходят смуглые жены  
по шелковистой земле —  
в марте, когда



ночи и дни равны  
и над неспешной дорогой,  
золотыми снами чреват,  
убаюкивающий колыхнется воздух.

Пусть поднесут  
мне пылания темного полный  
благоуханный кубок,  
дабы мог я забыться, ведь так сладка  
среди теней дремота.  
Нехорошо — бездушно  
смертным помыслом жить.  
Хорошо —  
о сердечных пристрастиях  
с милыми толковать, слушать многое  
о делах минувших  
и днях любви.

Но где ж друзья мои? Где Беллармин  
со спутником? Боязливо  
иные ищут исток,  
ведь исток изобилия — в море.  
Эти же, как живописец,  
копят дива Земли, не страшась  
крылатой войны, и живут,  
одинокие, множество лет  
под безлистой мачтой — в ночи,  
не пронзенной  
ни празднеством городским,  
ни струнной игрой, ни туземной пляской.

И вот в Индиях ныне  
эти мужи —  
на виноградных холмах,  
на воздушной косе, куда  
сходит Дордонь  
и с роскошной Гаронною вместе  
широким разливом  
величаво течет. Да, забирает  
и возвращает воспоминания море,  
и любовь упорно влечет к себе взор.  
Остальное созидают поэты.

### **СТЕФАН ГЕОРГЕ (1868 — 1933)**

\*\*\*

Я твой друг и кормщик и вожатый.  
Что тебе теперь нелепый вздор  
Мудрецов долины тороватой.  
Вниз гляди на них с высоких гор.

Посмотри как чернь спешит рысисто  
В толчее забот ярится шумно  
Всей земле блаженство прочит исто  
Естество насилуя бездумно.  
Вслед за бледным всадником на белом  
Жеребце она течет ликуя  
Гулким роем с гимном очумелым:  
Крест ты солнце мира аллилуйя.

Лишь немногочисленная стая  
Тех кому бряцания не надо  
На знаменах чьих строка простая:  
Вечная любовь Эллада.

#### ТАНЦОРЫ

На южном пляже перед рощей пиний  
они готовы станцевать для вас  
сама истома смуглых сильных линий  
сама услада нестыдливых глаз.

Их танец вас возносит к высям рая  
в ликующие бездны чистоты  
то прядая вперед то отступая  
великолепьем юной наготы.

С какой античной вазы или фриза  
они сошли столь ладно сложены  
но вот поклон финальный и вольны  
они лететь с поляны легче бриза.

#### **ГОТФРИД БЕНН (1886 — 1956)**

\*\*\*

Горестней ведал что ты  
этих извечных стен —  
сот еды и дремоты?  
Невыносим их плен.

Замкнуты все в итоге  
голым оскалом скал  
двери, врата, дороги —  
что же ты здесь искал?

Чаял ли, что услады  
все — только боль и прах?  
Праздничные наряды  
быстро горят в кострах...

Вечер, опустошенье,  
сада прощальный мрак,

сада самосожженье —  
вот несомненный знак:

встречи ли, расставанья —  
в закрепощенном *ты*  
множат одни страданья,  
все стремленья пусты;

без весла и кормила  
плыть в неизбежность бед —  
только это и было,  
только в этом — завет.

### **ГЕОРГ ТРАКЛЬ (1887 — 1914)**

#### НОЧНАЯ ГРОЗА

О, багровый час заката!  
За стеклом — переплетенье  
Дымных прядей винограда:  
В них гнездится привиденье.

Гулкий рой — над смрадом стока.  
Ветер зло стеклом долдонит.  
И табун коней с востока  
Гром вдоль туч слепящих гонит.

Пруд расколот, как зеркало.  
Крики птиц срывают створки.  
Как петардой разорвало  
Ель на пасмурном пригорке.

Ласточки заголосили,  
Словно пленницы больницы...  
Вот и ливень — со всей силы —  
Лупит в кровли и дымится.

#### РОМАНС К НОЧИ

Под звездным пологом чужак  
Сквозь ночь убитую идет.  
Подросток в полусне встает,  
Его лицо белей бумаг.

Кретинка, космы распустив,  
Под зарешеченным окном  
Ревет. С реки, объятай сном,  
Любовный слышится мотив.

Убийца скалится в бокал.  
Больных смертельный ужас есть.

Монашка голая на крест  
Страстей обрушивает вал.

Напев баюльный в дреме сник:  
Младенец смотрит в мир ночной  
Очами правды неземной.  
В публичном доме — смех и крик.

Труп, с оттопыренной рукой,  
Вливая лунный свет в подвал,  
Рисует на стене овал.  
Бормочет спящий, как немой.

### В ВЕНЕЦИИ

Тихо в комнате ночью.  
Серебряный канделябр —  
В одиночества гулкой  
Расщелине.  
Розовый дым облаков.

Черный рой мошкеры  
Затемнил пространство камней.  
И цепенеет от мук  
Знойного дня голова  
Паломника.

Неподвижен залив.  
Черный путь и звезда  
Глядятся в канал.  
И улыбка ребенка  
Терзает меня во сне.

## **ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК (1898 — 1970)**

### ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ

Пускай был день мучителен до слез,  
Исполненный язвительной печали, —  
Твой поцелуй и аромат волос  
Меня в ночи отдохновеньем ждали.

Пусть злого дня безжалостный пожар  
Во мне доверье к жизни жег без меры —  
Твоя ладонь, как благодатный дар,  
Мне ночью возвращала скрепы веры.

И пусть весь мир, с бессмысленной борьбой,  
От альфы до омеги тек в забвенье —  
Серебряно парило надо мной  
Твоих блаженных рук упокоенье.

**ХАНС ТИЛЛЬ (р. 1954, Гейдельберг)**

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

1. Мы по дороге на работу доедаем  
объедки несыгравшейся команды
2. Большие пальцы наших рукавиц  
воздеты над зашкурренным асфальтом
3. Идут из цеха женщины среди  
мастеровых  
с дубинками из вишни
4. Одни из нас арахисом торгуют  
другие на руках несут толстух
5. В бинокли полевые погранцы  
разглядывают наших загоральщиц  
что отмели лежащих в камыше  
с кружками огуречными на лицах
6. Воняет нами гарь огромной свалки  
божественными кузнецами

*Перевел с немецкого Алексей Пурин*

## БИРОБИДЖАНСКАЯ СКАЗКА

Беседа писателя Александра Мелихова с критиком Галиной Ребель

**Г.Р.:** Александр, позвольте наш разговор о вашем новом романе «Красный Сион» начать с того, что меня как читателя больше всего в нем «зацепило» и о чем, как мне кажется, в первую очередь должны быть предупреждены будущие читатели. Предупреждены — в смысле проинформированы, заинтересованы и — отнюдь не на легкое чтиво — настроены.

Самое сильное, несомненное, болевое и страшное в этой книге — судьба маленького Бенци, его исход из безмятежного, нормального семейного мира, в котором все существует в единственном числе и все это единственное (Мама, Папа, Сестры, Брат) несомненно и прекрасно, — в рассеяние, скитальчество, корчи, умирание души, скукоживающейся до состояния крошечной споры, чтобы могло выжить хранящее ее физическое тело. Судьба мальчика из семьи польских евреев, в начале Второй мировой войны оказавшейся между молотом и наковальней и кинувшейся от неминуемых газовых камер немецкого фашизма под защиту менее изоциренного технологически фашизма советского, заставляет вспомнить судьбы Кузьмёнышей А. Приставкина, но в сравнении обнаруживается, что тот ужас еще не был крайним, предельным ужасом. Там кошмару, навязанному извне, противостоит скрытая, потенциально возможная благодарная память о канувших в неизвестность родителей, ибо есть подаренное ими, сохраненное и хранящее детей вопреки всему братство — здесь навязанный извне кошмар проникает в сокровенное, интимное, единственное: навеки отчуждает ребенка и от интеллигентски беспомощного, обреченного в троглодитской ситуации отца, и от мгновенно утратившей интеллигентность, а с нею и материнскую самоотверженность и безупречность матери. Этот кошмар убивает оставшуюся в памяти героя тенью-символом сестру Рахиль — «еврейскую принцессу», умершую от неспособности перенести унижение физиологической обнаженностью подконвойного существования в товарняке, везущем семью в северную ссылку, и, как следствие, от разрыва мочевого пузыря. Расходится Бенци на многотрудных путях борьбы за существование и со своим братом Шимоном по прозвищу Казак, предпринявшим отчаянную попытку оправдать прозвище, но отнюдь не преуспевшим в этом попахивавшем уголовщиной деле.

Путь Бенци Давидана, ставшего на исторической родине, в подлинном Сионе, писателем Бенционом Шамиром, — это путь необратимых и невозполнимых потерь. Чудом возвращенные из небытия по прошествии долгих десятилетий мать и брат Шимон, и новоприобретенная жена Рахиль, и даже сын и внуки — все окажутся подменной, имитацией, «ургаланами», как назвал бы это А. Иванов, жалкими подобиими тех людей и тех чувств, которые навсегда остались в прошлом. И это жестокое, кровавое, голодное прошлое, в котором один за другим погибали физически или разрушались нравственно дорогие Бенци люди, в котором он сам предпочитал превратиться — и превращался — в «незаметного безвредного моллюска», сделало его своим вечным пленником — навсегда надорванным душевно, навсегда бездомным, навсегда одиноким.

Ваша книга обрушивает сложившиеся стандарты и мифы — про сплоченность еврейского народа, про безоглядно преданную и самоотверженную еврейскую мать, про хитроумие, избрательность и непотопляемость еврея-Улисса. Так получилось непроизвольно или вы действительно не разделяете, считаете мифами эти расхожие представления и сознательно оспариваете их? Пожалуй, вы, в таком случае, опровергаете и себя как автора «Исповеди еврея»...

**А.М.:** Вообще-то я всегда стараюсь каждое принципиально важное свое суждение с равной силой сначала обосновать, а потом опровергнуть — этого требует трагический взгляд на социаль-

ную действительность: в ней борются не истина с ложью, а истина с истиной. И если «Горбатые атланты» выражали ужас перед человеческим одиночеством, то следовавшая за ними «Исповедь еврея» выражала ужас перед человеческой сплоченностью. Однако этот ужас был всего лишь субъективным чувством одиночки, чувством, бессильным опровергнуть такое же субъективное чувство коллективиста, который лишь в единстве с другими обретает душевный комфорт.

«Исповедь» — это, если угодно, история обращения трехсотпроцентного русского в стопроцентного еврея. По крайней мере, в один из типов еврея советского. Вначале Лева Каценеленбоген наделен всеми истинно русскими доблестями в тройном размере: рубаха-парень, патриот, храбрец, силач и даже красавец в глазуновском вкусе. И только где-то под майкой прячется едва заметная черная метка — папа-еврей. Пустячок, как выразился Пушкин в «Сказке о царе Никите». Всего-то изредка кто-то дает ему понять, что он не такой, как все, а немножко более жадный, более хитрый, более трусливый... И вот эти капли вытачивают из восторженного пацана взрослого скептика, не склонного приходить в энтузиазм, кидаться в объятия, жертвовать, сливаться с массой... Но тайно завидующего тем, кто на это способен. И стремящегося в отместку оплевать всякое Единство, в котором люди ощущают себя сильными и уверенными.

Помните итоговую формулу Каценеленбогена: нацию создает общий запас воодушевляющего вранья. Ему кажется, что этим он полностью дискредитирует всякое национальное единство: ведь не может представлять ценность то, что основано на лжи! Это взгляд отверженца, которого в Единство не пускают: виноград зелен. Зато Бенцион Шамир, обретший родину, утверждает ровно обратное: все великое основано на какой-то сказке. Собственно, для того же самого он находит более красивое слово, как и рекомендует герой моей предыдущей вещи «В долине блаженных» («Новый мир», № 7, 2005), тоже, кстати, написанной на еврейскую тему. Ни один народ, считает Шамир, не представляет собой никакой ценности — ценность представляют только сказки, которые он хранит и которые его хранят.

И «Красный Сион» вовсе не обрушивает сказок о еврейской сплоченности, о самоотверженности еврейских матерей и о непоколебимости еврейских Улиссов: до тех пор, пока евреи верили в эти сказки о себе, они им и соответствовали в гораздо большей степени, чем те, кто был подобных сказок лишен. Упадок веры в наследственные сказки — это и есть национальная деградация. Так что я эти мифы не обрушиваю, но только ставлю вопрос: какой уровень страдания и ужаса они способны выдержать?

И, как ни странно, советская сказка о пролетарском интернационализме оказалась на диво прочной. По крайней мере, в особо одержимых ею субъектах. Правда, весьма примитивных. В этом, по-видимому, и заключалась главная слабость советской сказки: она была не способна очаровать интеллектуальную элиту.

**Г.Р.:** *В вашем романе очень выразительно показано, как работает на «низовом уровне» мощная идеологическая пропаганда, подкрепленная к тому же неопровержимыми силовыми государственными акциями.*

*«Польским вечным жидам», в числе которых Бенци попал под покровительство советской власти, обрекающей собственных граждан на страдания и гибель, было суждено вкусить и то и другое сторицей и при этом стать материалом, удобрием, почвой для взращивания одного из бесчисленных советских фантомов — Красного Сиона. Добровольным, самозабвенным и бескорыстным апологетом иезуитской идеи воздвигнуть альтернативный и демонстрационный еврейский социалистический рай на Дальнем Востоке выступает в романе взрослый друг маленького Бенци, сапожник Берл — один из самых ярких, запоминающихся героев романа. Берлу ни разу не удается сходу, без артикуляционной раскочки («Бери-», «Бори-») выговорить трудное слово «Биробиджан», но он с упоением цитирует на память речи и статьи политических авантюристов, провокаторов и дураков, захлебывающихся славословиями по поводу пролетарско-еврейских свершений под благодетельным патронатом советских вождей и, разумеется, лично товарища Сталина. Бесконечно наивный, в той же мере одержимый, сколь невежественный, Берл невменяем к правде советского бытия, он в упор не видит безнадежного расхождения между пропагандистскими лозунгами и реальностью. Умирая от истязаний, непосильного труда, невыносимых, нечеловеческих условий, этот уродливый горбун-мечтатель, на последней станции своего земного пути состоящий при «стадах Авраамовых» горбатых верблюдов, изо всех последних сил пытается соответствовать внушенной ему еврейско-пролетарско-социалистической*

*мечте и, в качестве моральной самокомпенсации, чувствует себя Моисеем, не достигшим Земли обетованной.*

*Разумеется, он безумец, слепец. Но вот вопрос: без этой слепой мечты, без этой фанатичной веры в заведомо несуществующую идею как было выжить не только физически, но и морально, душевно, духовно тем, кто оказался между двумя Молохами — немецко-фашистским и советским? Адекватно оценивавший ситуацию отец Бенци выбрал самоубийство. Берл лелеял безумную мечту, которая, тем не менее, судя по всему (и вы это показываете во второй части), давала силы жить немалому количеству его таких же ослепленных советской пропагандой соплеменников. Так что был этот Красный Сион — чистой воды провокация? Беломорско-Балтийский канал национального назначения? Или все-таки шанс выжить? Актуализация национального мифа во имя спасения нации? И почему вдруг сегодня вы обратились к этой теме?*

**А.М.:** На ловца и зверь бежит. Я как раз заканчивал «Долину блаженных» — размышление о путях такой малочисленной и кратковременной, но на редкость яркой социальной группы, как советские евреи, — когда издатель Константин Тублин, «Лимбус Пресс», предложил мне написать книгу о Биробиджане и даже выдал очень приличный аванс. И это пришлось абсолютно «в тему».

Для меня история человечества есть в первую очередь история зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, и никакая государственная пропаганда, никакая политическая провокация не добьются успеха, если им не удастся оседлать какую-то вечную или, по крайней мере, долговечную грезу. Пример тому — распад Советского Союза с его невиданной пропагандистской машиной и глухой цензурой.

То же самое можно сказать и о Красном Сионе: без наложения двух грез — о еврейском государстве и о слиянии всех наций в одну, грезе взаимоисключающих, хотя этого в ту пору почти никто не понимал — биробиджанский фантом раскрутить бы не удалось. Что это было? Как во всех масштабных исторических событиях, смесь наивной веры и изощренного цинизма, романтики и прагматизма. Одна задача была чисто хозяйственно-политическая: вывести излишек населения из-за черты оседлости, где нищета и безработица достигали чудовищных размеров, — притом, что это была приграничная полоса, от населения которой требовалась особая лояльность! Вместе с тем, стихийная миграция наиболее активной части местечкового еврейства в большие города и даже в сельскую местность Украины, Белоруссии, Крыма порождала недовольство местного населения, и советская власть с этим была вынуждена считаться. А тут требуется укрепить границу с расправляющей плечи японской милитаристской грезой, — так почему бы не убить двух зайцев разом?

Однако сам Калинин, инициатор дальневосточного проекта, долженствовавшего составить конкуренцию ближневосточной еврейской грезе, похоже, искренне верил в то, что говорил. Еврейская, мол, нация верная и заслуженная, а своей республике или хотя бы области не имеет; без крестьянского базиса еврейская нация обречена на растворение; Биробиджан нужно превратить во всемирный центр еврейской социалистической культуры — и так далее. Ведь ленинская национальная политика была задумана весьма хитроумно, не всякий и разберет. С одной стороны, пролетарская солидарность выше национальной, все нации должны слиться в одну (в какую — вопрос тонко обходился), с другой — всем нациям предоставляются возможности для свободного развития вплоть до отделения. Так что и сливаться — это по-ленински, и выделяться — тоже по-ленински. Каждый имел возможность слышать то, что ему по душе. Хотя во вполне доступных сочинениях Ленина и Сталина можно было прочесть, что право наций на самоопределение не более чем тактическая уловка. Ибо любая угроза национальным фантомам заставляет нацию сплотиться вокруг своей элиты («буржуазии»), а потому, чтобы разрушить национальные чувства, нужно прежде всего сделать вид, что им ничего не угрожает.

Кроме того, Ленин считал главной опасностью для своего излюбленного фантома — интернационального — русский национальный фантом, «великорусский шовинизм», как он его именовал, а потому для его разрушения считал целесообразным временно поддерживать конкурирующие с ним грезы малых наций, полагая, что, когда придет время, с ними легче будет справиться. Сталин же с самого начала был склонен коренником запрягать самую сильную лошадь — русскую, — чем и навлек на себя упреки в «истинно русском» настроении. Однако во время войны Сталин снова вернулся к этой идее, поскольку справедливо сомневался, способна ли интернациональная идея так уж сильно чаровать широкие массы. Он снова поставил на самого сильного, по возможности убирая с его глаз все, что может его раздражать.



С того-то времени и начали сначала прижимать, а потом и уничтожать тех, кто слишком всерьез принял декларации о свободном развитии всего национального. В конце сороковых биробиджанские поэты и прозаики поплатились именно за то, чего от них требовали: за воспевание своей малой декретной родины как чего-то обособленного, ибо иначе ничего воспеть невозможно. Мой виртуальный персонаж Мейлех Терлецкий — типичный певец Биробиджана, сочетавший героическую романтику с крайней наивностью, чтобы не сказать — примитивностью.

И тем не менее, если бы евреи из западных областей переселились в Еврейскую автономную область, доля выживших оказалась бы многократно выше. Те же, кто верил в биробиджанскую сказку, вроде моего Берла, были бы просто счастливы. А вот папа Бенци... Я не могу сказать, что он оценивал ситуацию адекватно, адекватно оценивают ситуацию только животные, а человек, пока он остается человеком, всегда служит каким-то воображаемым объектам. Папа продолжал служить личному достоинству, думать о репутации своего народа — и убил себя. Зато мама отбросила все красивые мнимости, полностью подчинилась обстоятельствам — и выжила.

Не всякая греза была спасительной — папу его греза погубила. Сестру Рахиль, пытавшуюся сохранить стыдливость в скотских условиях, — тоже. И брат Шимон по прозвищу Казак попытался оставаться крутым — и угодил в тюрьму. Да и сам Бенци выжил благодаря тому, что свернулся в спору, начал замечать лишь полезное и опасное...

**Г.Р.:** При всей значимости национального измерения человеческого бытия, ваша книга наглядно демонстрирует, как в нечеловеческой ситуации с человека сдираются все цивилизационные, в том числе национальные, оболочки и он остается зверенышем-сиротой, инстинктивно цепляющимся за жизнь. Но, едва отодвинувшись от смертельной черты, ощутив ослабление смертельных тисков, тело вновь востребует душу, а душа — сказку, легенду, дающую брэнному частному существованию непреходящий смысл, укореняющую его в прошлом, гарантиющую если не личное, то родовое будущее. Избавленный польско-советскими договоренностями от советского рая, едва не погибнув на не менее жестоком и мучительном, чем предыдущие, пути в Эрец Исраэль, Бенци попадает в «несомненный рай» — подлинный, реальный, вымечтанный предками Сион. Но жизнь его в Земле обетованной не описана, а лишь намечена легким пунктиром, дана в ее итоговом внешнем воплощении (известный писатель, лауреат множества премий, доктор философии), в ее семейной неурядице и безрадостности.

Как это ни парадоксально, Бенцион Шамир не только личного счастья, но и вожденной сказки, мифологического оправдания своей жизни не обрел там, где, казалось бы, сам Бог велел это сделать и куда вроде бы вела логика текста. Ожидаемого противопоставления подлинного Сиона мнимому (Красному) Сиону в романе нет. Израиль здесь лишь некие условные координаты, в которых герой невнятно и несчастливо существует между двумя своими российскими эпопеями. Почему так? Ваш герой навсегда заигнотизирован, отравлен прошлым? И то, что было адом, теперь кажется несостоявшимся раем? Или здесь проявляется то самое меркурианство (см.: Юрий Слэзкин. «Эра Меркурия: Евреи в современном мире»), которое не позволяет еврею приткнуться к месту, врасти в почву, которое мечту о Сионе делает важнее, в том числе и с точки зрения национальной самоидентификации, чем реальный Сион?

**А.М.:** Ну, если в историю растоптанной сказки о дальневосточном Сионе включить подробную и яркую картину Сиона ближневосточного, то прежде всего изменится предмет повествования. Но не менее важно и то, что, телом выбравшись из ада, душой, воображением Бенци остался в нем до конца своих дней. Это, кстати, подтверждается и научными исследованиями: люди, прошедшие лагеря смерти, вместо того чтобы радоваться жизни, уже не могут ей верить, слишком хорошо разглядев ее без покрывала иллюзий. Как и мой Бенци, который каждую свою возлюбленную воображает в воночех вагоне, в вошебойке и постоянно прикидывает, сколько беженцев на соломе разместилось бы в каждом знаменитом храме.

Хотя из старости эта цыганская жизнь уже и впрямь представляется ему почти райской: все были вместе, все были живы и еще не превратились в тех уродов, которых в конце концов выплюнул пощадивший их ад. Жизнь с близкими, вповалку, на соломе, манит его сильнее, чем одиночество в процветающей Земле обетованной.

Нет сомнений, что наши фантазии определяют наше счастье и наше несчастье в ничуть не меньшей степени, чем реальные события. И греза о Сионе для национальной самоидентификации безусловно была гораздо важнее, чем обретенная территория. Могу повторить: всякий народ создается и сохраняется не кровью и не почвой, а системой коллективных наследуемых грез.

**Г.Р.:** *Московская миссия Шамира, который уже в качестве израильского культурного посланника приезжает в Россию, включая его отношения с Рабиновичем-Абрамовичем, участие в каких-то «разборках», мне показалась невнятной, недостойной человека такого уровня и такой судьбы и (простите!) вообще лишней.*

*Что касается, второй, биробиджанской, части, то здесь трагедия сменяется жалким фарсом, причем многоярусным, включающим в себя чужие тексты — образцы еврейско-советского соцреализма, и во всем этом теряется, превращается всего лишь в пассивного, в меру ироничного наблюдателя-читателя главный герой, который был заявлен как крупный писатель, — его несозданная сказка подменяется дилетантскими опытами доморощенного гения Мейлеха Терлецкого и самозабвенными и при этом саморазоблачительными рассказами-комментариями его жены.*

*Что концептуально означает невменяемость, убожество этих людей? Почему в это убожество как-то безвольно погружается главный герой? Что это — капитуляция перед бессмертной, вездесущей пошлостью, бессилие и смирение перед ней? Но такой трагически-экзистенциальный поворот — превращение старого Бенци в спору теперь уже не ради физического выживания, а ради эмоционально-психологического комфорта — не стыкуется с содержанием первой части — воспоминаниями, в которые он погружен и которые для него, похоже, являются единственной несомненной и значимой реальностью.*

*Есть тут еще один деликатный момент: использование в качестве объекта эстетической и идеологической дискредитации текстов реального автора...*

*Вообще, насколько вы в своем повествовании опирались на реальные факты, судьбы, документы?*

**А.М.:** *Общая структура скитаний маленького Бенци полностью соответствует историческим фактам, этот путь проделал мой покойный друг, прекрасный израильский писатель Бенцион Томер. Однако все материальные детали пришлось выдумать, поскольку серьезные люди о таких пустяках не упоминают. Но вернемся к переходу трагедии в фарс. Для меня различие между ними целиком определяется масштабом личности, на которую обрушилось несчастье. А масштаб этот определяется исключительно той системой иллюзий, внутри которой пребывает сам эксперт. Здесь действует своеобразный принцип относительности: пребывая внутри системы, ты лишаешься возможности оценить ее критически, поскольку сами твои критерии истинности, ценности ею же и порождены. Невозможно проверить точность весов, пользуясь теми же самыми весами.*

*Да, сказка о национальном государстве внутри интернационального, с нашей точки зрения, смехотворна. Но Мейлех Терлецкий отдал ей свою единственную жизнь! И потому он такой же герой, как какой-нибудь Курций, отдавший жизнь во имя великого Рима, как какие-нибудь триста спартанцев и прочие общепочитаемые герои. Ибо и они герои лишь внутри каких-то сказок. Которым просто повезло.*

*И невменяемость, убожество этого Мейлеха Срульевича Терлецкого и его супруги есть не что иное, как убожество любой Дульсины, которую рассматривает равнодушный взгляд постороннего, живущего другими фантазиями. И герой мой, «настоящий» писатель, погружается вовсе не в убожество, а в истинную трагедию, которая не сумела обрести тех форм, которые считаются почтенными и красивыми меж людьми господствующей культуры, господствующей системы мнимостей. Пошлость — это вовсе не ординарность или низкопробность, пошлость — это имитация изысканности. Бенцион Шамир, читая убогие сочинения героического Терлецкого, в миниатюре проходит ту давилню, которую прошли все советские писатели той поры, окруженные десятисортными эталонами. А потому тексты реального биробиджанского писателя Бориса Миллера используются не для их дискредитации, а, напротив, для их реабилитации. Вся биробиджанская часть романа — призыв сквозь убогую оболочку разглядеть вечную трагедию обманутой веры.*

**Г.Р.:** *И все-таки возникает ощущение, что декларируемому масштабу личности главного героя не соответствует вторая часть и отведенная ему в ней роль. В первой части он выступает как скрытый автор, субъект повествования, а во второй словно личностно угасает и совершенно слагает с себя повествовательную инициативу. Что-то тут мне не совсем понятно конструктивно-логически. Впрочем, вполне допускаю, что непонятно только мне.*

**А.М.:** Я не могу оспаривать субъективное восприятие, мне остается лишь надеяться, что найдутся восприятия более благоприятные для моего замысла. Ведь читая любую книгу, мы не столько открываем ее истинное значение, сколько его создаем. А потом пытаемся внушить другим. Ведь споры о книгах — это тоже своего рода борьба грёз...

## ПЕРЕВОД НЕПЕРЕВОДИМОГО

В октябре 2005 года в Дели, в Центре российской культуры, состоялась международная конференция «Россия на перепутье: язык, литература и общество в XXI веке», организованная ИНДАПРЯЛОМ (Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы), в которой приняла участие представительная российская делегация. В состав делегации входил и наш постоянный автор известный русский поэт и переводчик Александр Радашкевич, выступивший на конференции с докладом. Предлагаем читателям текст этого доклада, любезно предоставленный автором.

*Редакция*

But I am the seed of another land. Astray there, the armada,  
unamazed, sees glittering in the harbor  
a scarlet throng of kings and queens come to greet them; or  
pages rushing forward in the waves of their mantles, tripping  
one over the other, their eyes glued to the ermine train.  
It is a land filled with palaces, every palace encircled  
by a park, where each is welcomed by the kings and  
queens with their court. And afterwards, intoxicated,  
each is released into a valley where winds carry his captured glance  
and a rotting trunk warms his back — until a drifting hand runs  
its fingers through his curls, across his delicate eyelids, over the years.  
And seeing deception nowhere, you see that everything has a purpose.  
Lost there, the armada lay down in the coral forest...  
But even I could never deceive one whose faith was easily shaken.

Но я зерно иной земли. Туда прибудшую  
армаду не изумит, что в гавани сверкает,  
встречая, алая толпа из королей, из королев, что,  
в волнах мантий подлетая, паж, себя самих  
собой смутив, упёрли око в хвостик горностаю.  
Земля заставлена дворцами и каждый парком  
заключён, где всякий принят королями  
и королевами с двором. И всякий после, охмелён,  
отпущен в дол, где ветры носят взятый взор,  
где греет плечи рыхлый ствол — пока плывущая рука  
перстов не пустит по кудрям, по векам тонким, по векам.  
И ты увидел: всё не зря, ни в чём не зрев обмена.  
Туда заблудшая армада легла в коралловом лесу...  
Того и я не обману, кого нетрудно разуверить.

редких и нелепых животных, которые давно занесены в Красную книгу исчезающих видов, — в ту самую, которая очень скоро будет переименована в животную «Книгу мёртвых». Как сказал Булат Окуджава: «Скоро их повыловят всех до одного». И ещё, чтобы вы знали, что в этом воплощении я — бродяга.

Меня пригласили почему-то выступить именно в секции переводчиков, и я вспомнил, как ребёнком с несказанным удивлением узнавал, что эта валкая, неудобная штука, которая скрипит и с которой всё время падаешь, называется «стул»; что эти таинственные своды, отвешенные от мира крахмальным занавесом жёлтой скатерти, под который все почему-то норовят засунуть свои огромные взрослые ноги, зовётся «стол», и что этот бескрылый ангел с лучистыми глазами и голосом, неизменно отзывающимся где-то в недрах груди и почему-то заставляющим сжиматься сердце, называется «мама». Так я впервые узнал, как странно Божий мир переводится на язык двуногих, и так я вступил во всемирную секцию пожизненных и добровольных переводчиков сущего, проявленного и воплощённого. Недаром в одном популярном у нас переводном издании, которое никогда не станет бестселлером, сказано: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.*

Когда я увидел в школе первые иностранные буквы и мне сказали, что «вэ» это «ви», что «бэ» это «би», что «а» это «эй» и что «эс» это «эс», я прибежал домой и, потрясённый, рассказал не слушавшей меня бабушке, что скоро узнаю, как переводятся все буквы и тогда начну понимать все языки... Потом я очень загрустил, узнав, что это не так, и надолго остыл к иностранным языкам. Грущу я и до сих пор.

Мои первые стихи слушала (обычно засыпая после второго стихотворения) известная переводчица с французского, английского, итальянского и немецкого и литературовед Надежда Януарьевна Рыкова. Было это в Ленинграде в начале 70-х. В Советском Союзе, как известно, была великая переводческая школа, и Рыкова принадлежала к ней с молодости. Многие большие и малые литераторы, не имея из-за цензурных соображений возможности публиковаться, уходили из творчества в переводчество, высказывая чужими — зарубежными — устами классиков и новаторов то, что не слишком или совсем не одобрялось на родном языке. Они составляли как бы добровольческий (хотя им за это прилично платили) всесоюзный лагерь переводчиков.

Но эти увёртки, кстати, не помешали той же Надежде Януарьевне отсидеть пять лет в самом что ни на есть настоящем лагере, в Караганде. В конце войны друзья, соседи по коммунальной квартире, во время писательской пьянки по поводу 7 ноября наградили её «орденом морковки»... Дело в том, что до этого им привезли из колхоза овощи, в частности морковь. И одна из морковок имела весьма необычную форму, наводящую на самые неприхотливые мысли. Эту «морковку» и изобразили в центре картонной звезды. К несчастью, сосед развесёлых интеллигентов работал художником-прозектором (т.е. тем, кто препарирует изъятые из покойников органы для различных целей и делает муляжи человеческих внутренностей). И однажды настал исторический момент, когда его пригласили ухаживать за главной, «вечно живой» мумией страны. Знаете, там, не доходя до Спасских ворот, напротив ГУМа? И тогда, естественно, его стали просвечивать со всех возможных и невозможных сторон так, что добрались, конечно, до самой «морковки».

В лагере Рыкова заболела туберкулёзом, что возможно, спасло ей жизнь. Её определили вести статистику в санчасти, где помирали один за другим бедные доходяги. Однажды её вызвали к лагерному начальству и спросили: «Что это у вас в санчасти без конца умирают?» И Надежда Януарьевна твёрдо и без запинки отчеканила: «Гражданин начальник, у нас умирают только те, кому положено умереть».

Вселенные сменяли одна другую, вздымались и умирали великие ветра, и в конце 70-х я стоял уже в уголке потребительского рая (известного переводчикам под неверно толкуемым античным словом «демократия»), в маленьком американском городке, со своим центром, своей ратушей и своим негритянским гетто, куда не рекомендовалось заглядывать ни днём ни ночью. В центре располагался знаменитый Йельский университет, и внутри «кампуса», охраняемого университетской полицией, было относительно спокойно. Так вот. Я держал в руках снятую с полки малоизвестную там книгу под названием «Преступление и наказание» какого-то русского депрессивного автора. Это был американский перевод на английский. Открыв наугад, я попал

на ту знаменитую сцену, где Свидригайлов, помышляя отправиться «в чужие края», «в Америку», т.е. покончить с собой, подходит к каланче, где стоит у запертых ворот в серой шинели и «ахилессовой каске» еврей-пожарный, который говорит ему: «Здесь не места!» Мне нравилось выверять свой неуверенный английский по знакомому тексту. Но не настолько неуверенный, чтобы не заметить, что в переводе у закрытых ворот стоял «German fireman». И тут я понял, что здесь, в «Америке», куда навеки уехал Свидригайлов, какая-то своя главная, пусть и незримая, мумия, свои прозекторы и своя «морковка», и что лучше и безопаснее переводить мир так, как переводят здесь — в соединённых штатах переводчиков. Этим и занималась так называемая «третья волна» советской эмиграции, послушно изощрявшаяся в равнодушии и даже презрении к своей бывшей родине. Хотя — разве бывает родина бывшей?

Proud to be American! — популярная в тех краях формула, которая плохо переводится на русский язык. Потому что Родина вызывает у нас (по крайней мере, раньше так было) чувство любви. Но в любви нет никакой гордости. А в гордости нет никакой любви.

В начале 80-х я с великим облегчением покинул звёздно-полосатый рай, с его «мечтой» о наживе, и оказался в старом добром Париже, где снова научился жить, и стал работать в эмигрантской газете, работавшей против моей страны на всё те же тёмно-зелёные деньги. Называлась она «Русская мысль». Однажды наш немного блаженный наборщик, делавший какие-то невероятные и красноречивые опечатки, ухитрился пропустить в названии букву «с», и на первой странице свежего номера красовалось огромными чёрными буквами «Русская моль». Потом возник вариант «Русская моль». И если бы его не успели уволить, он сумел бы набрать «антирусская». Ибо такой она и была.

Там, в Париже, судьба привела меня работать с семьёй русских магараджей, чтобы я хорошо понял на своей плебейски-поэтической шкуре смысл старинной поговорки «Il n'y a pas de roi pour son valet» (т.е. для слуги короля короля не существует). Они, как и положено, любили говорить по-французски. Однажды старшая великая магараджа сказала кому-то по августейшему телефону: «Приходите в четверг на завтрак». К тому времени я уже полюбил её как человека и, понимая ход непостижимых в своей поднебесной неперевоидимости мыслей, мягко заметил, что надо было сказать «на обед». «Но ведь вы живёте во Франции. Dejeuner значит «обед». «Но вы, Ваше Незакатное Всесовершенство, сказали «завтрак». А завтрак — это petit dejeuner». «Не говорите глупостей», — огрызнулось Всесовершенство.

В назначенный день приглашённая пара явилась в восемь утра. А в полдень я застал невыспавшуюся магараджу в великом гневе. «Какие дураки! Никаких манер! Я же сказала по-русски: приходите на завтрак!» «Они и пришли». «Но, вы понимаете, я же пригласила их на обед!» «Но ведь вы, Ваше Надмирное Всепросвещение, не можете быть неправы. Поэтому считайте, что они приходили на обед... То есть на завтрак».

Вечером великая магараджа пожаловалась одному из приближённых: «Вы представляете, он сказал, что я не могу быть неправы... Но я не такая дура! Он хотел сказать, что Я была права! Это невыносимо!» Но великая магараджа была уже в преклонном возрасте и тоже по-своему любила меня, насколько позволяет августейшее сердце. Поэтому мы злились друг на друга всего один день.

Однажды японский переводчик спросил меня на приёме: «Как мне вас представить?» Я сказал: «Але-кса-ндр Ра-да-шке-вич». «Ой, мне это трудно!» «Мне тоже», — подумал я про себя.

И снова заскрипели великие шестерёнки и закрутились трансмиссии вселенных, и я уже стал бывать на родине не меньше двух раз в год, с каждым разом всё меньше узнавая и понимая её. У мавзолея, где давно не работал тот прозектор, уже не сменялись, чеканя балетный шаг, часовые, и из небытия было извлечено пыльное чучело двуглавого орла, которое вызолотили и набили пожирнее, и народу была торжественно указана — в светлой дали — новая «морковка». Мёртвые идолы коммунизма были малой кровью заменены на тучного истукана, которого переводят то как «мамона», то как «золотой телец»... Хотя такой ли уж «малой»? Мы теряем в год миллион русских людей, согласно точному рецепту сердобольных «друзей» нашей страны. И хотя до 15-ти отпущенных нам миллионов ещё далеко, не исключено, что для нас будет изобретена какая-нибудь экспресс-демократия, вроде fast food. Ведь всегда наготове ответ: «У нас умирают только те, кому положено умереть». Недаром один наш великий магараджа, Александр III, так любил повторять: «У России друзей нет». Правда, он не был в Индии...

«Но я по родному краю тоскую в родном краю», — очень точно подытожил Юрий Кузнецов наше внутреннее сиротство. В городах появилось множество непереводаемых косноязычных надписей, понеслись потоки иностранных машин с чёрными непроглядными стёклами, рядом смелых демократических реформ людей быстро очистили от их законных сбережений, появились богатые и очень богатые и, соответственно, бедные и очень бедные, в небо взметнулись мраморные банки, а старики начали от отчаянья выбрасываться из окон своих нетопленных квартир, книжный рынок заполнили коммерческой дрянью, дикторы стали делать позорные ошибки и говорить с каким-то странным базарным выговором. В считанные годы русские научились всё хуже изъясняться по-русски и превратились в неких россиян, и теперь часть выжившей интеллигенции, не оказавшейся на горьковском дне или ещё глубже, превратилась во всероссийскую секцию переводчиков, которая автоматически переводит с «русского» на русский уходящий в небытие и в подполье (и, надеюсь, в Сопротивление) язык. Наш костенеющий, наш умирающий язык. «Я никогда не думал, что долгожданный приход свободы обернется уходом культуры», — признался народный артист СССР Муслим Магомаев.

XX век, уставившись в «чёрный квадрат» Малевича, обесценил, извратил и обезличил тёмной энергией денег всё и вся, заполнив мир суррогатами и дешёвыми подделками. Я не знаю, для кого мы пишем сегодня, для кого переводим. Для себя? Друг для друга? Для доживающих свой горький век романтиков всех столетий? Для ненавидящих нас критиков, живущих нашей отравленной кровью?.. В какой-то момент, задав себе эти вопросы, я чуть не задохнулся, и мне захотелось бросить весь этот потаённый безысходный труд. И тогда мой добрый друг, проживающий между Москвой и Монреалем поэт Бахыт Кенжеев написал мне: «Как для кого, милый? А для Господа Бога?» Наверно, он что-то знает про Божий замысел о нас...

Являюсь ли я переводчиком-пессимистом? О, не более чем Мона Лиза, переводящая свой созерцательно просвечивающий взгляд с одного праздно зевающего иностранного посетителя на другого и никогда не сводящая его, и не более чем Георгий Иванов, который гениально заключил в своём «Портрете без сходства»:

Я верю не в непобедимость зла,  
А только в неизбежность поражения.

Анна Ахматова говорила, что поэту вредно заниматься переводами в творческом возрасте. Но я успел-таки коснуться творческих миров некоторых замечательных поэтов и писателей. Возможно, это произошло в минуты душевного молчания, когда звёзды отворачиваются от нас. Но так или иначе, когда присутствующая здесь Светлана Василенко, прочитав мой перевод «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, сказала, что это написано кровью, мне показалось, что я внёс свою малую, посильную лепту в перевод непереводаемого.

But I am the seed of another land... И когда наша Ранджана Саксена неожиданно сообщила: «Индия зовёт вас», — я понял, что звал её. Звал давно, в чёрно-белом детстве, когда Радж Капур пел, обливаясь незримыми слезами и сжимая в руке своё смуглое сердце: «Бродяга я-аа-аа...»

Теперь большую часть года я живу в малоизвестной в Индии стране, которая называется Чехия и которую я называю, по её подлинному историческому имени, Богемия, чтобы ещё больше запутать следы. Так вот, у меня есть там друг-чех по имени Даниэль. Я думаю, что он ангел. Потому что уже много лет он не стареет и любит бесплатно сдавать свою кровь. Хотя другие считают его почти нормальным человеком, спортсменом и отцом семейства. Во всяком случае он был нормальным, пока не попал в Индию. Он был там (т.е. здесь) уже три раза, по целому месяцу. Совершенно один. Он видел впервые мёртвого человека прямо на улице, купался в Ганге, ходил по джунглям и храмам, жил в маленьких городках, всегда далеко от суетных туристических маршрутов и ярких дорогих отелей. И, главное, пользуясь небольшим набором английских слов, он говорил с людьми, говорил о том, что давно забыли в его маленькой уютной европейской стране, — о жизни и о смерти. Когда Даниэль узнал, куда я еду, то сразу прибежал и целый вечер поил меня самым лучшим чешским пивом. Весь вечер он смотрел на меня, как на Тадж Махал на восходе солнца, и когда я спросил его, было ли ему грустно хоть раз и скучал ли он по дому, он посмотрел на меня своими ангельскими глазами, как на последнего из безнадежных идиотов, и сказал: «Я очень жалел о том, что не могу остаться там ещё на месяц. Или на всю жизнь».

Думаю, что то, что он узнал здесь, слишком просто. А потому — непереводаемо. Как те несколько переводных картинок моей жизни, которые я сейчас показал, чтобы не утомлять вас своим хроническим неумением делать доклады.

*Дели, октябрь 2005*

*Международный семинар «Russia at the Crossroads: Language, Literature, Culture and Society in the 21<sup>st</sup> Century»*



## ФЛАГ НАД КУНСТКАМЕРОЙ

**Хотите — верьте, хотите — нет: некогда и я баловался петербургским сепаратизмом. Верней — ленинградским, поскольку дело было в цветущей советской юности.**

Как-то в компании собутыльников по Ленинградскому ордена Ленина имени Жданова (сокращенно — ЛОЛГУ) я поставил на обсуждение такой проект: развести мосты — Дворцовый, Лейтенанта Шмидта, Тучков и Строителей (ныне, кажется, Биржевой) — поднять над Академией Наук либо над Кунсткамерой флаг Вольного Васильевского Острова — в ту же секунду посредством «Голоса Америки» объявить на весь мир, что ВВО, добровольно присоединяясь к одной из островных держав — к Великобритании либо к Индонезии, либо к Японии, — просит ее принять ВВО под свою защиту.

Последний пункт вызвал разногласия. Кое-кто предлагал конфедерацию с Исландией либо с Мадагаскаром. Сейшельские и Антильские никому в голову не пришли — должно быть, потому, что сами тогда (1963, что ли, год) не обладали политической независимостью. По той же причине отпадали острова Пасхи, а также Зеленого Мыса.

Сейчас я и сам, пожалуй, предпочел бы Мадагаскар: в свое время этот остров едва не сделался российским владением; старая любовь не ржавеет; но, боюсь, Мадагаскару не хватило бы военного авторитета защитить Васильевский, — даже если бы нас, что вряд ли, поддержали Петровский и Елагин.

А тогда, в 1963 году, мы допили что там у нас было (наверное, болгарскую «Гамзу», трехлитровый, оплетенный бечевкой сосуд темного стекла), докурили болгарскую же «Пчелку», разошлись — и все позабыли. То есть никто не то что не настучал, а даже не проболтался — вот были люди! — по каковой причине ваш покорный слуга избежал общих работ; катался в зреющем социализме, как все равно сыр костромской в масле вологодском.

### ПЛАГИАТ

Если честно, идея была не моя. Еще будучи школьником, я почерпнул ее в уборной нашей коммунальной квартиры из запрещенной пьесы расстрелянного Михаила Кольцова (если не ошибаюсь): «Сорок девятый штат». На родительских книжных полках было почему-то (ни у кого руки не дошли прополоть библиотеку) довольно много таких изданий, за которые никого из нас не погладили бы по головке, — мне, стало быть, светил интернат для ЧСВР (членов семей врагов народа), но тоже обошлось. Я читал их — как и всё подряд, — естественно, без спросу, по ночам, в сказанном помещении, на деревянном стульчаке, имея над головой тусклую зыбь стиральной доски, защищенный от внешнего мира проволочным дверным крючком.

Это помню, а сюжета пьесы не помню. Действие происходило вроде бы в колониальной стране. Там был какой-то очень отвратительный отрицательный герой — акула капитализма. И он хотел что-то оттягать у положительных героев, какую-то необычайно ценную недвижимость — допустим, участок с месторождением. И вот, когда он добился своего и зло без пяти минут победило, положительные герои вышли в радиозфир и провозгласили этот, допустим, участок — одним из Северо-Американских Соединенных Штатов — новым, сорок девятым (а в момент сочинения пьесы их было, видимо, сорок восемь). САСШ почему-то пошли навстречу просьбам положительных, и акула вынуждена была отвалить несолоно хлебавши. Вот.

Перенести действие в устье Невы тоже догадался впервые не я, но ВКП(б) с НКВД. Они разыграли его под заглавием «Ленинградское дело» — и множество людей в 49-м (не штате, а

году), и в 50-м, и в 51-м признавались на допросах под пытками, что лелеяли мечту об отделении города трех революций от СССР.

Вероятно, Сталин тоже читал эту пьесу Кольцова (не обязательно на стульчаке) и решил приспособить сюжет к решению текущих задач.

То есть выступил, как всегда: как плагиатор-практик.

А я — как плагиатор-утопист.

## БУРОЕ ЗОЛОТО

Предположим, нам с вами (условным нам с условными вами) эта условно наша затея почему-либо удалась бы. Тот же Мадагаскар добился бы через ООН гарантий нашей безопасности. К нам примкнули бы обрадованные трудящиеся массы Каменного острова и Купчина, после чего и весь город, от Смольного до спальных до окраин, стал бы условно наш. А Кронштадт и Ломоносов соблюдали бы нейтралитет. Повторяю: предположим.

Но, спрашивается, какую предложили бы мы новоявленной республике (или великому герцогству, все равно) — экономическую модель? Много ли в Петербурге производится вещей, которые могли бы пригодиться его населению? А производство на экспорт не наладить без собственных энергоресурсов, без источников сырья. Они имеются — кой-какие — в Ленобласти. Но аншлюса не допустят — опасаясь нашего усиления — завистливые Новгород и Псков; и вообще — огромный риск увязнуть в партизанской войне.

Между тем, население не может питаться одним воздухом свободы. Конечно, разведем огороды на крышах, пасеки на балконах, переоборудуем гаражи под хлева, разместим в котельных теплицы, на скорую руку возведем голубятни (тут вам и белковая пища, и беспроводная связь), — но проблемы останутся.

Правда, мы (и, кажется, как раз на Васильевском) делаем подводные лодки. Они могли бы образовать флибустьерский флот (секретная база в укромной мадагаскарской бухте) и, бороздя Атлантический и Тихий, снабжать СПб иностранными товарами.

Но это, как говорится, сопряжено и вообще чревато. Более надежной лично мне представляется другая, традиционная бюджетная статья. Мы ведь, как известно, можем спускать в Финский залив ежедневно до трех тысяч тонн сами знаете чего. А можем, щадя Скандинавию и Прибалтику, спускать только тысячу тонн или даже меньше. Если нам будут за это платить конвертируемой валютой. (Будут, как миленькие, куда денутся.) Однако сомневаюсь, чтобы даже и таким способом нам удалось обеспечить прожиточный минимум выше теперешнего. Это дорога в застой. И даже в отстой.

## НЕМНОГО ГЕНЕАЛОГИИ

Есть и другие контраргументы. Согласитесь: первое условие для обретения и поддержания независимости — наличие народа. Так вот — являются ли обитатели Петербурга отдельно взятым (за руку) народом? Чувствуют ли себя таковым? Связывает ли их общность происхождения (как, скажем, нынешний *народ Крыма* произошел, после выселения коренных жителей, от военных пенсионеров и медперсонала здравниц)? Или, может быть, общность своеобразной культуры?

Полагаю, ответ очевиден. (Про культуру — промолчим, не фиг лицемерить.) Кроме штампа прописки, нас — или, по крайней мере, очень многих из нас — объединяет (и отъединяет от иногородних) разве что опыт коммуналок (думаю, ни в каком другом населенном пункте мира этот опыт не изуродовал столько душ). Ну и еще одно обстоятельство, как бы мистическое: помимо нашей воли, нечувствительно, неосознанно — скорей всего, через старую архитектуру — нам передается ужас и боль наших предместников, принявших насильственную смерть. Ведь практически в каждом старинном здании кого-нибудь убили, из каждого дома кого-нибудь увели, увезли на казнь.

Почти никто про это, конечно же, не помнит, как и про заклатье царицы Авдотьи. Мы — добросовестные обитатели выморочного жилья. Окровавленных призраков не замечаем. Но равнодушная, покорная привычка к плохим, как погода, временам — в петербургском подсознании живет.

Зато петербургское самосознание отсутствует. Откуда ему взяться? Кто воображает себя потомком первобытного человека, чью стоянку раскопали (в Лисьем, что ли, Носу) археологи незадолго перед ВОВ? Кто заявит горделиво: моя, знаете ли, прабабушка познакомилась с моим прадедушкой, играя в песочек у подножья Медного всадника? То есть заявит-то кто угодно. В наши дни в троллейбус не войдешь, не подвинув какую-нибудь столбовую дворянку. И она непременно прошипит: понаехали тут! Действительно. Петр Великий, например, был москвич. С ним понаехали всякие-разные отовсюду. Потомство этих первых горожан Зиновьев, Киров и Жданов повывезли. Романов, наоборот, позавозил ежегодно ровно по сто тысяч т. н. лимитчиков. И т. д., и т. п.

Короче, с чего бы это наш согражданин мыслил, чувствовал и вел себя не как все бывшие советские? Декорация, что ли, обязывает? И, кстати, от кого ему унаследовать этот пресловутый имперский синдром?

### НЕМНОГО ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Хотя любой генетик вам скажет: это признак не наследуемый, а благоприобретаемый. Путем обучения в специальных заведениях. И такие заведения есть в самых разных местах, и поступают в их похожие друг на дружку субъекты, а выходят — одинаковые. Все вместе они составляют как бы серое вещество — как бы субстанцию мозга империи. Потому что мозг любой империи, а также ее честь и заодно совесть — политическая полиция.

Но дело в том, что если нормальное государство подобно млекопитающему (травоядному, всеядному, хищному), то у империи совсем другая, особенная статья: она — звероящер. С массой тела такой огромной, что один мозг не справляется. Хотя образ жизни звероящера довольно прост: кто не спрятался — он не виноват.

Однако по ходу эволюции в бедняге развивается второй, периферийный мозг (в царской России, например, — литература) и начинает первому дерзить — вроде как кажет кукиш. Нет, — телепатирует, — не в тебе помещается честь-совесть, а, напротив того, во мне. Да и ум, если на то пошло.

Руководящий орган, естественно, наливается злобой — вот и весь синдром.

Болезненный, разумеется, но и с ним, ничего, живут. Пока через тысячу лет не приходит Кондратий: салют, мальчиши! Звероящеры падают с грохотом, как памятники вождям.

А наше дело — сторона. Петербург стоит себе на сваях, между которыми — косточки. Мелко-мелко так дрожит, убогий чухонец судьбы. И снится ему покой. И финиковые пальмы Мадагаскара.

## ПЫРНУТЬ ПЕРОМ

*К проблеме стилистической и мировоззренческой дерзости А. Д. Синявского*

*С некоторыми — но при этом существенными — сокращениями эссе «Пырнуть пером» было опубликовано в 10-м номере журнала «Знамя» за 2004 год. Мы рады возможности предложить вниманию читателей этот любезно предоставленный автором текст в его полном и изначальном виде.*

Редакция

1

По сути дела, Синявский в первой главе своего автобиографического романа «Спокойной ночи» напрямую указывает на конкретную деталь, общую для двоих абсолютно несхожих друг с другом персонажей, каковыми являются:

Андрей Донатович Синявский, писатель, профессор, застенчивый чудаковатый рафинированный интеллигент и — его литературный alter ego, одесский бандит, налётчик, карманщик, картёжник Абрам Терц.

Упомянутая выше общая деталь — п е р о .

Простодушному читательскому сознанию привычно воспринимать п е р о как пишущую принадлежность. Есть, однако, и совершенно другое значение этого слова. На блатном аргю «п е р о » означает нож.

Не случайно Андрей Донатович, рассуждая о проблемах выразительности художественного образа, в качестве существенного критерия её оценки применяет понятие о с т р о т ы . Остроты физической. Эмоциональная амплитуда форм выражения подобного критерия в текстах Синявского широка: от элегантной метафоры из эссе «Путешествие на Чёрную речку», уподобляющей художественное произведение шпаге «длинной и острой на конце», а художественный образ — её выпад, уколу — до грубоватого откровения из эссе «Литературный процесс в России»: вы, дескать, не верьте писателю, когда он говорит «Как хороши, как свежи были розы», поскольку на самом деле он имеет в виду совершенно иное — «Пойдём со мной, не то зарежу».

Потому, думается, и есть основания охарактеризовать творческий метод Синявского как п ы р н у т ь п е р о м . Именно подобное эксцентричное словосочетание может быть своего рода ключом к постижению такой значительной составляющей художественного мира этого писателя, как д е р з о с т ь . Дерзость стилистическая, дерзость мировоззренческая.

Впрочем, постичь п о э т и к у д е р з о с т и Синявского, механически отчленив стиль от мировоззрения, нелегко, даже невозможно. Данные аспекты спаяны в произведениях писателя прочной связью, граница между ними зыбка, эфемерна.

Да и сам Андрей Донатович порой как будто намеренно сбивает с толку потенциальных вивисекторов своими парадоксами вроде известного: «У меня с советской властью *стили-ческие* разногласия» (курсив мой — Е. Г.).

Тем не менее, несмотря на указанные трудности, не будем довольствоваться писательскими декларациями. Попробуем всё же рассмотреть — каким образом декларации реализуются непосредственно в т в о р ч е с т в е Синявского.

Уровни, на которых внутри текстов Синявского проступает водяной знак ножа Абрама Терца, весьма различны и многообразны.

Легко опознаваем уровень с и н т а к с и ч е с к и й . Обращает на себя внимание склонность Терца в некоторых случаях намеренно прерывать предложение там, где другой писатель ограничился бы банальной запятой.

Отсекаемые слова и словосочетания превращаются в самостоятельные, короткие реплики, а их единый смысловой вектор из сплошной линии протяжённой фразы трансформируется в эмоционально заострённый пунктир. Точки, восклицательные и прочие знаки препинания обретают пряность и аромат синтаксических специй, становясь графическими подобиями крупинок чёрного перца и палочек гвоздики (не случайно ведь о с т р о т а физическая состоит в омонимическом родстве с о с т р о т о й вкусовой).

Именно так, к примеру, Синявский рисует характеристические микропортреты своих весьма различных героев, будь то собственно Абрам Терц: «Чуть что — зарежет. Украдёт. Сдохнет, но не выдаст. Деловой человек» («Спокойной ночи») — или: «Пушкиншулер! Пушкинзон!»; «Штафирка, шпак. Но погромче военного»; «Негр — это хорошо. Негр — это нет. Негр — это небо»; «<...>яркий, как уголь, поэт. Отелло. Поэтический негатив человека. Курсив. Графит»; «Самозванец! <...> Царь??? Самозванный царь»; «Все люди — как люди, и вдруг — поэт. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха-ха. Сам?!»; «Генерал. Туз. Пушкин!» (едва ли не сквозной нитью проходит по всей книге «Прогулки с Пушкиным» череда этих ярких и колючих пунктуационных сгустков).

Встречаются у ёрника Терца и случаи использования вместо слов откровенных обрубков. М о р ф о л о г и ч е с к а я функция ножа проявляется по преимуществу в ситуациях прямой речи.

В упоминавшейся первой главе романа «Спокойной ночи» комическая ампутация букв и слогов создаёт эффект скептического авторского отстранения от эмоций прекраснородного адвоката и поток тривиальных комплиментов в адрес Л. Н. Смирнова, судьи процесса Синявского-Даниэля: «Ссивный, ктивный, манный, ящий Дья!..», неожиданно приобретает откровенно фарсовый характер. Начиная фразу непристойным намёком, в завершении её Андрей Донатович недоумевает вместе с читателями — кто же он, этот самый господин Смирнов, Судья или Дьявол?

Гораздо более основательна и существенна работа ножа на уровне д р а м а - т у р г и ч е с к о м . Всматриваясь в причудливые очертания формы произведений Синявского, можно, помимо прочих неожиданностей, обнаружить следы её причастности к эстетике коллажа.

Язык коллажа, коренящийся в нехитрой процедуре р е з а т ь - к л е и т ь , оказал значительное и яркое влияние на культуру второй половины XX века. Чуткое отношение Андрея Донатовича к плодотворности для современной литературы такого приёма, как о т к р ы т ы й к о м п о з и ц и о н н ы й с т ы к , придаёт эстетическим устремлениям писателя черты общности с художественными поисками Параджанова в сфере визуальной и Шнитке в сфере звуковой.

Упомянутый стык может присутствовать на страницах прозы Терца в качестве экспрессивной детали. Так, в «Прогулках с Пушкиным» писатель намеренно увенчивает рассуждения об изысканной фрагментарности пушкинского стиля (ау, «Осень», ау, пропущенные онегинские строфы) наглядно — броским изобразительным жестом. Ненормативное отточие, отточие-гигант лукаво подмигивает читателю приветом из другого вида искусства. Врезающийся внутрь текста рисунок «вместо руля» устанавливает курс пиратскому судёнышку Терца, вслед за Пушкиным вопрошающего: «Куда ж нам плыть?»

Эффектными частностями коллажная техника Синявского, однако, не ограничивается. Порою она становится основой композиционной структуры целого, и тогда появляется «Голос из хора», поразительная книга, основанная на материале писем жене из лагерей.

Внушительное обилие извлечений из писем и ничем не прикрытые пробелы-склейки между кусками текста — такая форма оказывается оптимальным способом представить авторское сознание во всей его беззащитной оголённости.

Сознание Синявского, углублённое и сосредоточенное на категориях предельно высоких и серьёзных, одновременно вынужденно впитывает в себя, как губка, хаос неприглядной лагерной повседневности. Последняя представлена в книге намеренно неотшлифованными, грубыми и

неряшливыми речевыми кусками. Их совокупность составляет партию каторжного х о р а , окружающего автора.

Кончик писательского пера (он же — лезвие ножа) оказывается, в соответствии с конкретной метафорой Синявского из данной книги, «местом встречи» — «духа с материей, правды с фантазией», утончённых рассуждений интеллектуала и эрудита об Ахматовой и Мандельштаме, Шекспире и Рембрандте — с текстами блатных песен и сальными прибаутками, исповедального лиризма авторского г о л о с а , говорящего о любви, смерти, творчестве, свободе, — с развязным ухарством лагерной фени, на самом деле представляющей собой неуклюже-косноязычные попытки матёрых уголовников и простодушных эзков из крестьян по-своему постичь те же самые волнующие автора в е ч н ы е проблемы. Коллажный строй книги способствует выявлению её диалогической сути.

В некоторых случаях острие контрастного стыка, сопрягающее и разграничивающее отдельные фрагменты книги, обнаруживается и в н у т р и их текста. Так, цитата из блатной песни, случайно застрявшая в мозгу писателя, получает абсолютно неожиданную характеристику:

«...Играй, гитара, играй!  
А песня — заблудшая птица —  
Искала потерянный рай.

Формула искусства. Самая общая и широкая его формула».

Наибольшую дерзость проявляет орудие Абрама Терца, когда добирается до уровня с м ы с л о в о г о . Тут-то Синявский может позволить себе пырнуть пером не более не менее, как ... всё творчество Александра Сергеевича Пушкина. Вспороть, пронзить насквозь в своих «Прогулках» всю словесную м а т е р и ю пушкинских произведений и за её покровом обнаружить безграничное, беспредельное э н е р г е т и ч е с к о е пространство.

С бесцеремонностью зеваки Терц подглядывает за творческим процессом Пушкина, словно за работой таинственного фантастического механизма: вбирая в свою ненасытную утробу многообразнейшие впечатления бытия, пространство-бездна превращает их в осязаемую текстовую ткань, непостижимым образом рождающуюся из абсолютной бесплотности.

Для того же, чтобы читатель как можно острее ощутил н е м а т е р и а л ь н о с т ь природы пушкинского вдохновения, пушкинской порождающей фантазии, Синявский даёт этой субстанции нарочито эксцентричное наименование. Понятие п у с т о т а , обыденным сознанием воспринимаемое как негативное, трансформируется писателем в позитивное качество определения: «Пустота — содержимое Пушкина» (курсив мой — Е. Г.).

### 3

В заключительной главе книги «В тени Гоголя» Терц подробно и основательно описывает едва ли не самую загадочную черту великого гоголевского дара — его ф а н т а с - м а г о р и ч е с к о е в и з и о н е р с т в о . Истоки уникальной способности Гоголя придавать своим нелепым гротескным фантомам, мнимостям и фикциям необычайную выпуклость, рельефность, изобразительную яркость коренятся, по предположению Андрея Донатовича, в искусстве и таинствах колдунов, магов, умеющих, согласно сказочно-мифологическим представлениям, воскрешать мертвецов, одушевлять стихии неживой природы.

Самое удивительное, однако, состоит в том, что рассматриваемый феномен является для Синявского не просто предметом отвлечённых штудий, но руководством к действию. Действие это проявляется подчас в жанре, казалось бы, наименее предназначенном для явлений подобного толка. В жанре п у б л и ц и с т и к и .

Публицистика Синявского с особой остротой отражает идею, принадлежащую к числу с у щ е с т в е н н е й ш и х для данного автора. Идею свободы, идею противостояния абсолютно независимой личности, индивидуальности, бескомпромиссно препятствующей любым попыткам порабощения со стороны всевозможных тоталитарных режимов, политических доктрин, догматических идеологем. При этом — ф о р м а л ь н ы е рамки жанра Синявский откровенно раздвигает.

Ощутимо привнося в свои тексты начало игровое и ироническое, писатель вовлекает жанр публицистики в водоворот к а р н а в а л а . Предаваясь волне карнавальной стихии, мы

порою обнаруживаем, что идейные абстракции под пером Синявского оказываются способными превращаться на мгновение в химеры фигуративного толка, в подобия персонажей.

Каким образом писателю удаётся достигать такого эффекта, вроде бы избегая при этом в своих статьях и эссе всяческой портретности (кроме разве что отдельных штрихов) и надуманных фабул? С помощью всё того же неизменного терцовского ножа.

Рассекая клетчатку нормативной публицистичности, писатель получает возможность вмонтировать внутрь текстов г о л о с а упомянутых персонажей, краткие фрагменты их прямой речи, предельно выразительные и красочные в стилистическом и интонационном отношении. Уютно разместившись по отведенным гнёздышкам, в нужный автору момент они выщёлкивают со стремительной резкостью разжимающейся пружины.

Рассмотрим же три к а р т и н к и подобного рода, расположенные в хронологическом порядке и сопровождаемые примечаниями в стиле ф а н т а с т и ч е с к о г о л и т е р а т у р о в е д е н и я Абрама Терца.

4

К а р т и н к а п е р в а я . Примерно в центре эссе «Литературный процесс в России», написанного в 1974 году, посреди авторских рассуждений о конфликтных взаимоотношениях литературы с советской властью, происходит внезапный п о в о р о т с е р е б р я н о г о к л ю ч а (ау, «В тени Гоголя»).

Балаганчик открывается. На сцену выходит п е р с о н а ж .

Кто он, этот странный незнакомец? Не будучи представленным читателям по имени-отчеству-фамилии, поначалу он может показаться обобщённо-усреднённым советским партийным функционером. Вслушавшись же в его выразительную дикцию, можно с основанием воспринять её и приметой, выдающей лицо совершенно конкретное.

Перед нами — весьма известный коллега Синявского по литературному цеху, писатель-фантом, незабвенный Леонид Ильич Брежнев. На протяжении нескольких абзацев эссе он делится с читателями своими мыслями (их мы здесь подробно рассматривать не будем) и яркими, внутренне самодостаточными высказываниями (на которых, напротив, сосредоточим пристальное внимание).

Высказываний, в сущности, совсем немного. Как штангисту, даёт автор своему герою три попытки произнесения фразы, но, по всей вероятности, поднять штангу тому было бы легче. Тем не менее, в процессе лингвистическо-циркового аттракциона проговаривания трёх микрореplik, «помавая бровями»<sup>1</sup>, персонаж Синявского излагает ряд тезисов, чрезвычайно существенных и репрезентативных в мировоззренческом отношении.

После косноязычного приветствия: «Хаспада! Ляди и жантильмоны!» (п о п ы т к а п е р в а я ); после диковинно-туповатого: ы н т ы л ы х э н с и я (выделено автором — Е. Г.) (п о п ы т к а в т о р а я ), с унылостью Пьеро сопровождаемого ворчливыми сетованиями: «будь она проклята», — каков его т р е т и й , заключительный языковой кульбит?

«Дифствительность и исхуйство!» — и лихо выглядывающее из-за кулис фразы вместо Арлекина скандальное трёхбуквенное словцо сигнализирует, что за фасадом помпезной риторики скрывается всего-навсего жалкая оговорка (проговорка!) по Фрейдю.

Вот тебе, бабушка, и с о ц и а л и с т и ч е с к и й р е а л и з м , вот тебе и «Основы советской цивилизации» — пусть не все, но многие стороны явлений, расшифровке которых Синявский посвящает десятки страниц своих исследований, представляет нам в свёрнутом виде лаконичная и компактная ф о р м у л а - б л е ф . Разберёмся в её элементах подальше.

*Действительность* (исходя из напрашивающейся фонетической ассоциации) — непорочная д е в с т в е н н о с т ь , источник абсолютной чистоты. *Искусство* — это , как мы уже убедились, напротив, нечто абсолютно неприличное, похабное.

Элемент т р е т и й — прячется за скобками. Именно он ставит под сомнение арифметическую банальность формулы, возвращая ей своим качеством искомого алгебраического

<sup>1</sup> *Фантастическое примечание I*. Припомним-ка, по аналогии, из популярной детской считалки-загадки 70-х годов минувшего столетия: *Брови чёрные, густые, // Речи глупые , пустые.*

неизвестного респектабельный status quo. Этот элемент — художник, он же — и н а к о м ы с л я щ и й , он же — вообще всякий (по терминологии Синявского) д р у г о й . Любуй, кто пытается вывести так называемую *действительность* из непорочно-одномерного состояния в пространство многомерности и глубины, иными словами — пытается осознать действительность во всей её сложности, неоднозначности, противоречивости, это (в соответствии с заданной системой координат) — растлитель, совратитель, преступник, в р а г . Не случайной воспринимается в данной связи тюремная фраза, брошенная в адрес Синявского и неоднократно помянутая им в позднейших текстах: «Лучше бы ты человека убил!»

Рассматриваемый персонаж из эссе — с виду недотёпа и пустомеля — на любую угрозу нерушимости строя, вознесшего его на вершину кремлёвского Олимпа, реагирует с чуткостью сейсмографа, с оперативностью... жандарма.

В т о р а я к а р т и н к а связана со стороной биографии Синявского не менее значительной, нежели его поединок с советской властью. Речь идёт о его решительной и методичной конфронтации с умонастроениями ретроградного толка, с идеологией русского почвенничества и с фигурой её крупнейшего влиятельнейшего выразителя на современном этапе Александра Исаевича Солженицына.

Интересна и показательна в данной связи статья Синявского «Солженицын как устроитель нового единомыслия», написанная в 1985 году. Формально она является ответом на солженицынское нашумевшее программное выступление «Наши плюралисты», на самом же деле текст её не так уж прост. Синявский, непреднамеренно реализуя свою метафору из «Прогулок с Пушкиным», играет в ней «по двум клавиатурам»: публицистической и художественной.

В незаметном читательскому невооружённому глазу чередовании и соотношении двух перемещающихся по тексту ипостасей расщеплённого Андрея Донатовича обнаруживается внутренняя конструктивная логика, отдалённо напоминающая принципы кинематографического параллельного монтажа.

Синявский-публицист затевает серьёзный и дельный разговор, убеждённо защищая благородные традиции русской демократической интеллигенции от несправедливых нападок и оскорблений со стороны Солженицына; а в это время...

Синявский-художник, пародируя повадки дотошного зануды-лингвиста, пробует на звук приторно-елейное словечко «*русскость*», излюбленное современными почвенниками и мгновенно выдаёт на гора результаты своей потешной блиц-экспертизы: «звучит как «*вязкость*» в соединении с «*узостью*» (курсив автора — Е. Г.).

Синявский-публицист пронизательно отмечает подозрительное сходство некоторых черт авторитарно-антисоветского к в а с н о г о п а т р и о т и з м а с таковыми же чертами советско-сталинского у р а - п а т р и о т и з м а рубежа сороковых-пятидесятых годов. Свои рассуждения он подытоживает дипломатичной иронией, не только допустимой, но даже поощряемой неписаными правилами хорошего публицистического тона: «И вот, не прошло и сорока лет, мы вновь имеем весь этот “Большой Кремлёвский набор”».

Увы, все потуги публицистического пай-мальчика сохранить добропорядочную мину безнадежно скомпрометированы Синявским-художником. На две страницы раньше вышеприведенной цитаты он уже успел нашкодить своим хулиганским заявлением: « <...> и запоют кубланы<sup>2</sup> из-под Невгорода<sup>3</sup>, что многие оттуда (из «Красного колеса» — Е. Г.) абзацы «хочется запомнить наизусть». Ну, как в школе заставляли наизусть учить «Тройку» Гоголя, так теперь мы заучим про клякастого еврея — ненавистника России Богрова».

<sup>2</sup> *Фантастическое примечание II.* По поводу слова *кубланы* рискну предположить: а не является ли оно намёком на фамилию Юрия Кублановского, весьма рьяного приверженца солженицынского мировоззрения, большого охотника до печатных и публичных выступлений религиозно-замочительного жанра? Не откажу себе в удовольствии также сослаться на ехидное эпистолярное замечание остроумца Довлатова, касающееся упомянутого жанра «*афишируемого православия*»: «<...> давно замечено, что *успешно* рассуждают и пишут о Боге именно люди с «*неполной нравственностью*» <...> потому что люди *истинно* нравственные хорошо знают, каких непарадных, каждодневных, малоэстетических усилий стоит эта самая нравственность» (цит. по: Письма Сергея Довлатова к Владимовым; «Звезда». 2001. № 9. Письмо 18, С. 174; курсив мой — Е. Г.)

<sup>3</sup> *Фантастическое примечание III.* *Невгород* (позднее — *Свято-Петроград*) — лингвистическая утопия Солженицына, связанная с идеей переименования Санкт-Петербурга (Ленинграда) после свержения советской власти.



Синявский-публицист предостерегает: «Любая идеология, приходя к власти, чревата перерождением в сторону большей упрощённости и жестокости. <...> И если суждено русским националистам прийти к власти, то придут люди, думающие не как Солженицын, а куда воинственнее и глобальнее».

Синявский-художник под занавес затевает миниатюрный парад-алле, выводя на арену вместо дрессированных тигров или медведей *п е р с о н а ж а*, не уступающего им по части оглушительного рявканья. Этот герой, в отличие от персонажа предыдущей картинки, образ собирательный. Его гипотетические прототипы и Солженицын, и фанатичные почитатели солженицынских идей, и устраивающиеся к хвосту процессии радикалы, так называемые *р у с с к и е ф а ш и с т ы*.

« — Встать!.. Смир-р-р-на! Справа — по порядку — р-р-равняйся!.. Товарищ Генерал!.. Товарищ Пророк!..» — публицистические предостережения Синявского материализуются в виде этих угрюмых отрывистых реплик-команд.

Образ, нарисованный Синявским-художником с помощью данной гротескной гиперболы, олицетворяет тупик казарменного единомыслия. При благоприятствующем стечении обстоятельств именно к такому результату могла бы привести атмосфера насаждаемого *к у л ь т а С о л ж е н и ц ы н а*. Можно лишь сожалеть о том, что к созданию подобной атмосферы приложил руку и сам Александр Исаевич: своими автобиографическими *о ч е р к а м и л и т е р а т у р н о й ж и з н и* (это название обыгрывается в последней фразе статьи; к ней мы ещё вернёмся), носящими в некоторых эпизодах характер напыщенной авто... агиографии; своей публицистикой, обвиняющей в человеческой непорядочности любого, кто хотя бы частично не разделяет те или иные идеи непогрешимого мессии и пророка.

Вроде бы — всё сказано? Здесь-то происходит и вовсе несусветное.

Последняя фраза статьи: «Ни фуя себе — "литературная жизнь"...» поверхностному взгляду может показаться выходкой на грани хамства. На самом деле это — центон. Он сконструирован автором из двух чужих микротекстов, филигранно отделённых друг от друга ножевой царапиной тире.

Синявский же (как публицист, так и художник) с любопытством заядлого авантюриста пассивно наблюдает *з а к а д р о м* — как схлестнулись в отчаянной схватке две цитаты, как антипублицистическому мировоззрению Солженицына-идеолога наносит удар *н и ж е п о я с а*<sup>4</sup>...(!) большой русский писатель Александр Исаевич Солженицын.

Первая из составляющих фразу цитат — вариант лексического построения из «Одного дня Ивана Денисовича». Своими «Да на фуя его и мыть каждый день?», «фуимется! — поднимется! — не влияет» Солженицын разрушал четыре десятилетия назад потёмкинские деревни языка советской официальной литературы. Связь подобных проявлений художественной честности с мужеством гражданским была естественной и органичной.

Непреходящую значимость творческих достижений Солженицына пятидесятих-шестидесятых годов модернизм и эстет Синявский, при всей инакости своих художественных устремлений, осознавал всегда. К бесстрашию человека, посягнувшего на незыблемые устои тоталитарного режима, относился с неизменным почтением. Потому в начале рассматриваемой статьи он, разочаровывая искателей дешёвого нигилистического разоблачительства, говорит: об «Архипелаге ГУЛАГ» — «я <...> высоко ценю эту книгу Солженицына»; об «Одном дне Ивана Денисовича» — «замечательная повесть»; и — о том же «Иване Денисовиче» — продолжает: «Его прозаизмы, бытопись, тривиальность, просторечие в большой степени строились как недозволенные приёмы, рассчитывающие шокировать публику. Действительность появлялась, как дьявол из люка, в форме фривольной шутки (а вот это уже конкретно по вопросу «фуя» — «ни фуя» — Е. Г.), дерзкого исключения, подтверждающего правило, что об этом в обществе говорить не принято» (курсив мой — Е. Г.).

Стоп! Здесь я должен попросить прощения за свою мистификацию с помощью излюбленных приёмов Абрама Терца (о приёмах этих мы поговорим отдельно). Третья из приведенных в предыдущем абзаце цитат — не об Александре Исаевиче, а... об Александре Сергеевиче. Эти слова из «Прогулок с Пушкиным» — о хрестоматийном, зачитанном до дыр, реалистическом-разреалистическом «Евгении Онегине» — имеют, однако, прямое отношение и к лучшим образцам прозы Солженицына.

<sup>4</sup> *Фантастическое примечание IV*. А это кто там ещё влез в кадр? Небось какой-нибудь очередной плюралист? образованец? русофоб?!

Высказывания подобного рода, с непринуждённой щедростью рассыпанные по книгам Андрея Донатовича, всякий раз брошены им как будто невзначай, мимоходом, на лету. Их открытость всему живому и подлинному в самых различных стилях и мировоззрениях придаёт плюрализму Синяевского особенную убедительность и притягательность.

Перейдём же теперь к картинке третьей. Она относится к последним годам жизни Синяевского, периоду недостаточно осмысленному, а порой даже стыдливо замалчиваемому современной общественностью.

Наверняка общественность по-другому отнеслась бы к поведению писателя, если бы, соорудивши себе пьедестал из былых диссидентских заслуг, писатель с предсказуемым ригоризмом бичевал пережитки проклятого коммунистического прошлого или с напускным пафосом требовал бы от властей и народа ритуального раскаяния в причастности к деяниям канувшего в Лету политического строя. Вместо этого Синяевский, органически не переносивший любых форм лицемерия и фарисейства, позволил себе впрямую говорить о проблемах нынешней российской действительности.

В октябре 1993 года Синяевский резко осудил действия, связанные с разгоном и расстрелом парламента. Негодование Андрея Донатовича было вызвано отнюдь не симпатией к лидерам тогдашнего Верховного Совета, тем более не солидарностью с лозунгами рядовых «красно-коричневых». Причина была совсем иной: в тех событиях отчётливо выявился имманентный антидемократический потенциал новой российской власти. Продемонстрированная ею готовность попираť жизни и унижать достоинство рядовых граждан, попустительство полицейскому произволу, презрение к праву, — всё это побуждало писателя к ответной реакции, игнорирующей факт совпадения или несовпадения с нормативами новомодной политкорректности.

Точно такой же была реакция Синяевского и на дальнейшие показательные проявления нового режима, ельцинский период которого он успел застать: будь то бесчеловечность и жестокость войны в Чечне; внедрение оболванивающих PR-технологий, прозорливо замеченное писателем во время избирательной кампании 96-го года «Голосуй, а то проиграешь» и хорошо знакомое нам по теперешней политической практике; цинизм методов проведения экономических реформ, основанный на полнейшем равнодушии к запросам и участи рядовых россиян.

Размах и нахрап российского «дикого капитализма» занимал Андрея Донатовича не только видимой, но и подводной частью своего айсберга. Занимал как феномен сознания, свойственного обширному слою современного российского общества. В характерной для сегодняшней России атмосфере прагматизма, меркантильности, безудержного накопительства, не обременённого высокими духовными устремлениями и нравственными принципами или — ещё чаще — и м и т и р у щ е г о их наличие, писатель разглядел черты нового, парадоксального витка старой русской империалистической идеи. Изменились лишь способы претворения идеи в жизнь и — соответственно — облакающие её словесные формы. Если в былые времена «русская идея» формулировалась так: «Даёшь Константинополь!», «Водрузим русский щит на врата Цареграда!» — или — другой вариант: «Советская Россия — буревестник мировой революции!», «СССР — вождь мирового коммунизма!», то теперь...

Теперь лучше предоставить слово персоне ж у. Что и делает Синяевский.

В заключение цикла лекций «Интеллигенция и власть» (прочитанного в феврале 1996 года в Нью-Йорке и опубликованного посмертно — в качестве приложения к книге «Основы советской цивилизации» — в 2001 г. в Москве) Андрей Донатович предлагает аудитории свой очередной стилистический сюрприз. Респектабельный голос докладчика неожиданно прерывается резким саркастическим спичем... всё того же неутомимого Абрама Терца.

Наш старый знакомец, откуда ни возьмись очутившийся в стенах американского университета, на сей раз выступает в качестве медиума. Его устами внушительный легион героев нашего времени — бизнесмены и рэкетеры; «япончики» и «тайванчики»; к р у т ы е и л е г а в ы е; и влиятельные олигархи и заурядные «новые русские»; у ш л ы е из политической элиты и с с у ч и в ш и е с я из творческой интеллигенции, — провозглашают своё коллективное кредо. Вот как выглядит это стихотворение в прозе (что твой Тургенев!):

« — Мы не успокоимся. Мы как саранча пройдем по всем вашим богатым землям. Пройдем и пожрем. Нам не привыкать к чужому золоту и чужой крови. Мы прикарманим ваши банки, ваши замки, ваши Лазурные берега и Сан-Франциски. Нас много и мы сильнее».

Аппетит приходит во время еды. Не ограничиваясь чужим опусом, Терц в спиритическом экстазе переходит на стихи собственного сочинения:

«Да, Скифы — мы! Да, азиаты мы,  
С раскосыми и жадными очами».

Вот кто, оказывается, н а с т о я щ и й автор блоковских «Скифов»<sup>5</sup>

5

Вернёмся всё же к проблеме *действительность и искусство*, волнующей брежневообразного персонажа из *первой картинки*. На самом деле — куда больше (хотя и в ином ракурсе) она интересует писателя, нарисовавшего персонажа мимолётным росчерком своего пера.

Сама *жизнь* для Синявского — понятие объёмное, стереоскопичное. К разным аспектам этого понятия он относится неодинаково. Жизнь дорога, близка, интересна писателю в измерении свободоносном, культуротворном и чужда, скучна в измерении обыденном, рутинном.

В том и состоит *главная дерзость* концепции «Прогулок с Пушкиным», что автор книги рассматривает творчество и судьбу великого поэта в свете предельно острого, конфликтного столкновения различных измерений бытия.

Именно поэтому Синявский может позволить себе охарактеризовать обстоятельства пушкинской биографии, ставшие причиной дуэли и смерти, дерзким, эпатирующе-дерзким «*дала или не дала?*» (курсив мой — Е. Г.). Резко снижая сакраментальное «*быть или не быть*», писатель своим скабрёзным вопросом-аллюзией одновременно... поднимает суету сует человеческого существования Пушкина, его отношений с Натальей Николаевной до высоты, до значимости неотвратимых и грозных шекспировских *ударов*, *пращей* и *стрел* *судьбы*.

Именно поэтому Синявский может позволить себе дерзко интерпретировать саму дуэль пушкинскую не как поединок с Дантесом, но как сражение двух ипостасей Пушкина: Поэта с Человеком. Мало того. Присоединяясь к дуэлянтам, сам Терц затевает на страницах книги стрельбу с помощью нехитрого средства — одной-единственной буквы «П» (ау, Пырнуть Пером!): «<...> как ему ещё Прикажете Подыхать, Первому Поэту, кровью и Порохом вПисавшему себя в историю искусства?» (буква «П» выделена мною — Е. Г.).

<sup>5</sup> *Фантастическое примечание V*. Впрочем, известно ведь, что Терц — не просто игрок, но шулер. Потому и с высокой словесностью он, подобно Хлестакову, «на дружеской ноге». Спутать все карты, подтасовать цитаты для него всё едино.

Кто сказал, что «На берегу пустынных волн // Стоял он, дум великих полн» — начальные строки пушкинского «Медного всадника»? В своих «Прогулках...» Терц нам внятно объяснил, что никакой это не Пушкин, а — о Пушкине.

Пастернак. Борис Леонидович. «Тема с вариациями».

Какой олух мог приписать набившее оскомину «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» разночинцу-журналиге Некрасову? Повыше, повыше надо брать! То бишь — поархаичнее. Не иначе как патриарх российской словесности Ломоносов установил сей закон, а Пушкин — взял да и попрал. И «ушёл в поэты, как уходят в босьяки» («Прогулки с Пушкиным»).

Что же до Блока, то этот — вообще босьяк *з а к о р е н е л ы й*. Наш Абрам ещё за 18 лет до того, как окончательно заграбастал «Скифов», успешно в них порылся. Оказывается, в знаменитом четверостишии:

Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою *пригожей*  
Расступимся! Мы обернёмся к Вам  
Своею азиатской рожей.

(курсив мой — Е. Г.), — выделенной курсивом инверсией поэт... «вуалирует наглуую рифму» (см. эссе «Отечество. Блатная песня...»).

Ай да Терц! А мы-то думали: как хороши, как свежи были *розы*. Какие ещё *розы*?! О каких хлипких, тщедушных цветочках может идти речь, если нашему вниманию предлагаются такие рифмы, такие ягодки?!

Именно поэтому Синявский может позволить себе дерзкое понятийное противопоставление: жить — гулять. Бескрылое, приземлённое ж и т ь — и праздничное, вольнолюбивое г у л я т ь .

«Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. *Гулять с ним можно*» (курсив мой — Е. Г.). Эти слова Синявского, завершающие книгу «Прогулки с Пушкиным» — его наивысшая похвала Поэту.

Для Синявского э н е р г и я д е р з о с т и — своего рода мотор. С его помощью образы и идеи художника набирают необходимый им разгон. Таким способом и удаётся Синявскому, преодолевая все барьеры и преграды, прорваться в единственно насущное, единственно плодотворное для этого писателя и его читателей пространство.

В п р о с т р а н с т в о с в о б о д ы .

## ОТВЕРГНУТЫЙ ЖЕНИХ, ИЛИ ОСНОВНОЙ МИФ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Это история, которую все мы знаем: *Он*, молодой дворянин, часто «денди», часто «разочарованный» денди, как правило «мыслящий человек», а значит, мучимый «рефлексией» и отмеченный «гамлетовской» бледностью, появляется вдруг — всегда вдруг — в какой-нибудь деревенской глуши, в сельской идиллии. Он приезжает или прямо из Петербурга, реже из Москвы, иногда из-за границы; во всяком случае, он «из столицы». И что же происходит в этих идиллических декорациях? Ну конечно, он встречает ее, совсем молоденькую, более или менее «наивную», деревенскую девушку, редко крестьянку, как правило барышню из соседней усадьбы, которая, хоть тоже дворянка, вполне однозначно, в противоположность его светски-столично-европейскому началу, воплощает в себе что-то сельски-невинное, «народное», если угодно — «душевное», в конечном счете — «русское». Как заканчивается вся эта история? История заканчивается плохо. Он ли в нее, она ли в него влюбляется, хочет ли или не хочет он на ней жениться, в конце концов ничего у них не выходит, ничего не получается. Никакого хеппи-энда, никакой свадьбы под всеобщее ликование, скорее уж всеобщее отчаяние.

То, что я попытался вкратце здесь рассказать, это не сюжет «Евгения Онегина», но что-то более общее — впрочем, впервые, и с отчетливостью, с тех пор не превзойденной, в «Евгении Онегине» осуществившееся (почему мы и считаем его как бы «первым» русским романом). Скажу сразу: я вижу здесь основополагающую схему русского романа 19-го века, и, может быть, даже больше того — существенный конфликт и основную оппозицию Петербургского периода русской истории.

Трудно не заметить, в самом деле, что эта, по необходимости кратко и, так сказать, в первом приближении, набросанная схема повторяется в русской литературе 19-го века с настойчивостью, которая должна была бы заставить нас задуматься. Мы находим ее у Лермонтова и у Толстого, у Гончарова и у Тургенева — ограничимся этими именами — с неизбежными, конечно, вариациями, и, тем не менее, легко узнаваемую у них всех.

Само по себе это еще не большое открытие. Что конфликт «Онегин — Татьяна» много раз повторяется в процессе дальнейшего развития русского романа и, в первую очередь у Тургенева, оказывается ведущим (Рудин — Наталья в «Рудине», Лаврецкий — Лиза в «Дворянском гнезде»), так что многие исследователи говорят даже о «тургеневском типе русского романа» — все это достаточно известно. Также и оба эти «типа», как говорили в 19-м веке, с одной стороны, значит, «лишний человек», с другой — «идеал русской женщины», так часто были предметом описания, исследования, анализа, что кажется почти уже невозможным еще раз поднимать это старое дело.<sup>1</sup>

Невыясненным — или не до конца выясненным — остается лишь, удивительным образом, вопрос, что это *значит*. Почему эта схема и этот конфликт повторяются с такой настойчивостью?

---

<sup>1</sup> Как один пример из многих см. превосходное описание этого конфликта и сюжета в известной работе Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм». Синявский ясно видит значение конфликта для русской литературы; однако те глубинные, «мифологические» измерения, импликации и перспективы, которые я пытаюсь наметить в этой статье, остаются и у него не раскрытыми.

Как правило, эта общность в построении сюжета просто констатируется, но никак не объясняется — или же говорится о *влиянии* «Онегина» на дальнейшее развитие русского романа. Так, Юрий Лотман, ограничимся этим одним примером, показывает, как онегинский сюжет в процессе дальнейшего развития русского романа расходится на две, впрочем, вновь и вновь пересекающиеся линии, из которых одна тематизирует конфликт между «онегинским» героем и героиней, восходящей к Татьяне (причем, как отмечает Лотман, «тургеневская версия романа онегинского типа настолько прочно войдет в русскую традицию, что станет определять восприятие и самого пушкинского текста»<sup>2</sup>), другая же восходит к «мужскому» конфликту «Онегин — Ленский». При этом тот или иной автор может, конечно, и переходить с одной линии на другую. Все это вместе понимается как «пути усвоения онегинской традиции».

Отрицать эти пути и это усвоение я, конечно, не собираюсь, я полагаю лишь, что значение занимающей нас сюжетной схемы этим не исчерпывается и в достаточной степени не объясняется. Значение ее представляется мне громадным. Будет ли слишком рискованным тезис (я уже намекал на него), что эта схема (этот конфликт, этот сюжет... как угодно) представляет собой некий *основной миф русской литературы 19-го века*? Это рискованный тезис; пойдем на риск. Это основной миф столетия, миф, в котором выражает и оформляет себя существенная проблематика, важнейший конфликт эпохи. Слово «миф» следует здесь понимать буквально; «мифическое» измерение всей этой схемы скоро, как я надеюсь, сделается очевидным.

Миф, следовательно, — и к тому же основной? Конечно, попытка «все» свести к этой схеме была бы глупостью; поэтому и пытаться не будем. Есть достаточно других мотивов (конфликтов, сюжетных схем... как угодно) в русской литературе этого — и любого другого периода; общий знаменатель какой бы то ни было эпохи найти, по-видимому, вообще невозможно. Поскольку, однако, эта схема проходит через все столетие и поскольку, что наверное еще важнее, в ней сказывается и «символически» оформляет себя *тот же* конфликт, который также и в других сферах и на других уровнях, на уровне философской рефлексии, осознается самой эпохой, как и последующими, в качестве основного конфликта этой эпохи, постольку она, т.е. схема, с ее символической наполненностью, оказывается для 19-го века, пожалуй, все же чем-то вроде схемы основополагающей.

Можно попытаться перенести на эту схему понятие «основного сюжета» (*master plot*), как оно было разработано Катериной Кларк в ее блестящей книге о «социалистическом реализме»<sup>3</sup>, при том что в случае советской литературы сознательное следование предписанному канону играет, конечно, несравнимо большую роль. Что и в русской литературе 19-го века этот момент играет — не столь, конечно, значительную, но все же достаточно большую — роль, мы только что видели («пути усвоения»); с другой стороны, и в литературе соцреализма, как строго ни были бы канонизированы определенные сюжетные схемы, характеры и их взаимоотношения, не все, конечно, может быть сведено к «усвоению» канона и подражанию образцам. И там, и здесь, как бы то ни было, мы видим некую «идеальную» сюжетную схему (что и есть, собственно, *master plot*), схему, которая «в чистом виде» не встречается, конечно, ни в одном тексте, но которая может быть, тем не менее, из этих конкретных текстов выделена и описана.

Продолжим, следовательно, описание оной. Все это может быть для начала, если отвлечься от собственно действия, представлено как система противоположностей: с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны: он, мужчина, вообще мужское, затем — город (слово мужского рода), Петербург, дух, разум, рассудок, интеллект и т.д. (все слова мужского рода). С другой стороны: она, женщина, женское, земля, страна, Россия, душа, вера и т.д. (все женского рода). С одной стороны, европеизированный, потерявший свои корни, расколотый, сомневающийся и отчаивающийся герой, с другой стороны — связанная с народом, укорененная в традиции, нравственно и духовно цельная героиня. Для наглядности представим все это в виде схемы:

мужское	женское
город	страна (земля)
Петербург	Россия

<sup>2</sup> Ю.М. Лотман: Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Тарту 1975. Цит. по: Ю.М. Лотман: Пушкин. СПб 1995. Стр. 458.

<sup>3</sup> Katerina Clark: *The Soviet Novel. History as Ritual*. Chicago & London 1981. Излишне говорить, что по своему *содержанию* выделенный Катериной Кларк *master plot* советской литературы не имеет с нашим «мифом 19-го века» ничего общего.

интеллект	душа
рефлексия	интуиция
разум	вера
раздвоенность	цельность
европейское	автохтонное
культура	природа
образованное сословие	народ
беспочвенность	укорененность

Если так посмотреть на это, то становится понятно, что мы имеем здесь дело ни с чем иным, как с многократно описанной, фундаментальной для всего Петербургского периода русской истории противоположностью, с пресловутым разрывом между «народом» и «образованным сословием» (не только «интеллигенцией»), который обыкновенно рассматривается как следствие петровских реформ, и к преодолению которого русская интеллигенция стремилась, как известно, в течение всего 19-го века, каковое преодоление в 1917 году и удалось, впрочем, ценою уничтожения самого «образованного сословия», а тем самым и всей «петербургской культуры». Все это, конечно, не ново. Не ново и соотнесение оппозиции «Петербург — Россия» с оппозицией «мужское — женское»<sup>4</sup>; новым в предлагаемой мной концепции представляется мне соотнесение этой проблематики с *master plot* 19-го века, тоже, насколько мне известно, в такой форме еще не проанализированным.<sup>5</sup> С другой стороны, «символическое содержание» этого основного мифа выходит, конечно, за пределы чисто исторического — всякий миф отсылает к «космически-элементарному».

Как бы то ни было: разрыв должен быть преодолен — *поэтому* (*поэтому* здесь *causa finalis*, конечно) — поэтому он приходит к ней, герой к героине. Всегда приходит он, всегда он является. Она уже на месте, на земле, она ждет, он приходит — откуда бы он ни приходил. «Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой». Она ждет его как невеста; он приходит к ней как жених. «И дождалась... Открылись очи; / Она сказала: это он!» Как жених к невесте приходит он к ней, как жених *небесный* к невесте *земной*, как Святой Дух к Марии, как Христос к своей Церкви, как Яхве к своему народу, как Бог к душе... «Священная свадьба» — вот о чем здесь идет речь. О снятии всех противоположностей, о космическом примирении, о *mysterium coniunctionis*. О «священной свадьбе», которая, однако, *не состоится*, о примирении, которое *не удается*.

Эта не состоявшаяся «священная свадьба» есть своего рода *негатив* русской литературы; это та тайная точка, вокруг которой на самом деле все вертится и которая именно потому остается неназванной; это всегда присутствующая на заднем плане — неосуществленная и неосуществимая — утопия избавления.

Почему она не удается? Кто виноват в этом? Ответ прост: виноват в этом он. Всегда, так или иначе, но всегда он, герой, виноват, что «ничего у них не вышло». Всегда он оказывается (морально) несостоятельным, недостойным ее, расколотым и слабым. Он слаб, он *не справляется*, он ничего не может, он падает с ее высот. (Ясно, что «мифологическое сознание», которое здесь очевидным образом присутствует и доминирует, не делает различия между моральной несостоятельностью и несостоятельностью просто. С этой точки зрения, речь здесь идет, в конечном счете, об импотенции.) Он (в этом смысле) импотент; ему недостает (с рационалистической точки зрения: моральной, душевной, духовной; с точки зрения «мифологической»: мужской) силы.

<sup>4</sup> Ср., напр. Георгий Федотов: Три столицы. «Версты», Париж, 1926. Цит. по изданию: Георгий Федотов: *Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры*. Т. 1. СПб 1991. В частности Федотов пишет, стр. 51: «Петербург вобрал в себя все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море»».

<sup>5</sup> Джоанна Хаббс подходит в некоторых местах своего исследования «женского мифа» в русской культуре довольно близко к предлагаемой мною точке зрения, впрочем не разрабатывая эту тему *in extenso*. См.: Joanna Hubbs: *Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Culture*. Bloomington and Indianapolis 1988.

И опять-таки: почему? Может быть, здесь скрывается еще что-то? Может быть, он не то, за что, не тот, за кого его держат? Может быть, он *другой*? Обрываю, намеренно, этот ход мысли (чтобы возвратиться к нему позднее); прежде чем идти вглубь, пойдём вширь; прибережем последние выводы для последних страниц.

Сейчас следует поставить другой вопрос: откуда идет наш *master plot*, наш основной миф? Был ли он где-то, чем-то, как-то предвосхищен? Если да, то где, чем и как? Чтобы увидеть его специфику, надо отделить его от родственных ему феноменов, рассмотреть специфическое на фоне всеобщего. Мне кажется, здесь можно выделить два мотива, два топоса, которым наш миф сродни, от которых он может быть отделен, из которых он вырастает. *Во-первых*, конечно, дворянин-развратник, злодей-барон и невинная крестьянка, или мещанка, которую он, как все мы знаем, соблазняет и губит — топос европейской литературы, литературы 18-го века, в частности и особенности, пересаженный Карамзиным в «Бедной Лизе» на русскую почву. Это тоже, конечно, одно из начал русской литературы (у всякой литературы начал несколько); злодей, впрочем, получился здесь не столько злым, сколько слабовольным и легкомысленным. Этому же мотиву сродни, *во-вторых*, столь характерный для русского романтизма мотив (трагической) любви «цивилизованного» мужчины и «прекрасной дикарки», русского офицера и черкешенки, или цыганки — мотив, с одной стороны, связанный со всем комплексом руссоистских тем и эмоций (критика цивилизации, обращение к «природе»), с другой же — восходящий к колониально-кавказским впечатлениям и переживаниям. Здесь — в «Кавказском пленнике», в «Цыганах», в «Бэле» и вплоть до «Казачков» — все, или почти все, как бы уже *есть*, вина героя и, что важнее, его чувство вины, его раскаяние, противоположность между «цивилизацией» и «природой», между «рассудком» и «душой», раздвоенностью и цельностью. И есть уже мотив его *прихода* к ней — не наоборот; он, так сказать, «представитель цивилизованного мира», вдруг появляется «у нее», в ее «диком мире» (в «пустыне»), там же и происходит действие (а вовсе не она, например, вдруг и как бы ниоткуда появляется в мире цивилизованном, как это часто бывает у немецких романтиков).

Таким образом, чтобы наш *master plot* начался, наш миф сложился, должны произойти *две* вещи. Черкешенка и цыганка должна стать русской, «прекрасная дикарка» превратиться в провинциальную русскую барышню — превращение, кстати, тематизируемое Пушкиным в 8-ой главе «Онегина», в тех начальных строфах, где он описывает «превращения» своей «музы». Для нас здесь особенно интересен, пожалуй, мотив внезапности и как бы неожиданности, с которой «дикарка» превращается в «барышню», т.е. миф начинается. В самом деле, сначала муза скачет «Ленорой, при луне» «по скалам Кавказа», затем «в глуши Молдавии печальной» посещает «смирненные шатры / племен бродящих» и т.д., затем — «вдруг»:

Вдруг изменилось все кругом:  
И вот она в саду моем  
Явилась барышней уездной,  
С печальной думою в очах,  
С французской книжкою в руках.

Французская книжка в руках не мешает ей — или, что, в общем, то же, Татьяне, плохо знавшей и с трудом изыснявшейся по-русски, — служить воплощением и символом «русскости»; все мы знаем с детсадовских дней, что она была «русская душою», «верила преданьям / простонародной старины» — и какие еще цитаты обычно приводят в доказательство ее заслуг в смысле «народного духа». Так или иначе, здесь выполняется и *второе* условие, необходимое для образования мифа, — повышение «социального статуса». Крестьянка должна превратиться в барышню, «бедная Лиза» в «бедную Таню».

Почему, собственно? Прежде всего потому, что женитьба «барина» на крестьянской и, значит, до 1861 года, как правило, крепостной девушке привела бы, во-первых, к слишком большому сложностям в построении сюжета, во-вторых, представляла бы собой слишком значительное исключение из социальных правил. «Простое» происхождение героини слишком сильно препятствовало бы той «идеализации», без которой наш миф вообще обойтись не может; занимающие нас авторы, по большей части сами, как говорится, *помещики*, были слишком хорошо знакомы с сельской действительностью и были слишком «реалистами», чтобы видеть в своих деревенских красотках (с которыми, как известно, нередко состояли в связи) идиллических пастушек; то, что было еще возможно для Карамзина, сделалось невозможным для его трезвых



потомков. С превращением «Лизы» в «Таню» отпадает, в общем, и мотив соблазнения — или, по крайней мере, отступает на второй план; речь идет теперь о более важных вещах; чувственность уступает дорогу метафизике.

Впрочем, слишком строгих различий проводить здесь не следует; чрезмерный педантизм здесь был бы неуместен. Так, мотив «цивилизованный мужчина — дикая женщина» получает, уже и просто потому, что мы прочитываем его в контексте всей русской литературы с ее основным сюжетом и мифом, как бы некое дополнительное измерение, уже сама настойчивость, с которой он повторяется, указывает в сторону основного мифа. Лермонтовский «Демон», к примеру, хотя и находится еще на романтически-экзотической линии, может быть, тем не менее, причислен к важнейшим текстам занимающего нас мифа — не в последнюю очередь из-за того, что он сам переводит сюжет в мифологический план и раскрывает его, если угодно, метафизические глубины. К тому же границы здесь вообще размыты и переходы совершаются постепенно. Так (здесь мы делаем огромный скачок: от начала к концу всей этой истории), толстовское «Воскресение» можно, с одной стороны, рассматривать как возврат к старинной «истории соблазнения» (злодей-барин — девушка из народа); с другой стороны, если мы учтем дальнейшее развитие действия, вину и раскаяние Нехлюдова, его в высшей степени своеобразное повторное «ухаживание» за Катюшей Масловой, метаморфозы, претерпеваемые ею в течение действия, наконец, то обстоятельство, что роман появляется в самом конце 19-го столетия, после всех прочих романов с их основным сюжетом и с момента своего появления до наших дней прочитывается в том же контексте, становится ясно, что и это позднее произведение лежит на основной линии мифа — и даже больше того: завершает оную. То, что оно было опубликовано в 1899 году, вполне символично: в самом деле, это «последний» роман 19-го века, в том же смысле, в каком «Евгений Онегин» — «первый». Конец мифа и завершение истории (этой истории) символически осуществлены здесь с не оставляющей сомнений отчетливостью: Катюша Маслова, эта последняя в ряду воплощающих «душу России» героинь, уходит, в конце концов, от своего кающегося, страдающего, рефлексирующего Нехлюдова — и причем уходит от него к революционеру. Это «решение конфликта» намечалось уже тремя десятилетиями раньше, а именно у Гончарова в «Обрыве». Я имею в виду, разумеется, короткую связь Веры с «нигилистом» Марком Волоховым — ее, так сказать, падение (с «обрыва» в «пропасть»). Характерно, что «спасает» ее вовсе не «лишний человек» Райский, а не слишком правдоподобный землевладелец и лесопромышленник Тушин, «капиталист» и «деятельный человек». (Этот брак с Тушиным можно рассматривать как довольно редкую для русской литературы альтернативную утопию, в которую, впрочем, сам Гончаров верит очень мало.) Как бы то ни было, там, в «Обрыве», ужаснувшемуся автору еще удалось избежать этого революционного решения — теперь, в «Воскресении», оно делается неизбежным. И на этом все кончается, и русская литература петербургского периода, и сам этот петербургский период... После этого может быть лишь эпилог, каковой и имеет место — у Блока (о чем чуть ниже).

Вообще, трансформации нашего мифа у Толстого могут быть предметом отдельного исследования. Он не только завершает его, но он же и является в русской литературе тем автором, который в первую очередь пытается сделать — по крайней мере — набросок все-таки и вопреки всему осуществленной утопии; попытки, обреченные, конечно, на неудачу. Это прежде всего относится к «Войне и миру», где уже известная нам конstellация легко различима: с одной стороны, князь Андрей, петербургский, светский, рефлексирующий человек, с другой — Наташа Ростова, очередное воплощение деревни, души, России. Опять-таки: решающая встреча происходит в деревне, в Отрадном, куда он приезжает — чтобы подслушать ее ночной разговор с Соней и т.д. И, опять-таки, она лишь, по видимости, виновата в том, что их отношения и помолвка расстраиваются; на самом деле виноват, конечно, он, подчинившийся своему тирану-отцу и заставивший ее целый год ждать свадьбы. То, в чем было отказано князю Андрею, в конце концов достается, как мы все знаем, Пьеру. Пьер, однако, с самого начала не является представителем петербургско-интеллектуального и в этом смысле мужского начала; скорее он выступает в этом отношении как антагонист своего друга Болконского. Сей последний обладает сильной волей, аналитическим умом и практически-хозяйственными способностями — в прямую противоположность слабохарактерному и непрактичному Пьеру с его склонностью к меланхолии и мечтательному философствованию. Не случайно, конечно, и то, что хотя мы впервые встречаемся с Пьером в Петербурге, сам он скорее москвич (оппозиция «Петербург — Москва» в данном и во многих других случаях как бы воспроизводит основную оппозицию «Петербург — Россия»), и в течение дальнейшего развития романа мы видим его чаще в старой, чем в новой столице.

Еще ближе подходит он к другому («женскому») полюсу основной оппозиции после своих приключений и переживаний во время Отечественной войны, в особенности, конечно, после встречи с Платоном Каратаевым и, соответственно, «приобщения» к «народу». Тем не менее, эпилог романа задуман как своего рода апофеоз, как осуществление (семейной) идиллии — осуществление, хотя и не совсем «правильное» с точки зрения нашего мифа («правильным» был бы брак с настоящим представителем мужского и петербургского начала, т.е. именно с князем Андреем), но все же как осуществление оной, как сбывшаяся утопия. Однако картины (семейного) счастья удаются вообще очень редко; после хеппи-энда описывать нечего; поэзия помолвки сменяется прозой брака. Так и в этом случае превратившаяся в «самку» Наташа с этими ее, по незабвенному выражению Бунина, «засранными детскими пеленками в руках», не случайно, конечно, разочаровывала поколения русских читателей; читатели были правы — предлагаемый здесь вариант «избавления» никого, конечно, не убеждает.

Похоже обстоит дело и в «Анне Карениной». Здесь тоже Кити Щербацкая, эта «чистая», «наивная» и т.д. московская барышня, достается не «блестящему», «светскому» и т.д. петербургскому офицеру Вронскому, но его сопернику Левину, не желающему иметь с петербургским миром ничего общего, живущему в деревне и в единении с «народом». Вронский же еще в самом начале романа оставляет Кити ради светской петербургской красавицы Анны — с известными трагическими последствиями. Т.е. вина, опять-таки, лежит на *ней*, не на *ней*; поставленная перед выбором между Вронским и Левиным, она как раз выбирает именно первого; то, что она достается второму, соответствует скорее выбору и воле автора. Так что и здесь осуществляющееся в конце концов «соединение противоположностей» оказывается, с точки зрения нашего мифа, «неправильным» — и столь же неубедительным. Счастливый семьянин Левин, прячущий от себя веревку, чтобы не повеситься, достаточно наглядно иллюстрирует действительную цену осуществленной утопии.

Среди всех текстов 19-го века, в которых реализуется его, века, основной миф, есть один, в котором он, т.е. миф, как бы приходит к себе, осознает себя *в качестве мифа* (или, если угодно, *мистерии*) и тем самым раскрывает свои глубинные измерения (и здесь мы возвращаемся, как обещано, к оборванному ранее ходу мысли). Это не что иное, как «Бесы» Достоевского. На первый взгляд, наш материал здесь не легко различим; в сновидческом и кошмарном мире Достоевского все является, конечно, в ином свете, иной перспективе. И, тем не менее, именно здесь происходит разоблачение тайн; символическое (в подлинном смысле слова) искусство Достоевского позволяет увидеть многое, у других авторов скрытое за *покровами реализма*. Читатель уже догадался — речь пойдет о Ставрогине и «Хромоножке». Видеть в «Хромоножке», этой полоумной ясновидящей, своего рода воплощение «матери-земли» приучала нас в первую очередь русская религиозно-философская традиция<sup>6</sup>; авторы этой же традиции неоднократно отмечали и то обстоятельство, что Ставрогин, пожалуй, один из самых загадочных образов мировой литературы, воспринимается и «ожидается» ею, «Хромоножкой» как «мистический жених» и, больше того, что все или почти все персонажи «Бесов» так или иначе связывают с ним свои, всякий раз разные, утопические ожидания и хилястические надежды — надежды и ожидания, которые он, разумеется, ни в коей мере не оправдывает.<sup>7</sup> И этот «мистический жених» *in spe* появляется в замкнутом мире романа так же внезапно, как и все прочие герои основного мифа появляются в своих замкнутых мирах, *приходит*, следовательно, к своей «невесте»<sup>8</sup> — на которой он, впрочем, когда-то уже женился (якобы на пари), но это было (как часто у Достоевского)

<sup>6</sup> См. в первую очередь: Сергей Булгаков: Русская трагедия (1914). В: Сергей Булгаков: *Тихие думы*. Москва 1918. См. также: Вячеслав Иванов: Достоевский и роман-трагедия. В: Вяч. Иванов: *Борозды и межи*. Москва 1916. Наиболее подробно и обстоятельно эта проблематика, в традиции Сергея Булгакова, разработана в книге: Лев Зандер: *Тайна добра*. Франкфурт-на-Майне 1960. Ср. эту тематику также у Романо Гвардини: *Romano Guardini: Der Mensch und sein Glaube. Versuche über religiöse Existenz in Dostojewskijs großen Romanen*. Leipzig 1932. А также: *Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. Studien über den Glauben*. München 1960.

<sup>7</sup> Соответствующая глава у Льва Зандера так и называется «Жених», ук. соч., стр. 99ff. Здесь же общие замечания к понятиям «жених», «невеста» и «свадьба» в религиозно-мистическом смысле.

<sup>8</sup> Что «Хромоножка», при всех различиях между этими двумя персонажами, тоже восходит к пушкинской Татьяне и, следовательно, относится все к тому же, занимающему нас ряду женских персонажей, отмечает и Джоанна Хаббс, ук. соч., стр. 229.

– ОТВЕРГНУТЫЙ ЖЕНИХ, ИЛИ ОСНОВНОЙ МИФ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА –

именно когда-то, давно, «пять лет назад»; теперь, во время собственно действия, все начинается сначала.

Он не просто разочаровывает и не оправдывает ожиданий, но — и в этом все дело — он оказывается *не тем*, «Хромоножка» разоблачает его в качестве *другого*. Приведем соответствующую цитату (в сцене ночного визита Ставрогина к «Хромоножке»):

«Его как будто осенило.

— С чего вы меня князем зовете и... за кого принимаете? — быстро спросил он.

— Как? Разве вы не князь?

— Никогда им и не был.

— Так вы сами, сами, так-таки прямо в лицо, признаетесь, что вы не князь!

— Говорю, никогда не был.

— Господи! всплеснула она руками. — Всего от врагов *его* ожидала, но такой дерзости — никогда! Жив ли он? вскричала она в исступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. — Убил ли ты его или нет, признавайся!»

Убита — с его ведома — будет, как мы помним, она сама, «Хромоножка», что она и предчувствует, говоря Ставрогину, что у него нож в кармане, чтобы затем прогнать его с криками «Прочь, самозванец!» и «Гришка От-репъ-ев, а-на-фе-ма!» Таким образом, он объявляется «ложным» князем, самозванцем, одним из тех самозванцев, которые, как известно, играют столь огромную роль в русской истории и литературе. Она про-видит (или, если не бояться тавтологии, провидчески прозревает) здесь две вещи. Во-первых, что он, Ставрогин, *должен был бы быть* «мистическим женихом»; во-вторых, что он *не есть* «мистический жених», что он всего лишь *узурпирует* его роль. Мессия оказывается Антихристом.

Лишь в этой перспективе, лучше: с этой вершины становится и в других текстах нашего ряда видно многое, что иначе, может быть, не было видно; лишь в этом свете, к примеру, вопрос Татьяны, кто же именно явился ей «в глуши забытого селения», получает свой полный смысл: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель: / Мои сомненья разреши». Сомнения, как известно, разрешаются — хотя и без окончательной уверенности — в 7-й главе, когда Татьяна в библиотеке Онегина «начинает понемногу» понимать его:

Чудак печальный и опасный,  
Созданье ада иль небес,  
Сей ангел, сей надменный бес,  
Что ж он? Ужели подражанье,  
Ничтожный призрак, иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон?..  
Уж не пародия ли он?

\*\*\*

Ужель загадку разрешила?  
Ужели слово найдено?

Вот именно: он — возможно — «пародия», имитация, «ничтожный призрак». Иными словами, «обезьяна Бога», обманщик и самозванец. Однако и в других произведениях нашего ряда, не достигающих той ясности и отчетливости в символической реализации мифа, которая свойственна этим ключевым текстам, мотив самозванства, профанации, обмана легко различим — например, в «Рудине» с его идеалистически «монологизирующим» героем, властителем умов и душ.

При обращении к «Бесам» происходят еще — по крайней мере — *две* вещи. Во-первых, мы замечаем вдруг, что наша линия русской литературы начинает сходиться и пересекается с другой ведущей линией той же литературы, с той линией, которую многие исследователи именуют линией «гоголевско-достоевской» — и причем не только с Достоевским, но и, что самое неожиданное, с Гоголем (который ведь отстоит от тургеневского мира дворянских гнезд и идеальных барышень дальше, чем любой другой русский писатель). Что такое основные гоголевские герои, Хлестаков и Чичиков, как не самозванцы, авантюристы, обманщики, выдающие

себя или принимаемые не за то, что они есть, в конечном итоге, как мы узнали еще от Мережковского, «маски черта»? Типологическая параллель этим не исчерпывается. Важно, что и они тоже *являются*, приходят — откуда-то, из каких-то недосягаемых, с точки зрения тех убогих провинциалов, среди которых они, всегда вдруг, и появляются, каких-то непостижимых и пугающих сфер, из «Петербурга» в прямом и, так сказать, в переносном (сильнейшем) смысле, *нисходят со своих высот* — чтобы блеснуть, очаровать, поразить — и в конце концов быть разоблаченными.

Я не утверждаю, конечно, что все это тоже относится к *master plot*; я полагаю, однако, что это родственные феномены, проясняющие друг друга.

То же относится и к *другой* перспективе, открываемой «Бесами». Мы попадаем при обращении к ним — и опять вдруг — в русский «софиологический» дискурс, или, если угодно, в русские «софиологические мечтания». В самом деле, как Сергей Булгаков, так и Лев Зандер связывают образ «Хромоножки» с представлениями о «Софии-Премудрости», о «Вечной Женственности», идущими в первую очередь от Владимира Соловьева, разработанными затем Павлом Флоренским и самим Сергеем Булгаковым и получившими свое «поэтическое воплощение» прежде всего у Блока. Конечно, и в этом случае знак равенства неуместен; простое отождествление героини «основного сюжета» с «Софией Премудростью Божьей» было бы слишком поспешным. Это как бы тот более широкий горизонт, в котором миф осуществляет себя.

В заключение я хочу высказать мысль кощунственную. Я полагаю, что русская литература, в общем и целом, заблуждалась. Проблема заключалась не в *нем*, но скорее в *ней*, не в герое, но в героине мифа. Этот образец чистоты и благородства, этот идеал, это воплощение всех моральных совершенств, эта персонификация «народной души» и символ вечной — «святой», *sit venia verba* — России, — все это было, конечно, изобретением пишущих, кающихся, легковых мужчин. Вовсе не *он*, но именно *она* оказалась, в конечном итоге, *другой*. Именно в этой перспективе Блок предстает, в самом деле, чем-то вроде эпилога к русскому 19-му веку. Он был, наверное, первым, если не единственным, русским автором, показавшим, со всей отчетливостью, эту, с течением времени делавшуюся все более очевидной, метаморфозу основного русского женского образа. Основополагающее для всего его творчества отношение (мужского) «лирического я» к его «даме» (в ее различных вариантах) может быть *cum grano salis* охарактеризовано как (самый) последний «роман» в традиции нашего *master plot*. Хотя в «Стихах о России» и утверждается, что «она» не «пропадет» и не «сгинет», какому бы «чародею» ни отдала она свою «разбойную красу», тем не менее, если взять все развитие этого женского образа (этой «героини») в его совокупности, весь путь от «Прекрасной Дамы» к «Снежной Маске», «Незнакомке» и далее, то постепенное помрачение, более того, демонизация, этой «Вечной Женственности» и «Софии Премудрости» сделается несомненной. Уже в самом начале пути, впрочем, в юношеских «Стихах о Прекрасной Даме» намечена эта возможность подмены: «Но страшно мне: изменишь облик Ты». Именно это с ней и случилось, и прежде всего, конечно, в результате ее, уже упомянутого, решения отдать свою «разбойную красу» революционной, не знающей сомнений и не мучимой раскаянием, мужской силе и воле. С этим «измененным обликом» мы и пытаемся, уже почти сто лет, без больших успехов, найти общий язык.

# ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Аполлинарий ПОЛИКАРПОВ

## ЛОРЕЛЕЯ, ИЛИ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА

### К ИСТОРИИ ПЛЕНИТЕЛЬНОГО МИФА

В четвертом номере журнала «Зарубежные записки» за 2005 год напечатано стихотворение Генриха Гейне «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...», более известное под названием «Лорелея». Приведенное на языке оригинала, оно призвано способствовать углублению дальнейшего знакомства современного русскоязычного читателя-эмигранта с великими достижениями европейской классики. К сожалению, рубрика, в которой приводится стихотворение, не предусматривает наличия справочного аппарата, который помог бы более глубокому пониманию публикуемых текстов. Настоящую заметку можно отнести к скромной попытке хоть в некоторой мере восполнить очевидный пробел.

К сожалению, немецкая классическая филология не приложила в свое время достаточных усилий, чтобы найти объяснение ряду неясных мотивов в пленительном мифе о русалке. В первую очередь это относится к самому названию. Ориентируясь на старинные варианты местного наречия, ученые свели происхождение слова *Lorelei* к незамысловатому образованию из *Lure* и *Lei*, что соответственно означает русалка и утес. Правомочность данной этимологической гипотезы несомненна, хотя сам факт неподкрепленной фундаментальными исследованиями трансформации *Lure* в *Lore* не может не вызывать настороженности у пытливого оппонента. Именно поэтому с незапамятных времен *луристам* (от *Lure*) противостоят *лористы*, принимающие за очевидное, что в основе исследуемого слова лежит женское имя Лора (*Lore*). С другой стороны, исчерпывают ли обе эти гипотезы суть исследуемого вопроса?

Одной из примечательных попыток прорыва в данном направлении стала недавно дебатировавшаяся идея, внесшая в палитру традиционного толкования слова *Lorelei* новые краски. Согласно ей, в исследуемом слове изначально лежало *Lore* (не путать с *Lure!*), восходящее, однако, не к женскому имени, а к сугубо техническому понятию, обозначающему вагонетку (от англ.: *Lorry*), использовавшуюся при горных строительных работах. Какой смысл, однако, вкладывают приверженцы такого толкования (их называют в научных кругах *антилористы-антилуристы* или сокращенно *анти-анти*) в свою гипотезу?

Оказывается, она выражает вековые чаяния семей пострадавших и ушедших на дно Рейна матросов о борьбе с проклятым утесом. Срезать выступ, о который разбились сотни речных судов, прорыть через утес канал, любым способом взять власть над проклятым местом, снести, наконец, утес вовсе и построить на этом месте город-сад — вот о чем, оказывается, мечтали плачущие матери и вдовы, дети-сироты и те немногие матросы-речники, кому удалось чудом выплыть во время очередного кораблекрушения.

Эмоциональная сила доказательств *анти-анти* бывает подчас столь действенна, что на открытых дебатах в научных залах даже наиболее последовательные их противники не всегда могут сдерживать наворачивающиеся на глаза слезы. «Мне теперь всегда будет сниться этот сад, — поведал автору этих строк один из авторитетных приверженцев *луристской* школы, стареющий академик N., — но я никогда не соглашусь признать научную правоту *анти-анти*».

Мы же, со своей стороны, не можем согласиться с крикливым мнением одной из недавних публикаций, будто позиция *анти-анти* «не только противоречит известной легенде, но и разрушает ее». На наш взгляд, она именно дополняет ее, органично подкрепляя идею страдания, скорби и безнадежности окрыленной мечтой о борьбе. Город-сад, который должны орошать мутные воды Рейна, — не это ли поистине благородное развитие мифа о русалке? Миф, рождающий миф.

Смерть и отчаяние, вызывающие новый порыв к жизни. Все это — характерные черты мифологического мышления практически любого народа.

Но именно захлестывающие эмоции, как нередко бывает, мешают внести ясность в дискуссию. Для автора этих строк представляется очевидной правота всех сторон. Правота, но не полнота взглядов! В запале полемики оппоненты забывают, что каждый спорит о своем предмете, но не об общем. Одни доказывают присутствие в словообразовании *Lorelei* женского имени *Lore*, подразумевая при этом не сам мыс, а **имя героини мифа**. Другие сводят свои построения именно к происхождению **названия утеса**. Простое допущение, что **имя и название**, несмотря на их однозвучие, могут иметь разные этимологические версии и, попросту говоря, представлять два разных слова (в одном случае речь идет о русалке, в другом об утесе), не было, к сожалению, до сих пор принято во внимание.

Кроме того, борьба *лористов*, *луристов* и *анти-анти* отвлекла в последние годы внимание ученых от собственно научных задач. Отдавая дань достижениям существующих школ, автор этих строк видит одним из перспективных путей дальнейшего развития исследований знаменитого мифа разработку нового направления, которое он бы решился назвать *лаизмом*.

Обратим внимание читателя, что слово *Lorelei* применительно к русалке изначально имело иное написание. Ранняя (до Гейне) литературная обработка легенды, а именно известная баллада, выполненная в 1801 году писателем-романтиком Клеменсом Брентано, озаглавлена «Lore Lay». Вспомним также, что во всех традиционных трактовках русалка *Lorelei* изображается не исполненной коварства дамой, а прекрасной и грустной девушкой, обреченной на свое пагубное предназначение. Она не вольна в своих поступках и несчастна. Это особенно тонко чувствовал и сумел передать в своих грустных строфах Генрих Гейне.

Теоретикам мифотворчества известно, что большинство народных мифов сложилось в процессе сплавления двух-трех (а то и больше) легенд. Отлившись в колосс мифа, некоторые из этих корневых структур полностью растворились в нем. Речь идет о так называемом сакрализованном механизме становления мифа, когда отдельные легенды-доноры полностью теряют свою самостоятельную изначальную ценность и оказываются забыты народным сознанием, а в нередких случаях и навсегда потеряны. Попытки ремифологизации, то есть вычленения и восстановления утраченных корневых структур, требуют не только тончайшего научного инструментария, но и исключительной корректности и чуткости самого исследователя. С этих позиций автор настоящей публикации и подошел к дальнейшему изучению знаменитого мифа о русалке. Оставляя в стороне громоздкое и затруднительное для непосвященного читателя научное описание исследований, он готов поделиться неожиданными на первый взгляд, но вполне логичными и корректными с научной точки зрения результатами.

Что же удалось увидеть автору в окуляре, так сказать, его научного инструментария? Собаку! Одинокую, тощего, голодного, шелудивого и озлобленного пса, бредущего по долине Рейна. Утерянное народное сказание о несчастном животном и оказалось одной из легенд-доноров мифа о русалке.

То немногое, что методом экстраполяции удалось воссоздать в этой истории, сводится к следующему. Пес был бездомным и имел кличку «Lay». Он прибывался к той или иной речной пристани на Рейне и везде терпел побои и издевательства от речников и грузчиков. Обглоданная, брошенная в насмешку кость и лужица дождевой воды были его будничным пропитанием. Не знавший ни ласки, ни людского сострадания, Лай довольно быстро одичал, озлобился и молил известных ему богов о мести. Когда он был уже совсем стар и немощен, его заметила и пожалела дочь трактирщика — юное и благородное создание по имени Лора (*Lore*). Девушка приютила бедного пса в одной из построек хозяйственного двора, заботливо ухаживала за ним, приносила лакомую еду, но дни Лая были уже сочтены.

И чем же отплатила Лоре судьба за ее доброе сердце? После смерти Лая его искалеченная душа сумела проникнуть в робкую душу девочки и направить несчастное создание на тропу мести. В один из ненастных дней Лора навсегда исчезла из родительского дома. В ту же ночь речное судно, вывозившее партию рейнского вина, потеряло управление и сильным течением было выброшено на находившийся в трехстах метрах от трактира резко выдающийся в реку утес. С тех пор, по утверждению местных жителей, вечерами над водой можно было слышать

девичий плач или грустные песни. Многие отчаянные головы бросались в реку, чтобы увидеть поющую красавицу или помочь несчастной девушке. Никто из них не вернулся на берег. Капитаны воздерживались в непогоду приближаться к злополучному утесу, но те из них, кто по каким-то причинам вынужден был подвергнуть себя риску, почти всякий раз теряли судно, товар и добрую половину команды.

Так, в свете новооткрытого предания, становится объяснимым то сочувствие, которым народное сознание наделило русалку. Добрая и трогательная девушка, превратившись в Lore Lay, не только невольно стала орудием возмездия, но и оказалась обречена на вечную тоску.

Особый интерес для русского читателя представляет тот неожиданный факт, что в рейнской легенде нам удалось обнаружить восточнославянские следы. Уже сама кличка Лай не может не вызвать интуитивного чувства присутствия в древнем сказании славянского начала. Это и заставило нас обратиться к солидным трудам по истории формирования германских прозвищ и кличек домашних животных. Однако сведений, позволяющих прояснить происхождение клички Лай, найти не удалось. Каково же было изумление автора этих строк, когда ему в руки попал манускрипт покойного ученого Лапы-Данилова<sup>1</sup>, чудом сохранившийся в архивах бывшего КГБ. Лапа-Данилов, насколько нам известно, никогда не был в числе преследовавшихся лиц. Однако в 1935 году его статья была изъята из «Этнографического вестника» и пролежала в архивах КГБ до недавнего времени. Что же скрывали «компетентные органы» в течение десятилетий?

В одном из народных сказаний, записанном монахом Белозерского монастыря, рассказывается о богатыре, ставшим в своем роде прещественником Петра Великого. Богатырь по имени Садко (не путать с гусяром, певцом и гулякой — героем новгородской былины!), выросший на просторах русского Севера, с детства вынашивал мечту проплыть по всем существующим морям и рекам, познать мудрости мореплавания, языкознания, инородного земледелия и чужеземных ремесел. Нет необходимости пересказывать удивительные странствия Садко, тем более что работа Лапы-Данилова уже подготовлена к печати. Остановимся лишь на интересующем нас «рейнском» эпизоде его путешествия.

Неизменным спутником Садко в его скитаниях был верный пес, первоначальная кличка которого навсегда потеряна для истории. На Рейн Садко прибыл в конце лета, и тут ему удалось почти сразу устроиться сборщиком винограда. Судя по всему, пес был утомлен путешествием, тосковал по родному русскому Северу, обглоданным кустам и мерзлой морошке и нередко скулил у ног хозяина. «Не лай!» — строго покрикивал на него ни в чем не знавший усталости и разочарования Садко. «Лай, лай!» — подтрунивали над обоими добродушные немцы, узнавшие со слов Садко значение этого слова.

Когда кончился сезон сбора винограда, Садко нанялся на борт речного судна, чтобы постичь опыт навигации и добраться до Голландии, где он надеялся осуществить свою самую заветную мечту — попасть плотником на корабельную верфь<sup>2</sup>. В момент отплытия он не нашел рядом с

<sup>1</sup> К сожалению, имя это почти стерлось в истории советской науки. Лапа-Данилов был внебрачным сыном академика-историка Лаппо-Данилевского; известно, что он держался в научных кругах скромно и неприязнательно. Это привело к тому, что его труды подчас приписываются его брату математику Лаппо-Данилевскому. Еще более курьезный случай произошел на кафедре одного из новоявленных российских университетов, где молодой диссертант пытался доказать, что под псевдонимом Лапа-Данилов пробовали на досуге свои силы в этнографии и лингвистике представители металлургии и географии брата Грумма и Гржимайло (так у диссертанта!).

<sup>2</sup> Именно это обстоятельство и сыграло роковую роль в судьбе рукописи Лапы-Данилова (не путать с Грумм-Гжимайло!). Советская власть с распростертыми объятьями готова была приветствовать появление на историческом горизонте забытого русского самородка. Но когда сведения довели до Сталина, он сухо кашлянул и заметил вскользь, что русская история уже знает народного героя по имени Садко. Материалы исследователя были тут же арестованы. Есть основания полагать, что Сталин не мог допустить самой мысли о том, чтобы неординарность личности Петра Великого была бы хоть малейшим образом подвергнута сомнению появлением какого бы то ни было народного прещественника. Петр должен был оставаться единственным в своем роде, что укрепляло веру в роль личности в истории, исключительность и незаменимость больших фигур и тем утверждало пиетет самого коммунистического вождя.

собой четвероногого спутника. Была ли это чья-то злая шутка или сыграло здесь роль неудачное стечение обстоятельств, нам остается только предполагать. Как бы то ни было, Садко в одиночестве продолжил путешествие, а на долю бедного пса выпала уже известная нам судьба. «Лай!» — продолжали дразнить его немецкие обыватели, и это слово быстро превратилось в его кличку.

Но достаточно ли оснований, чтобы связать историю «русского Лая» с собакой Lay, фигурирующей в легенде о русалке? В любом случае, приведенные здесь рассуждения являются на сегодняшний день единственной научно аргументированной платформой в изучении неизвестных до недавнего времени деталей пленительного мифа. И своеобразным подтверждением этому может служить тот факт, что ряд выступлений автора с докладами в современных рейнских провинциях имел неизменный успех. Так, например, конкурировавшие клубы собаководства стали сливаться в единое Общество любителей собак «Lay», на любительских и профессиональных подмостках появились новые драматургические интерпретации мифа о русалке, а в дошкольных учреждениях под девизом «Лора и Лай — наши друзья!» прошла серия детских праздников. Но, может быть, высшая оценка заслуг автора прозвучала в словах одной из жительниц городка Мюльдорф, эмигрантки из Житомира. Вырвавшиеся из глубины доброго сердца фразы, нескрываемое волнение и с трудом сдерживаемое рыдание — все это потрясло души присутствующих в зале. «Я простая женщина... на социале, — говорила она, по-народному прижимая руки к полной груди, — много читала и слышала. Но такого, должна признаться, я и представить себе не могла. Бедный Лай... И вдвойне несчастная Лора... Вы, может быть, и сами недооцениваете, насколько ваше исследование сблизило немецкий и русский народы. И как трогательно, что скромный советский человек Лапа-Данилов протянул свою ученую руку, чтобы пожать лапу затерявшемуся на чужбине псу-соотечественнику. Так пусть же и бедная девушка-русалка теперь навсегда сохранит для нас, русских граждан Германии, имя Лора Лаевна...»<sup>3</sup>

Впрочем, *лаизм*, как подлинно научное направление, разумеется, остается открытым для критики и плодотворной дискуссии.

Таковы в общих чертах утраченные некогда страницы мифа о Лорелее, и остается только выразить сожаление, что до сих пор они оставались скрыты как от специалистов, так и от широких масс интересующейся общественности.

Шумные споры вокруг *Lore, Lure, Lorry* на долгие времена, к сожалению, заглушили пробивавшийся к нам из глубины веков, короткий, жалостливый и отчаянный звук: «Lay».

*Аполлинарий Никанорович Поликарпов,  
почетный председатель Рейнского общества имени Миклухо-Маклая<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Примечательно, что в 1983 г. под впечатлением мифа о Лорелее скульптор русского происхождения кн. Н.А. Юсупова изваяла и подарила рейнцам бронзовую скульптуру (см.: Werner Schäfke. Der Rhein von Mainz bis Köln. Köln: DuMont Buschverlag, 1999. S. 310). Не великая ли интуиция истинно славянской души оказалась в данном случае стимулом благородного поступка?

<sup>4</sup> Автор выражает горячую признательность не только тем, кто сумел по достоинству оценить его маленькое исследование, но и всем академическим и спонсорским институтам, а также отдельным лицам, которые содействовали успешному его развитию на различных этапах. Среди них: Храм русской литературы (Санкт-Петербург), Гёте-институт (мировая паутина), профессор Константин Остенбакен (Берег Слоновой Кости), доктор Кащенко (Россия, посмертно), фрау Шварц (Социалреферат Норд 2, Кобленц), господа Брокгауз и Эфрон (посмертно) и мн. др.



## Коротко об авторах

**Леонид Гиршович** Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, а с 1979 г. — в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

**Анатолий Головкин** Прозаик, журналист, кинодраматург. Родился в 1945 году в Москве. По первой профессии — джазовый музыкант, трубач, по второй — журналист, закончил факультет журналистики МГУ. Автор двух романов, книжки для детей, множества рассказов и киносценариев. Широко печатается в России, работает для российского и зарубежного телевидения. Лауреат премий Союза журналистов СССР и России. Живёт в Москве.

**Ефим Гофман** Родился в 1964 году в Киеве. В 1986 году окончил Горьковскую (Нижегородскую) государственную консерваторию им. М. И. Глинки по классу композиции. Занимается сочинением музыки для кино и театра, преподаванием, эссеистикой. Публикуется в ведущих российских периодических изданиях. Живёт в Киеве.

**Дяченко Марина и Сергей** Прозаики, дебютировали в качестве соавторов в 1994 году. Марина Дяченко (Ширшова) — актриса, училась в Киевском театральном институте. Сергей Дяченко — врач-психиатр, кандидат биологических наук. Окончил ВГИК (сценарный факультет), автор сценариев значительного числа научно-популярных и художественных фильмов, лауреат Государственной премии Украины, получал премии «Литературной газеты» и журнала «Огонек». Авторы пятнадцати фантастических романов, широко печатаются в Украине, России и за рубежом. На 27-й Европейской конференции «Еврокон-2005» в Глазго (Шотландия) Марина и Сергей Дяченко голосованием представителей 27 стран были признаны лучшими фантастами Европы.

**Григорий Канович** Прозаик, поэт. Родился в 1929 г. в Каунасе. В 1993 году переехал в Израиль. Автор четырёх сборников стихов, десяти романов, двадцати пьес и пятнадцати сценариев художественных фильмов. Кавалер литовского ордена Гедиминаса, лауреат Национальной премии Литовской Республики и премии Союза писателей Израиля. Произведения переведены на одиннадцать языков. Живёт в Бат-Яме.

**Алексей Козлачков** Родился в 1960 году в г. Жуковском Московской области. Журналист, в этом качестве работал в центральных московских изданиях, сам издавал газеты и журналы. Окончил военное училище, воевал в Афганистане. Затем окончил Литературный институт. С прозой и стихами печатался в журналах «Литературная учеба», «Нева», «Постскриптум», в различных альманахах. С 2003 года живет в Кёльне.

**Самуил Лурье** Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе — имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

**Алексей Макушинский** Поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог, кандидат наук. Автор романа «Макс». Публикуется в русских литературных журналах и многочисленных научных немецких изданиях. Член редколлегии журнала «Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte» и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Эйхштетте.

**Александр Мелихов** Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

**Аполлинарий Поликарпов** Родился в 1925 г. в Бирюевске, изучал металловедение, но уже в молодости увлёкся краеведением и этнографией. В начале 90-х переехал в Германию. Неутомимый исследователь-энциклопедист, общественник и энтузиаст, он ставит целью своих разысканий выявление исторических и культурных влияний славянских цивилизаций на европейские. Живет в Кобленце.

**Алексей Пурин** Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1955 году в Ленинграде. Автор нескольких стихотворных книг и двух книг эссеистики. Заведующий отделом поэзии и критики журнала «Звезда», соредактор альманаха «Urbi» (Санкт-Петербург-Прага), лауреат литературной премии «Северная Пальмира» (1997 и 2002). Живет в Санкт-Петербурге.

**Александр Радашкевич** Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, детство провёл в Уфе. В 1978 г. эмигрировал, жил сначала в США, где работал в библиотеке Йельского университета, затем перебрался во Францию, работал в редакции «Русской мысли», в 1991—97 гг. был личным секретарём великого князя Владимира Кирилловича, затем его семьи. С конца 70-х гг. широко печатался в эмигрантской периодике, с конца 80-х — в русской. Живёт в Париже.

**Галина Ребель** Родилась на Украине, закончила Пермский государственный университет, работала в средних школах России и Украины, с 1997 — преподаватель Пермского государственного педагогического университета. Кандидат наук, доцент, редактор научно-методического журнала «Филолог». Автор монографии «Художественные миры романов Михаила Булгакова» и множества литературоведческих, литературно-критических, театроведческих статей. Живёт в Перми.

**Виктор Серебряный** Родился в 1940 году на Украине. По комсомольской путёвке поехал в Красноярск. Работал монтажником, окончил факультет журналистики Иркутского университета. В качестве строителя объездил множество больших и малых городов Якутии, Иркутской области, Красноярского края. В 1966 году приехал в Норильск и почти два десятка лет работал на рудниках. Несколько лет колесил по таймырской тундре, работал в газете. Как журналист печатался много, но самое сокровенное вынужден был писать «в стол». В 2000-м году переехал в Германию. Живёт в Нюрнберге.

**Андрей Столяров** Писатель, поэт, публицист. Родился в Ленинграде в 1950 году. В 1973 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «эмбриология». Работал научным сотрудником в Институте экспериментальной медицины и Институте геологии и геохронологии докембрия, имеет ряд научных работ. Автор одиннадцати книг прозы и множества статей, широко публикуется в России и за рубежом. Лауреат множества литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

**Илья Фаликов** Поэт, прозаик, эссеист. Родился во Владивостоке в 1942 г. Автор девяти книг лирики, книги эссеистики и четырех романов в прозе, напечатанных в толстых московских журналах. Лауреат Всесоюзного конкурса поэзии (1965), Фонда «Литературная мысль» (2000), журнала «Арион» (2004). Стипендиат Фонда Генриха Белля (ФРГ, 2001). Член жюри Антибукеровской премии (1996—2000). Регулярно выступает в московской периодике со стихами, статьями и прозой. Живет в Москве.

**Юрий Цаплин** Прозаик, поэт. Родился в 1972 г. в Харькове. В 1995 г. окончил радиотехнический факультет Харьковского авиационного института. Проза публиковалась в журналах «Новый мир», «Наш» и др. Автор книги «Маленький счастливый вечер» (1997), соредактор журнала «Союз писателей». Живёт в Харькове.

**Даниил Чкония** Поэт, переводчик, литературный критик. Родился в Порт-Артуре в 1946 году, вырос в Мариуполе, жил в Тбилиси, с 1975 года в Москве. В 1973 году окончил Литературный институт им. Горького. Автор шести книг стихов. В переводах Д. Чкония увидели свет книги многих грузинских прозаиков и поэтов. Стихи, статьи, переводы автора многократно публиковались в толстых журналах, альманахах, в различных периодических изданиях в России и за рубежом. Живёт в Кёльне.

**Лариса Щиголь** Родилась во время Второй мировой войны в иркутской эвакуации. Большую часть жизни прожила в Киеве. По специальности финансист, работала в различных киевских учреждениях и организациях и всю жизнь писала стихи «в стол», не помышляя о публикациях при советской власти. Но советская власть кончилась, и теперь печатается достаточно широко в России и за рубежом. Заместитель главного редактора журнала «Зарубежные записки». В Германии с 1997 г. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ  
Журнал русской литературы  
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag  
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд  
Художник: Р. Дубинский  
Компьютерная верстка: В. Аввакумов  
Корректор: Р. Вайнблат  
Подписано к печати 10.03.2006

Адрес: “Partner“ Verlag  
Postfach 104219  
44141 Dortmund, Germany  
Тел.: +49 / 0231 / 952 973 0 (общий)  
+49 / 0231 / 952 973 16 (подписка)  
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:  
Konto 190 57 36  
BLZ 440 700 24  
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:  
[www.zapiski.de](http://www.zapiski.de)

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии.

Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

## АНОНС

**Читайте в шестом номере «Зарубежных записок»**

### **Прозу**

Нины Горлановой (Пермь)  
Инны Лесовой (Киев)  
Бориса Хазанова (Мюнхен),  
Владимира Порудоминского (Кёльн)  
Генриха Шмеркина (Кобленц)

### **Стихи**

Ларисы Миллер (Москва)  
Алины Талыбовой (Баку)  
Алишера Киямова (Руссельсхайм)  
Кирилла Ковальджи (Москва)

### **Публицистику и эссеистику**

Инны Ростовцевой (Москва)  
Самуила Лурье (Санкт-Петербург)  
Ильи Мильштейна (Мюнхен)  
Александра Мильштейна (Мюнхен)  
Евгения Кочанова (Бонн)

**и другие интересные материалы**

